АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1986

СОДЕРЖАНИЕ

Слюсарева Н. А. (Москва). Категориальная основа тема-рематической организации высказывания-предложения 3
Винокур Т. Г. (Москва). Толковый словарь и языковое употребление . . 16
Журавлев В. К. (Москва). Постулат непреложности фонетических законов и современная компаративистика 27

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Алпатов В. М. (Москва). О разных подходах к выделению частей речи . . 37
Щербак А. М. (Ленинград). Тюркско-монгольские языковые связи (К проблеме взаимодействия и смешения языков) 47
Котков С. И. (Москва). Источниковедческие вопросы истории русского языка 60
Мурясов Р. З. (Уфа). Топонимы в словообразовательной системе современного немецкого языка 70

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Асиновский А. С., Кузнецова Е. Ж., Люблинская М. Д., Чернышева Л. В., Шевченко Т. В. (Ленинград). К вопросу об автоматизации лингвистических исследований 82
Горелов И. Н. (Саратов). Энантиосемия как столкновение противоречивых тенденций языкового развития 86
Смолина К. П. (Москва). Компонентный анализ и семантическая реконструкция в истории слов 97
Стариченок В. Д. (Минск). О гипонимических отношениях в структуре полисеманта (На материале белорусских говоров) 106
Разинкина Н. М. (Москва). Об устойчивости функционального стиля 114

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Даниленко В. П. (Ленинград). Лингвистическая характерология в концепции В. Матезиуса 120

Рецензии

Алексеев М. Е. (Москва). *Мещанинов И. И.* Номинативное и эргативное предложения. Типологическое сопоставление структур 129
Мустейкис К. В. (Вильнюс). *Eckert* [*R*], *Crome* [*E.*], *Fleckenstein* [*Ch.*]. Geschichte des russischen Sprache 132
Майтинская К. Е. (Москва). *Л. Дэжё*. Типологическая характеристика русской грамматики в сопоставлении с венгерской. Простое предложение 134
Шагдаров Л. Д. (Улан-Удэ). *Дарбеева А. А.* Русско-монгольские языковые контакты в условиях двуязычия 137
Сорокин Ю. А. (Москва). *Виноградов В. А.*, *Коваль А. И.*, *Порхомовский В. Я.* Социолингвистическая типология. Западная Африка 139

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 141

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), *А. Н. Кононов, В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, Н. А. Слюсарева, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *Г. В. Степанов* (главный редактор), *О. Н. Трубачев, Д. Н. Шмелев*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-99-97

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука», «Вопросы языкознания», 1986 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1986

СЛЮСАРЕВА Н. А.

КАТЕГОРИАЛЬНАЯ ОСНОВА ТЕМА-РЕМАТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ *

Тема-рематическая организация, или коммуникативная основа предложения, стала достаточно общим местом современной синтаксической теории. Однако разные подходы к этому феномену создают впечатление гетерогенности объекта теории, в пределах которой проводится разграничение актуального членения предложения, функциональной перспективы предложения, его информативной структуры и т. п. Остается недостаточно ясным соотношение тема-рематической структуры с субъектно-предикатной логической организацией мысли, с подлежащно-сказуемостным строем предложения, а также с прочими объектами семантического синтаксиса — глубинными падежами (ролями, по Филлмору), валентными свойствами конституирующих предложение единиц (актантами и сирконстантами) и т. п.

В данной статье мы коснемся лишь некоторых из указанных вопросов, сосредоточив внимание на том, что тема-рематическая структурация основывается на противопоставлении фундаментальных диалектических категорий — тождества и различия. Эти всеобщие категории материалистической диалектики широко применяются при исследовании ряда проблем математики, логики, кибернетики, физики, биологии, социологии и др. Мы делаем попытку привлечь теорию тождества и различия к явлениям языка [1].

В последние годы синтаксис предложения стал рассматриваться как составная часть синтаксиса текста. Это обстоятельство в новом свете представило решение ряда грамматических проблем. Дело в том, что такие функционально-семантические категории, как тема и рема, более, чем другие единицы синтаксиса, связаны с построением текста, с проекцией глобального смысла на линию звучащей или письменной речи. Взаимодействие тематических и рематических отношений служит одной цели — развертыванию сообщения (предложения, высказывания любого типа) в определенный текст.

Тема-рематические отношения трактуются неоднозначно, но при всех различиях, которые можно усмотреть в концепциях отдельных авторов, общим является то, что группа «тема — рема» рассматривается как с м ы с л о в о е членение предложения (высказывания), не жестко связанное с грамматическим выделением подлежащего и сказуемого. Однако категориальный статус темы и ремы и характеризующие их признаки еще не выявлены полностью и дают повод для размышлений.

При исследовании указанных выше вопросов мы будем исходить из функциональной точки зрения: языковые факты рассматриваются как воплощение основных (базовых) функций языка — коммуникативной, когнитивной, эмотивной и метаязыковой [2]. Интересующие нас проблемы соотносятся прежде всего с коммуникативной функцией, поскольку вся

* В основу настоящей статьи положен доклад, прочитанный в ноябре 1984 г. на III Всесоюзной конференции по теоретическим проблемам языкознания в Москве [1, с. 130 и сл.].

[1] Говоря о категориях тождества и различия и явлениях языка, мы не затрагиваем проблемы синонимии слов и выражений, предложений тождества (см. [2, 3]) и прочих языковых фактов, где эти категории лежат, так сказать, на поверхности.

[2] Данная точка зрения высказывалась нами неоднократно [4—7]. Метаязыковая функция, т. е. уникальная способность языка быть средством анализа самого себя, здесь не затрагивается.

смысловая палитра речевого акта отражает коммуникативное намерение говорящего сообщить о том, что́ содержится в его сознании, в мысли, и о чем должен быть информирован слушающий (реципиент), воспринимающий текст.

Интерес к категориальному статусу актуального членения побудил В. З. Панфилова предложить двухуровневую модель, в которой «актуальное членение предложения отражает субъектно-предикатную структуру выражаемой мысли» [8, с. 37]. Оно имеет место на более высоком уровне предложения, чем синтаксический,— на логико-грамматическом. Эта теория нашла многих последователей, т. к. в простой форме давала ключ к сути соотношения языка и мышления. Однако в настоящее время ее нельзя признать полностью удовлетворяющей. Дело в том, что логика за последние десятилетия изменила свой облик, поскольку в круг ее интересов вошли проблемы речевых актов, анализа обыденного языка, теория нечетких (лингвистических) множеств и мн. др. [9, с. 77]. Да и теория актуального членения предложения также видоизменилась. Материал простого предложения оказался недостаточным для развития этой теории, в которую были включены проблемы членения сложного предложения, иерархии членения, порядка слов и просодических характеристик, связи с развертыванием целого текста.

Исследования актуального членения синтаксических структур выделились в особую область, нередко именуемую к о м м у н и к а т и в н ы м с и н т а к с и с о м, поскольку ее предметом явилась организация высказывания говорящим в соответствии с его коммуникативным намерением. Однако нам не представляется удачным такое наименование, т. к. весь синтаксис, во всех своих аспектах служит коммуникативной функции языка. Более целесообразно, вслед за И. Ф. Вардулем [10, с. 115], закрепить за обсуждаемой областью наименование «актуальный синтаксис», продолжив пражскую традицию изучения синтаксического строя языка.

В науке развитие теории неотделимо от выработки методов анализа. В философских трудах это неоднократно отмечалось. Например, М. С. Козлова пишет: «Метод и теория неразрывно диалектически связаны друг с другом. Без теоретического обоснования метод анализа теряет свою четкую опору, ему невозможно следовать как некоей четкой процедуре, он скорее превращается в искусство» [11, с. 222]. В лингвистике определенная мера произвольности была характерна в свое время для способов выделения темы и ремы. Развитие теории актуального синтаксиса, однако, дает основания говорить о тема-рематическом анализе высказывания как о методически достаточно четкой процедуре членения предложения на тему и рему. Решение этого вопроса опирается не столько на определение соответствий темы и ремы логическим субъекту и предикату, сколько на признание содержательного фона намерений говорящего, который устанавливается на основе текстового анализа.

Мы придерживаемся многоаспектной модели синтаксических структур, поскольку они предстают перед нами в единстве своего многообразия, суть которого не сразу была осознана в лингвистике и в смежных с нею науках, для которых язык также выступает в качестве объекта анализа. В предложении-высказывании выделяются четыре аспекта: логико-ориентированный, структурный, актуальный и аналоговый.

О становлении логического синтаксиса написано много. Мы лишь отметим, что параллельно формировалась грамматика с ориентацией на структурный аспект синтаксиса, что выразилось в преимущественном внимании к морфологической специфике частей речи, а в недалеком прошлом— к трансформационным деревьям.

Обращение к семантике синтаксиса открыло новые перспективы, среди которых следует назвать актантные, падежные и ролевые грамматики разных ракурсов и калибров (Л. Теньера, Ч. Филлмора и др. [12, 13]). Эти исследования позволили обнаружить еще один аспект синтаксиса, через который получает выражение или, точнее, отражение как ситуация, описываемая в предложении, так и ситуация непосредственного общения. При этом ситуация выявилась не только в ее номинативной фор-

ме — в виде единиц и моделей, из которых конструируется высказывание, но и отразилась в специфичном для данного языка указании на роли, связи и отношения участников ситуации. Поскольку синтаксическая конструкция выступает в виде аналога ситуации, мы именуем данный аспект синтаксиса аналоговым.

Психологический синтаксис конца XIX в. явился прообразом актуального синтаксиса, в котором находит свое выражение коммуникативное намерение говорящего, т. е. это — синтаксис самовыражения, нацеленный на восприятие слушающим не только логического развертывания мысли, но и отношения говорящего к сообщаемому. Совершенно права Е. А. Реферовская, которая, говоря о роли порядка слов во французском языке в повествовательном тексте, подчеркивает, что «... как только на сцене появляется субъект речи с его отношением к содержанию сообщаемого, как только речь оказывается адресованной слушателю, на которого она должна произвести определенное впечатление, может быть, убедить его в чем-нибудь, вступает в силу коммуникативное членение, разделяющее все сообщение на тему и рему с зависящими от них членами высказывания» [14, с. 187]. В этом случае, как отмечает Е. А. Реферовская, нарушается нормативный порядок слов. Подчеркнем, что актуальный синтаксис в известной мере модален, т. к. выражает отношение говорящего к сообщаемому, но эта модальность особого рода, поскольку она выявляет личностную окраску информации.

Изучение того, как распределяются в высказываниях (и шире — в тексте) зоны темы и ремы, представляет особую область лингвистического исследования — тема-рематический анализ.

При сопоставлении четырех аспектов синтаксиса выясняется еще и то, что два из них — аналоговый и логико-ориентированный — служат для реализации соотношения языковой реальности как с миром действительности (ситуации с ее компонентами факта или события), так и с логикой развертывания мысли (т. е. осознания действительности). Два другие аспекта противопоставляются им по иным основаниям, а именно: по жесткой связи со структурой языка — у структурного аспекта, и по связи с коммуникативным намерением говорящего — у актуального аспекта, связь которого с грамматическими характеристиками языка является достаточно свободной. Иными словами, структурный и актуальный аспекты предстают как два принципа организации синтаксических конструкций — подлежащно-сказуемостный и тема-рематический. С помощью этих принципов могут различаться языки разной типологии, хотя те же принципы могут выступать и в пределах одного языка — либо в конструкциях разного рода, либо совмещенными в членах одной конструкции [5].

Следует отметить еще один важный момент. Поскольку синтаксис является главнейшей опорой коммуникативной функции языка и именно в нем сущностные характеристики языка проявляются как функциональные прежде всего [3], каждый из аспектов синтаксиса может и должен определяться в свете функционального подхода. Иными словами, единицы этих аспектов квалифицируются как синтаксические функции, однако — функции разного рода: структурными функциями являются подлежащее, сказуемое и прочие члены предложения, логическими функциями — субъект и предикат суждения, выраженные в предложении. Единицы аналогового синтаксиса в большом количестве работ именуются семантическими, однако последний термин применяется к разным сторонам содержательной сферы — в известной мере выделение логических функций тоже связано с семантикой. Вследствие этого единицы аналогового синтаксиса — агенс (агент), пациенс, бенефициант и т. п.— целесообразно именовать ситуативно-семантическими, или аналоговыми, функциями. Наконец, функции актуального синтаксиса — тему и рему — можно, вслед за некоторыми учеными [15], именовать

[3] Подробная аргументация излагалась нами в предыдущих работах, однако в данной статье общий подход несколько расширен. Напомним, что синтаксическая функция рассматривается как цель, назначение языковой единицы и в то же время как зависимость от прочих единиц данной системы.

прагматическими[4] (хотя и этот термин расширил свое содержание за последние годы) или дектическими (по Ю. С. Степанову [16, с. 220]).

Именно актуальный аспект синтаксиса и выделяемые с этих позиций единицы в наибольшей степени представляют функционирование языка как идущее от говорящего в связи с его намерением информировать, сообщить, обратить внимание на некие факты и события или выяснить что-либо. В исследованиях функционального направления ставятся задачи изучения и раскрытия специфических особенностей коммуникативных языковых выражений (от реплик диалога [17] до анализа больших единиц текста [14]). Проблемы категориальной определимости единиц актуального членения — темы и ремы — мы принимаем, исходя из двухчленной модели этой структуры.

Тема-рематическому анализу придается особая значимость в сопоставительных работах, т. к. он позволяет сравнивать структуры разных языков, сходные по содержанию и информативной нагрузке [10, 18—21]. Трудности возникают при попытках отграничения темы и ремы в конкретных языках и установления способов, маркирующих эти единицы.

При определении функций прочих аспектов синтаксиса опираются либо на форму — для структурного синтаксиса, либо на достаточно четкую семантику — для логико-ориентированного и аналогового аспектов. Такой анализ возможен на материале отдельно взятого предложения даже без привлечения просодических характеристик и, в известной мере, порядка слов. Актуальный аспект синтаксиса менее доступен объективному анализу, поскольку он служит для выражения намерений говорящего. Разумеется, коммуникативный акт двусторонен, но в нем главенствующая роль приходится на долю говорящего, слушающий же должен интерпретировать, или, попросту, понимать сказанное адекватно намерению говорящего.

Иногда раздаются голоса в пользу того, что актуальный синтаксис входит скорее в грамматику слушающего (воспринимающего), чем в грамматику говорящего. Такое представление отчасти подсказывается терминами, объясняющими суть темы и ремы, например, «данное» и «новое» определяются с позиций именно слушающего, а «исходное» и «сообщаемое» или «информативно более и менее важное» — с позиций говорящего[5]. Дополнительные осложнения возникают в связи с тем, что при лингвистическом анализе исследователь поневоле оказывается в роли слушающего, точнее — интерпретирующего и, следовательно, противостоящего тому, кто говорит (сказал, написал). При изучении звучащей речи с ее просодическими характеристиками членение на тему и рему фактически сомнений не вызывает, поскольку намерение говорящего маркировано весьма четко. Кроме того, сообщение нередко дополняется жестами, мимикой и т. п. как уточнителями этой маркировки. Но при анализе письменных произведений, допускающих множественную интерпретацию изолированных предложений, дело обстоит гораздо сложнее и лишь опора на текст (контекст) позволяет достаточно непротиворечиво выявить намерение автора («говорящего» с читателем). Например, в отрывке: *Зверек на опушке в спячку залег, выходит, чует мягкую зиму, не то забрался бы в глубь леса* лишь вторая часть высказывания позволяет определить *на опушке* как информативный центр первой части.

Трудности выделения темы и ремы не следует преувеличивать и потому, что они разделяют судьбу ряда базовых единиц лингвистического анализа, также не имеющих четких параметров выделения. Казалось бы, при отсутствии единых дефиниций невозможно определить такие фундаментальные единицы, как слово и предложение, но языковеды (как, впрочем, и

---

[4] Было бы целесообразно выдержать единство терминологии и именовать тему и рему «актуальными функциями», но этому препятствует нетерминологичность данного сочетания или, точнее,—его «сверхтерминологичность», поскольку оно может, кроме обыденного языка, использоваться в разных терминосистемах.

[5] Различное понимание у говорящего и слушающего неоднократно отмечалось психологами и психолингвистами (см., например [22, с. 39]).

носители языка на что обратил внимание еще Э. Сепир) оперируют этими единицами достаточно свободно. Не случайно, что и к тема-рематическому анализу обращаются сейчас как в теоретических трудах (см., например, из последних работ [9, 23, 24 и др.]), так и в учебных пособиях (например [25, 26]).

Если определение темы и ремы, при условии однозначного их толкования, в большинстве случаев не вызывает больших сомнений, то нередко приводит в тупик разнобой в терминологии, возникший отчасти в англоязычных трудах из-за наличия слова т о п и к (topic) в английском языке, где оно широко используется со значением, равным нетерминологическому использованию слова т е м а в русском языке («тема разговора, доклада, произведения и т. п.» [6].

Нечеткость терминологии создает трудности для исследователей, поэтому мы предпочитаем применять два термина — «тема» и «рема» — и при членении предложения говорить об этих двух сферах. Подчеркнем, что применение термина «тема» имеет то преимущество, что он несет в себе как бы смысловой заряд, обозначая как смысловой центр целого текста, так и выделяя опорный пункт предложения-высказывания [7]. Сужение объектов, именуемых темой, определяется предметизацией окружающего мира и его отражением в сознании человека через категории предмета и признака (см. [32]), выражаемые в теме и реме.

Тема-рематический анализ позволяет моделировать особые смысловые отношения, определяемые коммуникативным намерением говорящего и четко выступающие в синтаксических конструкциях, не обремененных морфологическими показателями. В науке главнейшие из этих семантических отношений описаны как «данное» и «новое», «известное» и «неизвестное», «исходное» и «последующее», «менее и более важное», «менее и более информативное», «определенное» и «неопределенное» и т. п. Говорящий, строя свое высказывание, сообразуясь с законами данного языка, сам определяет фокус контраста в этих парах и распределяет языковой материал с ориентацией на такую осведомленность слушающего (воспринимающего), какую он, говорящий, представляет сам себе. В пресуппозиции говорящего входит и его представление о знаниях слушающего, хотя оно может быть не только не полным, но и неверным (примеры этого типа даны в [22]).

Естественно поставить вопрос: не стоят ли за этими своеобразными отношениями некоторые более глубокие, объединяющие их категориальные характеристики? В последнее время многие языковые феномены стали рассматриваться с позиций теории информации и при этом неоднократно отмечалось, что тема-рематические отношения связаны с процессом передачи информации. Напомним, что почти двадцать лет тому назад И. Ф. Вардуль поставил вопрос: «В чем же смысл актуального членения?» и дал ответ, что его смысл «состоит в языковом ограничении количества передаваемой информации» [10, с. 121]. Позже к понятиям информации обратились многие специалисты [18, 33, 22].

Толкуя тема-рематические связи, приходится опираться на определение информации как знаний, сведений, наличествующих у индивида как члена определенной социальной категории. Советский философ А. Д. Урсул пишет: «Информация, извлекаемая человеком из окружающей природной и социальной среды, отображаемая его сознанием, превращается

---

[6] В широком значении слово *топик* используется философами, например, П. Стросоном [27]. В лингвистике оно начало применяться в 70-е годы после того, как в докладе Ф. Данеша термины т е м а (theme) и р е м а (rheme) были объяснены через их синонимы — т о п и к (topic) и к о м м е н т а р и й (comment) [28]. Позже эти синонимические пары в смысловом отношении разошлись вплоть до использования в *противоположных значениях* (см. [29—31]), а М. Хэллидей пользуется даже термином «топиковая тема» [31]. В концепции же С. Дика использованы две пары терминов: «топик» и «фокус» — для основной предикации в предложении и «тема» и «хвост» (tail) — для дополняющих его конструкций, а все вместе они именуются «прагматическими функциями» [15].

[7] Не случайно Ф. Данеш называет принцип актуального членения «тематической структурой», или «организацией высказывания (текста)» [28, с. 135—136].

в идеальную социальную информацию. Принимая предметную форму знаков, эта информация может передаваться людьми друг другу и порожденной ими кибернетической технике, оставаясь идеальной по содержанию и материальной по форме» [34, с. 198]. В более ранней работе А. Д. Урсул показал, что содержательная сторона информации непосредственно связана с процессом отражения: «Информация с позиций теории отражения может быть представлена как отраженное разнообразие, а именно разнообразие, которое один объект содержит о другом объекте» [35, с. 217]. Таким образом, философское определение информации с позиций диалектического материализма позволяет истолковать это понятие на основе фундаментальных категорий отражения, т. е. категорий тождества и различия.

В трудах по теории информации неоднократно подчеркивалось, что человек, принимая и перерабатывая информацию в своем сознании, испытывает влияние социального и личностного опыта, отложившегося в семантических категориях, которыми он оперирует. Одновременно осуществляется ценностная ориентация воспринимаемого сознанием. Кроме того, получение информации субъектом обусловливается свойствами объекта, поскольку человек соотносит познаваемое с наличным в его сознании, т. е. устоявшимся или устойчивым знанием об устойчивых свойствах объекта. Вместе с этим каждый объект рассматривается как единство устойчивого и изменяющегося. Именно последнее, выступая на фоне устойчивого, оказывается носителем новой информации. Устойчивость связана, таким образом, с категорией тождества, а изменчивость — с категорией различия. Иными словами, в объекте можно выделить первичную структуру как носителя потенциальной, так сказать, латентной информации, и вторичную структуру, изменившую ряд параметров, как носителя актуальной информации. Получение информации человеком обусловливается не только воспринимаемыми свойствами объекта, но и опытом и знаниями субъекта, в сознании которого осуществляется определение этих свойств в параметрах категорий тождества и различия, устойчивого и изменяющегося.

Если с этих позиций подойти к передаче информации в коммуникативных синтаксических конструкциях [8], то можно дать определение темы и ремы на основе фундаментального противопоставления тождества и различия: тема является носителем тождественного, реализуемого через известное, достоверное, определенное, данное, исходное, т. е. через «старую» информацию, а рема — носителем различного, реализуемого через неизвестное, недостоверное, неопределенное, т. е. через «новую» информацию. Вследствие того, что тема является носителем тождественного, она не может не нести информации, однако передаваемая ремой информация оказывается более существенной, более важной, и поэтому рема выступает в виде информативного центра высказывания [9].

Поскольку тождество опирается на наличие постоянного и статичного, тема выступает прежде всего в виде имен (или их эквивалентов) и именных конструкций, а различие, связанное с изменяющимся и динамичным, находит опору в реме, т. е. прежде всего в предикате и предикатных конструкциях. Это свойство тема-рематических единств породило впечатление, что тема и рема совпадают с выделенными в логике субъектом и предикатом. Такое неполное впечатление основывалось на анализе простых предложений, рассмотренных, как правило, вне текстовых связей. Однако обращение к коммуникативному намерению говорящего и применение тема-рематического анализа к другим языковым явлениям, т. е. к синтаксическим структурам более сложного или более простого состава,

---

[8] Некоторые идеи данного фрагмента статьи высказывались нами в специально посвященной этой теме главе книги «Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка» [5, гл. IV].

[9] Есть основания говорить о том, что данное фундаментальное противопоставление обеспечивает эквивалентность выражений естественного и информационно-поисковых языков (см., например, сообщения В. В. Богданова и Р. Г. Котова на конференции «Типы языковых общностей и методы их изучения» — [1]).

показало несовпадение единиц логико-ориентированного и актуального аспектов синтаксиса (при отдельных случаях их наложения друг на друга).

Определение тема-рематической организации в качестве средства, выявляющего коммуникативное намерение говорящего, позволяет говорить о двухчастном составе высказывания, поскольку оно как бы заключает в себе «игру» тождеств и различий. Фундаментальное категориальное противопоставление «тождество — различие» обусловливает двухчастность любого высказывания, включая междометный возглас, для которого в виде темы выступает некое событие (ситуация).

Для принципиального обоснования наших положений можно привлечь одно из наблюдений В. И. Ленина, который, критикуя некоторые положения «Науки логики» Гегеля, записал: «Бывают в природе и жизни движения „к ничему". Только „от ничего", пожалуй, не бывает. От чего-нибудь всегда» [36]. Эти слова позволяют сделать вывод, что и движение речи идет от некоторого отправного пункта — от намерения говорящего выделить предмет сообщения в определенной ситуации. Затем это движение продолжается от тех элементов речевой организации, которые представляют собой выражение сущности, или предмета в широком смысле этого слова, т. е. от темы. Тема обеспечивает представление тождественного — отправного к реме — информативно различному и, следовательно, несущему представление изменяющегося и индивидуализирующегося.

Определив тему как выразителя тождественного, мы имеем в виду философское положение о том, что «...тождество вещи с самой собою является всегда тождеством только в определенном отношении» [37, с. 5]. Можно сказать, что в тексте тема тождественна самой себе по отношению к референту, но может быть выражена разными языковыми средствами, составляющими тематическую прогрессию (например, у К. Гольдони «Хозяйка гостиницы, Мирандолина, она» и т. п.). Эти средства вводят отношения тождества иного типа — грамматические (в приведенном примере — женский род), лексические (использование синонимов и т. п.) и стилистические и т. п. Рема служит выражению признаковой сферы в широком смысле, т. е. раскрытию особых, изменяющихся в данном сообщении признаков предмета.

Отчленение признака и предмета связано с образованием в мышлении человека структуры суждения. Еще в 1955 г. П. В. Таванец, определив суждение как «мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо с чем-либо», добавил к этому весьма важные замечания: «*По своему формальному содержанию всякое суждение отображает: 1) принадлежность или непринадлежность признака предмету и 2) тождество и различие предметов*» [38, с. 23]. На последний момент следует обратить особое внимание, т. к. именно эти категории реального мира, отображенные в сознании, проецируются и на языковые конструкции, обретая плоть в дальнейшем развертывании текста сообщения, в мене его тематических и рематических сфер. Тождество и различие предметов, отображенное сознанием, становится исходным для тождества и различия как основы построения предикативных конструкций, точнее построений синтаксических, не отягощенных формальными показателями, т. е. темы и ремы.

Не вызывает сомнения, что двухчастность логического суждения также базируется на фундаментальном противопоставлении «тождество — различие», как, впрочем, и результирующая языковая структура «подлежащее — сказуемое». Однако последняя связана морфологическими показателями в отличие от структуры «тема — рема». Подчеркнем, что тождество и различие как основа тема-рематических отношений относится к плану языка и может не совпадать с тождеством и различием как основой суждения. П. Я. Таванец особо оговаривает, что «если мысль не является отображением: 1) принадлежности или непринадлежности признака предмету и 2) тождества и различия предметов, то такая мысль не суждение» [38, с. 191]. Для выявления единиц актуального синтаксиса важно не их соответствие субъекту и предикату суждения или подлежащему и сказуемому, а своеобразное распределение языковых элементов тема-рематического отношения, подчиненное их информативной значимости.

В философских трудах указывается также, что «объективным основанием понятий тождества и различия являются... структурно-функциональные отношения повторяемости и неповторяемости, характеризующие соотношения различных вещей» [37, с. 5]. Не приходится говорить, в какой мере это положение подтверждается языковым материалом, поскольку к параметрам темы относится и повторяемость, обеспечивающая единство смысловых блоков текста.

Безусловно, в целом ряде конструкций, особенно в простых нераспространенных предложениях, происходит наложение друг на друга всех синтаксических функций. Среди них тема и рема определяются тождественным и различным как параметрами коммуникативного намерения говорящего (пишущего), и их чередование в тексте создает смысловую и стилистическую неповторимость языкового выражения от реплики диалога до литературного произведения.

Диалектика взаимосвязи и взаимных переходов тождества и различия обусловливает наличие тематической прогрессии (по Ф. Данешу) и особой роли рематической доминанты (по Г. А. Золотовой) в пределах текста, линейное развертывание которого подчиняет себе глобальность смысла сообщаемого.

Если подойти к рассматриваемой проблеме с типологической и диахронической точек зрения, то становится ясным, что изначально в языке имела место тема-рематическая структура, которая, возможно, была достаточно жестко связана с логико-предикатной структурой суждения, передаваемого прочим членам коллектива. Развитие социальных и экономических отношений, а также углубляющееся познание окружающего мира создавали предпосылки усложнения коммуникативных структур. Для ряда языков такое усложнение обрастало морфологическими показателями, в результате чего обособлялась подлежащно-сказуемостная структура, как бы заслонившая тема-рематические отношения. Ч. Ли и С. Томпсон правы, отметив, что «подлежащие — это грамматикализованные топики (т. е. темы, в нашей терминологии.— *С. Н.*)» [29, с. 228] [10]. Более архаический тип, т. е. тема-рематическая конструкция, сохранился в разговорной речи, однако внимание ученых к нему было привлечено лишь в XX в. Г. А. Золотова приводит интересный пример из стихотворения Б. Ахмадуллиной: «Весь сад в дожде! Весь дождь в саду!» и подчеркивает, что возможности актуального членения этих структур различны [40, с. 292]. Действительно, в них выявляется интенция автора показать разные стороны данного события и его восприятия. В разговорной речи подобные конструкции без глагольного сказуемого встречаются повсеместно: *нос в веснушках*; *руки в царапинах* (примеры взяты также из [40]).

В последние годы в связи с исследованиями в области семантического синтаксиса была выдвинута проблема первичности или вторичности актуального членения по отношению к семантической структуре предложения, т. е. ставится вопрос о том, входит ли актуальное членение в глубинную структуру или относится к поверхностной структуре. Использование терминов «глубинная/поверхностная структура» является данью моде. Безусловно, однако, что актуальный аспект синтаксиса в большей мере семантичен, чем структурный. Поэтому мы определяем тему и рему как функционально-семантические категории, роль которых в составе предложения устанавливается говорящим. Однако при этом учитываются лексические и грамматические факторы, действующие в данном языке, а также (пожалуй, в первую очередь) контекст и ситуационный фон, обеспечивающие информативность сообщения.

Признание категорий тождества и различия как основы тема-рематического членения говорит в пользу теории принципиально двухчастной структуры высказываний-предложений. Этот принцип может быть продемонстрирован на синтаксических конструкциях разных рангов. В частности, в пределах диалога выделяются тематически связанные блоки реп-

[10] В. Леман [39] показывает, что индоевропейские языки прошли путь развития от преобладания конструкций, ориентированных на тему, к конструкциям с наличием подлежащего в именительном падеже.

лик-высказываний, внутри которых обнаруживаются своеобразные отношения в чередовании тематических и рематических частей [17].

Организация сложного предложения также дает возможность выявления тема-рематических отношений. При сочинении предложений они наличествуют в каждой из составляющих эти конструкции фраз. Подчинение предложений допускает двоякий анализ: «изнутри» и «извне». Подход «изнутри» позволяет обнаружить иерархию тема-рематических связей, т. е. на первом этапе определить тему и рему всего предложения в качестве «макроструктуры», а на втором этапе выделять «микроструктуры» с соответствующими темами и ремами [41, 42]. Иными словами, подход «изнутри» позволяет анализировать изолированные предложения подобно простому предложению. Подход же «извне» требует обращения к контексту, учета тематической прогрессии, анафорических и катафорических связей, порядка расположения составляющих частей и т. п. [43]. Подчеркнем, что изначальная двучленность тема-рематических отношений легко обнаруживается и в таких сложных конструкциях.

Даже в конструкциях особого типа, как, например, включенных (вставных и вводных) предложениях, также проявляются тема-рематические связи с компонентами включающего предложения, причем обязательным и в этом случае является обращение к контексту [44]. Включенные предложения служат средством градации информативности темы и ремы включающего предложения как базовых опорных пунктов развертывания сообщения.

Отстаивая двучленность тема-рематической конструкции как средства коммуникативной организации предложения, нельзя не возразить сторонникам нечленимости некоторых типов высказываний. Членимость ситуации, описываемой неким предложением, не тождественна членимости синтаксической структуры, с одной стороны, а, с другой стороны, эта последняя допускает разные подходы к членению: в аспекте структурного синтаксиса — на подлежащее и сказуемое, в аспекте актуального синтаксиса — на тему и рему.

Об одночленности предложений: «*Пожар*!; *Это безобразие*!; *Он пошел в театр*; *Когда Вы будете дома*?» и даже: «*Вчера вечером, после долгого утомительного путешествия, я приехал, наконец, в город, в котором протекали счастливые годы моего детства*» — писал Л. В. Щерба и противопоставлял их двучленным фразам: «*Ленинград — большой город*; *Множество врачей, занятых в лучших столичных больницах,— выехали на борьбу с эпидемией*» и т. п.» [45, с. 123]. Однако это противопоставление Л. В. Щерба объяснил, исходя из мелодической характеристики этих конструкций, которая во втором типе позволяет обнаружить связь логического субъекта и предиката, тогда как «в первом... ряде фраз такого противоположения нигде нет: все они представляют собой просто некоторое констатирование действительности, иногда, может быть, и очень сложной» [45, с. 123—124; § 189]. Как мы видим, в этих примерах и рассуждениях Л. В. Щербу занимает фонетический аспект выражения логических отношений, т. е. мелодика и логическое ударение (§ 209), а не коммуникативная перспектива развертывания синтаксической структуры, хотя он близко подходит к этой проблеме (§§ 202—206, 213—216).

Идею одночленности высказываний, но уже с иных позиций, развивает В. З. Панфилов, рассматривая примеры типа *Пошли пароходы*; *Грачи прилетели* и *Вечереет*; *Зима*. Он приходит к выводу, что все они не имеют актуального членения, т. к. в них в равной мере не выделяются данное и новое, субъект и предикат суждения, хотя первые двусоставны, а вторые односоставны. В. З. Панфилов полагает, что эти предложения как «...не имеющие актуального членения выражают какую-то иную форму мышления, которую можно было бы, например, назвать одночленом, а не суждением» [46, с. 160].

Проблема членимости высказываний с привлечением идей актуального синтаксиса затронута Т. М. Николаевой в связи с анализом категориально-грамматической цельности высказывания и его прагматического аспекта [47]. Взяв предложения *Горит восток зарею новой* и *На холмах Грузии*

лежит ночная мгла и сопоставляя их с *Этот человек — мой большой приятель*, Т. М. Николаева отмечает, что в разбираемых двух примерах «...видимо, трудно выделить то, о чем говорится, и то, что говорится об этом, иначе говоря, тему и рему. Можно предположить, что языковое употребление специально выделяет высказывания, цель которых — указать на ситуацию в целом, представленную в коммуникации глобально, а не расчлененно» [47, с. 32]. Далее показаны средства выражения глобально-ситуационных высказываний, передающих ситуацию в целом, и бифокальных, в которых ситуация представлена расчлененно — типа диалога: «А где отец? — Отец спит.— Что-что? — Спит отец». Анализ разных примеров приводит автора к выводу, что «активное членение на тему и рему... различно для глобальных и бифокальных высказываний» [47, с. 35].

Думается, однако, что в приведенных рассуждениях не учтен такой фактор тема-рематического членения, как говорящий с его коммуникативным намерением [11], а кроме того, тема-рематическое членение получило субъектно-предикатную ориентацию. Примеры *Наступила весна*; *Идет дождь* нельзя считать нечленимыми в функционально-семантическом плане, хотя в них содержится описание глобальной ситуации, поскольку оба члена отягощены собственной семантикой и передают информацию об определенных событиях (ср. *Кончилась весна*; *прошел дождь* и т. п.). Это не просто констатация факта, но и сообщение о нем с точки зрения говорящего. Несколько сложнее случаи подобного рода, когда тема и рема, совпадающие с подлежащим и сказуемым, вроде бы тавтологичны по смыслу (ср. *петь песню*). Однако и в этих случаях коммуникативное намерение автора выступает достаточно явно. В конструкции *Мальчик пел* событие дано в самом общем плане, но с четким выделением темы и ремы, которые совпадают с подлежащим и сказуемым в языковом выражении. В конструкции же *Мальчик пел песню* мы находим уточнение и получаем сведения о том, что он пел песню, а не гимн, не молитву, не частушки и, наконец, не просто напевал мотив или мелодию (ср.: «Поем стихи» — название телевизионной передачи).

Иными словами, во всех предложениях, которые описывают как бы нерасчленимую ситуацию, есть членимость, устанавливаемая намерением говорящего обратить внимание либо на одну сторону, либо на другую, т. е. выделить какой-то один из компонентов ситуации и сделать коммуникативным центром его аналог в предложении.

Членимость тема-рематической организации высказывания рассматривается в статье О. Н. Селиверстовой, посвященной коммуникативной структуре предложения [48]. Автор ставит перед собой задачу показать гетерогенность явлений, включаемых в объект актуального членения, а «понятия темы и ремы предлагается рассматривать как производные от более дробных коммуникативных единиц» [48, с. 443—444]. Выполнение первой задачи связывается с раскрытием отношения характеризации и двух реализующих его членов — характеризуемого и характеризующего, которые определяют коммуникативную, т. е. функциональную, ориентированность предложения. Эти два члена рассматриваются как приблизительно соответствующие теме и реме. Однако различие, по мнению О. Н. Селиверстовой, заключается в том, что, во-первых, эти новые термины «применимы к коммуникативно слитным высказываниям» [48, с. 446], а, во-вторых, они не соотносимы с выражением более/менее важного и информативного, известного/нового и с понятием значимости. Автор пишет, что коммуникативная значимость может быть присуща всем элементам сообщения, и приводит пример: «Почему Вы сегодня такая грустная?— Мой самый лучший друг уехал из Москвы». По мнению О. Н. Селиверстовой, предложение-ответ ориентировано на группу подлежащего, однако «вряд ли можно сказать, что эта группа несет менее значимую информацию. Очевидно, важно не только то, какое действие осуществлено,

[11] Кстати, обратим внимание на то, что поэтический текст иногда подчиняется форме, т. е. ритму и рифме, и в нем могут иметь место конструкции с субъективным (по Матезиусу) порядком слов, не несущим эмфазы. Ряд примеров, приводимых Т. М. Николаевой, именно таков.

но и кто именно выступает в функции субъекта» [48, с. 446]. Не возражая против того, что обычно все элементы сообщения коммуникативно значимы, правда, в разной степени и на основе различных связей, заметим, что данный пример с точки зрения тема-рематического анализа отнюдь не прост. Оба предложения не связаны по темам, т. е. между ними имеет место тематический разрыв (в первом высказывании тема: *Вы*, а во втором — *мой... друг*). Иными словами, они входят в два разных тематических блока, хотя между ними имеется связь по ремам (состояние грусти — состояние отъезда). Второе высказывание произнесено так, что слушающий сначала получает информацию о наличии друга, которая становится исходной для сообщения о главном — о его отъезде (ср.: «Почему Вы грустны?— У меня есть друг» — диалог не является законченным, требуются сведения о друге, который уехал, погиб, обманул и т. п.). Конечно, в каждом случае учитывается и тип синтаксической модели, и лексическое наполнение ее, о чем писал еще Д. Н. Шмелев [49].

Вместе с тем следует согласиться с О. Н. Селиверстовой в том, что категория характеризации имеет очень большое значение для раскрытия тема-рематических отношений, тем более, что эта категория неразрывно связана с предикацией, представляя одну из сторон последней. Говоря о проблеме членимости/слитности высказываний, О. Н. Селиверстова по существу видоизменяет ее и переводит в проблему меньшей или большей степени членимости. Она показывает, что некоторые предложения как бы «озаглавливают» некую ситуацию и вследствие этого их членимость минимальна или их можно рассматривать как коммуникативно нечленимые. Вполне справедливо и то, что «признак „членимость/слитность“ может быть выделен в качестве отдельного параметра, характеризующего семантическую организацию синтаксической модели» [48, с. 455]. Однако семантическая нечленимость, т. е. представление цельности ситуации, может быть выражена расчлененной конструкцией. В примере, приведенном О. Н. Селиверстовой: «Дети на пляже. Как прелестны они в своих ярких купальных костюмчиках...» [48, с. 453], первое предложение тоже коммуникативно членимо на тему и рему, т. к. *на пляже* выступает в предикативной функции — признак приписывается субъекту. Второе предложение связано сильной тематической связью с первым (благодаря местоимению) и без него коммуникативно неполноценно. Сопоставление с примером: «Где дети?— Дети на пляже» демонстрирует не различие, а сходство в коммуникативном, т. е. в актуальном членении, интонационные же различия выявляют дополнительные характеристики, точнее — категорию выделения.

Кроме того, сама по себе конструкция *Дети на пляже* (как и конструкция *Мальчик пел*) представляет собой не что иное, как общее утверждение, которое, как удачно подметил С. Н. Кузнецов, при соответствующем интонационном и акцентном оформлении может быть преобразовано в частное утверждение с выделением той или другой из составных частей [50, с. 120]. С такого общего утверждения и начинается первый из приведенных О. Н. Селиверстовой примеров.

Конечно, в текстах могут быть и коммуникативно нечленимые высказывания, но таковыми являются только однословные предложения типа названных или реплики в составе диалога, у которых тема выделяется только в ситуации или в контексте. Номинативные предложения лишь в заголовках выступают как нечленимые, а также в функции антетемы [12]. Например: *Дачи в сосновых лесах под Москвой. Мелкое озеро, купальни возле топких берегов* (пример Д. Н. Шмелева) (см. [49, с. 47]). Первое предложение называется номинативным, но оно с нашей точки зрения в той же мере предикативно, как и предложение *Дачи располагались (были, находились...) в сосновых лесах под Москвой*. В этом предложении предикативность, т. е. приписывание признака предмету, выражена через тема-рематические, а не через подлежащно-сказуемостные структуры. Второе

[12] Термин *антетема* (предтема) введен нами для обозначения начальных непредикативных конструкций, уточняющих смысл последующего состава синтаксической структуры: *Э т а к н и г а, Джон уже сдал ее в библиотеку* [5, с. 111—112].

предложение содержит антетему (*Мелкое озеро*) и основное предложение с темой (*купальни*) и ремой (*возле топких берегов*). Иными словами, двухчастность является их чертой не в меньшей степени, чем в содержащих глагольное ядро. Заметим, что ниже сам Д. Н. Шмелев допускает скрытую предикативность при наличии определений: «Молодой врач = врач был молодым» [49, с. 71]. Но, безусловно, он прав в том, что «предикативный характер конструкции во многих случаях зависит от лексического значения сочетающихся слов» [49, с. 49]. В заключении к своей книге Д. Н. Шмелев признает наличие предикативно значимых единств иного типа, чем подлежащно-сказуемостные единства.

Подчеркнем, что предикативно значимыми единствами являются прежде всего тема-рематические конструкции, появившиеся в письменной речи из разговорного языка, где они являются реликтами синтаксиса глубокой древности, сохраняя свою автономию, т. е. отсутствие обязательной опоры на морфологию слова [51]. За тема-рематическими отношениями с наибольшей ясностью просматривается изначальное противопоставление диалектических категорий тождества и различия как основы речевой коммуникации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Типы языковых общностей и методы их изучения. III Всесоюзная конференция по теоретическим вопросам языкознания: Тезисы. М., 1984.
2. *Арутюнова Н. Д.* Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. М., 1976.
3. *Арутюнова Н. Д., Ширяев Е. Н.* Русское предложение. Бытийный тип (структура и значение). М., 1983.
4. *Слюсарева Н. А.* Методологический аспект понятия функций языка.— ИАН СЛЯ, 1979, № 2.
5. *Слюсарева Н. А.* Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка. М., 1981.
6. *Слюсарева Н. А.* О проблемах функциональной морфологии (на материале языка аналитического типа — английского).— ИАН СЛЯ, 1983, № 1.
7. *Слюсарева Н. А.* Синтаксис и морфология в свете функционального подхода.— ФН, 1984, № 5.
8. *Панфилов В. З.* Грамматика и логика. М.— Л., 1963.
9. *Колшанский Г. В.* Коммуникативная функция и структура языка. М., 1984.
10. *Вардуль И. Ф.* К обоснованию актуального синтаксиса.— В кн.: Язык и мышление. М., 1967.
11. *Козлова М. С.* Философия и язык (критический анализ некоторых тенденций эволюции позитивизма XX в.). М., 1972.
12. *Tesnière L.* Eléments de syntaxe structurale. Paris, 1959.
13. *Филлмор Ч.* Дело о падеже.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1981.
14. *Реферовская Е. А.* Лингвистическое исследование структуры текста. Л., 1983.
15. *Dik S. C.* Functional grammar. Amsterdam, 1978.
16. *Степанов Ю. С.* В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М., 1985.
17. *Теплицкая Н. И.* Диалог с позиций теории актуального членения. ФН, 1984, № 4.
18. *Черняховская Л. А.* Перевод и смысловая структура. М., 1976.
19. *Шевякова В. Е.* Современный английский язык. Порядок слов, актуальное членение, интонация. М., 1980.
20. *Ярцева В. Н.* Контрастивная грамматика. М., 1981.
21. *Гак В. Г.* Сравнительная типология французского и русского языков. М., 1983.
22. *Сорокин Ю. А.* Психолингвистические аспекты изучения текста. М., 1985.
23. *Дешериева Т. И.* Субъектно-объектные отношения в разноструктурных языках. М., 1985.
24. *Шахнарович А. М.* Семантика детской речи, психолингвистический анализ: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1985.
25. Современный русский язык. М., 1981.
26. *Блох М. Я.* Теоретическая грамматика английского языка (на англ. яз.). М., 1983.
27. *Стросон П. Ф.* Идентифицирующая референция и истинностное значение.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. М., 1982.
28. *Daneš F.* One instance of Prague School methodology: functional analysis of utterance and text.— In: Method and theory in linguistics. The Hague — Paris, 1970.
29. *Ли Ч. Н., Томпсон С. А.* Подлежащее и топик: Новая типология языков.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982.
30. *Чейф У.* Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топики и точка зрения. В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982.

31. *Halliday M. A.* An introduction to functional grammar. London, 1985.
32. *Степанов Ю. С.* Имена, предикаты, предложения. Семиологическая грамматика. М., 1981.
33. *Гальперин И. Р.* Информативность единиц языка. М., 1974.
34. *Урсул А. Д.* Проблема информации в современной науке. Философские очерки. М., 1975.
35. *Урсул А. Д.* Природа информации. Философский очерк. М., 1968.
36. *Ленин В. И.* Философские тетради.— Полн. собр. соч., т. 29, с. 119.
37. *Ким В. В.* Тождество и различие как категории материалистической диалектики. Свердловск, 1969.
38. *Таванец П. В.* Вопросы теории суждения. М., 1955.
39. *Lehmann W.* From topic to subject in Indo-European.— In: Subject and topic. New York, 1976.
40. *Золотова Г. А.* Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
41. *Крылова О. А.* Понятие многоярусности актуального членения и некоторые синтаксические категории (сочинение, подчинение, обособление, присоединение).— ФН, 1970, № 5.
42. *Перепеченко Г. П.* Проблема актуального членения многозвенных сложноподчиненных предложений.— В кн.: Вопросы романо-германской филологии. М., 1972.
43. *Кормановская Т. И.* Сложноподчиненное предложение как единица коммуникативного синтаксиса (на материале современного английского языка): Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук, М., 1983.
44. *Гедминайте И. Ю.* Особенности включенных предложений в современном английском языке: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1984.
45. *Щерба Л. В.* Фонетика французского языка. М., 1953.
46. *Панфилов В. З.* Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971.
47. *Николаева Т. М.* Категориально-грамматическая цельность высказывания и его прагматический аспект.— ИАН СЛЯ, 1981, № 1.
48. *Селиверстова О. Н.* К вопросу о коммуникативной структуре предложения.— ИАН СЛЯ, 1984, № 5.
49. *Шмелев Д. Н.* Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке. М., 1976.
50. *Кузнецов С. И.* Теоретическая грамматика датского языка. Синтаксис. М., 1984.
51. *Николаева Т. М.* Коммуникативно-дискурсивный подход к интерпретации языковой эволюции.— ВЯ, 1984, № 3.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1986

ВИНОКУР Т. Г.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ И ЯЗЫКОВОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ

1. Содержание статьи одноязычного толкового словаря дает один из наиболее показательных примеров несоответствия в информативном объеме собственно семантической части и части, характеризующей употребление слова. В самом общем виде это можно объяснить разной степенью близости значения слова и его употребления к социальной оценке коммуникативной роли выразительных средств родного языка [1], благодаря чему в современном языкознании достаточно четко определилась мысль о наличии в словаре названного типа двух разных объектов описания соответственно двум разным реальностям. Один объект описания и одна реальность — это слово как единица лексико-семантической системы языка; другой объект и другая реальность — это слово на службе употребления языка (являющая собой результат — т. е. конечный продукт — стилистического отбора).

Многие исследователи склонны квалифицировать это положение как «антиномию одноязычной лексикографии» и признавать «фундаментальный характер» различий между двумя данными объектами, требующими различных же способов описания: а) при помощи строгих правил, соответствующих компоненту лингвистической модели, и б) при помощи социально-культурных ассоциаций. Необходимость соединения этих способов есть объективная причина «метасемиотической природы» словарной статьи, что, в свою очередь, ведет к непоследовательности в отражении связей семантических систем с системами культурного и мировоззренческого порядка, организующими тексты, которые производит данный социум [1].

Действительно, современный одноязычный толковый словарь, как в отечественной, так и в зарубежной лексикографической практике, стремясь в идеале к максимальному охвату обеих реальностей, осуществляет это стремление с ущербом, по крайней мере, для одного из упомянутых объектов. Им оказывается, как правило, употребление слова, поскольку толковый словарь — предприятие преимущественно семантическое. Следовательно, характер антиномии здесь приобретает, скорее, исполнительская сторона дела, как она решается авторами тех или иных словарей, нежели категориальная. В зависимое положение второй объект попадает не потому, что не поддается «строгому» описанию, а потому, что у его системности существуют иные, хотя, может быть, не менее строгие, правила. Они могут быть корректно сформулированы с социо-коммуникативно-стилистических позиций, представляющих собой феномен прагматического плана, второстепенного по отношению к семантической структуре слова и имеющего коннотативный статус.

Нет спора, что такие правила еще не выработаны. Традиция составления одноязычных толковых словарей предусматривает границу, которая, отделяя первостепенные информационные нужды текста статьи от второстепенных, пролегает между значением и созначением — социально-коммуникативной коннотацией. Условность этой границы очевидна, так как сформировавшееся на основе множественных употреблений, значение слова поступает в распоряжение того же употребления, получив узуальную коннотацию — созначение (непрерывную линию этой связи, в ее пря-

[1] Ср. один из принципов, касающийся системы стилистических помет, выдвинутый Н. Ю. Шведовой в предисловии к 9-му изданию словаря С. И. Ожегова (М., 1981): «Помета „неодобрительное“ сохранена только там, где окраска неодобрительности относится к самому слову, но не к социальной оценке называемого им явления, понятия» (с. 7).

мых и «обратных» участках, можно изобразить следующим образом: УПОТРЕБЛЕНИЕ → значение → СОЗНАЧЕНИЕ → употребление) [2].

Однако «непротивленческий» смысл самого термина «антиномия» и служит свидетельством объективно сложившейся картины взаимодополняющих отношений этих двух реальностей, без отражения которой статья толкового словаря не может считаться самодостаточной. Рамки коннотативных сведений зависят от принципов составления словника и от нормативной позиции данного словаря. Ввиду неудержимого роста как общелитературного, так и специального лексического состава современных языков лексикология и лексикография постоянно сталкиваются с вопросом о том, что же отражает (может, должен отражать) толковый словарь — общий лексический состав языка или состав «узуальных подъязыков» [3].

Нормативно-толковые словари, какими являются современные СУ и СО, толковые словари типа БАС и МАС [4], имеют меньшие возможности показать всесторонне реальные черты современного словоупотребления определенной эпохи, чем это мог бы сделать, предположим, словарь тезаурусного типа. Но, в то же время, как раз для таких словарей (в рамках отобранного словника) сведения об употреблении жизненно более важны, так как без нормализаторско-кодифицирующей деятельности, без культурно-речевых предписаний они не выполняют своего общественного назначения. И вот это противоречие есть, по всей вероятности, наиболее актуальное и, без сомнения, трудно разрешимое для новейшей одноязычной лексикографии, тем более, что во многих областях лингвистической теории вопросы взаимоотношения значения и употребления слова решаются на уровне новых понятий семантики и прагматики.

Появление категорий «прагматическое значение», «стилистическое значение» способствует методологическому упорядочению явлений системы и узуса и, в частности, дает возможность объединить под общей «социокоммуникативной шапкой» центральные закономерности употребления языка. Ставить или не ставить знак равенства между ними и тем, что в терминах стилистики теперь определяют как узуально-стилистические закономерности, для настоящего случая значимо лишь в одном из многих обсуждаемых аспектов: ограниченности (специализации) или всеобщности употребления языка. С этой точки зрения «определение стиля как частной системы языка, категории, определяемой функциями языка, представляется наиболее близким к его адекватному пониманию» [3, с. 53]. Термин же «стилистическое значение», уточняющий текстообразующую роль этих функций в коммуникативном процессе, т. е. порождение ими разных классов экспрессивно-социальной коннотации [5], призван показать, что семантика попадает в коммуникацию через стилистику, дефиниции которой трактуются как узуальные. Отсутствие или наличие стилистического значения у слова (гипермаркированность или маркированность, по Ю. М. Скребневу) — это нулевой или положительный признак того же (узуально-стилистического) уровня.

2. Не обсуждая в настоящий момент системные качества и противоречивость стилистической терминологии вообще и не затрагивая в полном объеме вопрос о неудовлетворительном обслуживании ею толкового словаря [3, с. 85—91], следует коснуться лишь некоторых обозначений. В большинстве толковых словарей проводится оппозиция «стилистические и др.» пометы. При этом под «др.» попадают или пометы *спец.*, *устар.*, *обл.* и пр., или за пределы собственно стилистических выводится и проти-

---

[2] Ср. термин «распространительное употребление» в предисловии к 17-томному «Словарю современного русского языка».

[3] Так, Дж. Филлмор на примере «юридического языка» рассматривает специализацию значений и ставит вопрос о мере, в какой можно ее учитывать в общелитературных словарях (см. [2]).

[4] Далее в статье такими сокращениями обозначаются Толковый словарь под ред. Д. Н. Ушакова (СУ), Словарь С. И. Ожегова (СО), Большой и Малый академические словари (БАС и МАС). По мере надобности указываются цифрами 9-е изд. Словаря С. И. Ожегова ($СО_9$) и 2-е изд. МАС ($МАС_2$).

[5] Понимание экспрессии как свойства именно употребления языка находится у истоков лингвостилистической теории (см. [4]).

воположный фланг — экспрессивная (эмотивная) оценочность, что в какой-то мере объединяет эти, прямо не связанные, противоположности. Поэтому система «стилистические и др.» (называемая или подразумеваемая) вряд ли способствует адекватному описанию коммуникативной специализации слова, определяемой функциями языка, хотя как будто предназначена именно для этой цели. Возникшая в связи со сложностью включения в литературно-нормативный словник необходимого минимума разных по происхождению участков лексико-семантической периферии, она невольно сместила акценты их генетических свойств, что, естественно, привело к непоследовательному распределению их узуальных признаков.

Ср., например, меняющийся от словаря к словарю принцип подачи этих признаков у слов, эмотивная или эмотивно-оценочная коннотация которых является составным элементом их семантической структуры: **хлюпик** (СУ — *простор.*, *пренебр.*, *бран*; СО — *прост.*, *пренебр.*; $СО_9$ — *прост.*; $МАС_2$ — *прост.*); **рохля** (СУ — *разг.*, *пренебр.*; СО — *разг.*, *пренебр.*; $СО_9$ — *разг.*; $МАС_2$ — *разг.*, *пренебр.*); **зарапортоваться** (СУ и СО — *разг.*, *ирон.*; МАС — *разг.*). Здесь мы сталкиваемся с намерением или отразить только функциональное ограничение, и тогда породившая его эмотивная (в настоящих примерах — пейоративная) оценочность остается не зарегистрированной; или же представить и то и другое, но без указания на связующие причинно-следственные отношения (эта информация в словарях отсутствует, хотя могла бы быть обозначена порядком следования членов составной пометы). Однако и двучленная помета не получает окончательного выхода в сферу употребления, для чего необходимо еще одно — коммуникативное — звено.

Если авторы словаря все же видят в нем необходимость, то возникает достаточно громоздкая (трех- или четырехчленная) помета; ср. **хлюпик** в СУ, где функциональный и эмоциональный ограничители проницательно выводятся на «узуальную прямую» — *бран.*, или **зараза** в МАС, когда ко второму значению, снабженному двойной пометой *груб.*, *прост.*, присовокупляется специальное предостережение «употребляется как бранное слово».

Наиболее короткий путь к узуальной прямой, конечно, демонстрируют пометы у слов с тем типом стилистического значения, который непосредственно порожден функциональными ограничениями, явившимися, в свою очередь, причиной приобретения словом эмотивного или эмотивно-оценочного компонента и, следовательно, добавочной экспрессии (**велеречивый**, **спроваживать**, **инсинуация**). Но их узуально-справочный аппарат также неустойчив, и, главным образом, потому, что стремление составителей найти наиболее экономные способы увеличения объема стилистической информации не позволяет уделять специального внимания внутренней иерархии компонентов стилистического значения.

Между тем, важно отметить, что, с точки зрения общих закономерностей словоупотребления, функционально-стилистические пометы *книжн.*, *разг.*, *прост.* ничем не отличаются от помет *спец.*, *устар.*, *обл.* Служа обозначению ограниченности (и, следовательно, предпочтительности или регулярности использования слов в определенных коммуникативно-речевых сферах), они составляют вместе с последними единый ряд социально-дифференцирующих коннотаций соответственно пониманию стиля как социального диалекта. Их узуально-коммуникативный приоритет вызывает мысль о специфическом круге стилистических характеристик, достойных большей самостоятельности как предмет словарного описания, в то время как пометы эмотивного генезиса, наоборот, будучи возведенными в ранг оттенка значения, разгрузили бы узуально-справочную номенклатуру. Ее задача по отношению к коммуникативному плану и без этого остается сложной, потому что, как показывают тексты статей в толковом словаре, в ней чрезвычайно зыбким оказывается порог, который отделяет общую узуально-коммуникативную направленность слова в ее двухместной характеристике (экспрессивной — *высок.*, *сниж.* и функционально-обособляющей — *книжн.*, *разг.*, *прост.*, пересекающихся в общем нейтральном

звене) от целеустремленного стилистического приема (*ирон.*, *фам.*, *торжеств.*).

Этот второй слой фактически выходит за пределы устойчивых коннотаций и содержит намек на контекстуальную вариативность. Так, помета *ирон.* к **велеречивый** дается в СУ, СО и БАС как возможность. В МАС она вообще отсутствует. Принцип же регистрации контекстных приращений не согласуется с задачами толкового словаря, тем более, что эти приращения могут быть поняты по-разному. Так, помета, например, *пренебр.* тоже способна отражать регулярную возможность использования слова **велеречивый** («Уж очень он велеречивый» — вовсе не обязательно ирон.) в определенных контекстах. Но такое указание было бы равно требованию классифицировать контексты, т. е., например, к слову **лакействовать** давать не только помету *пренебр.* (*презрит.*), но и «преимущественно в литературно-публицистических текстах» [6], чего мы не вправе ожидать (как регулярного пункта в составе помет) от существующего образца словарной статьи.

Следовательно, мы можем констатировать, что: 1) этот образец — одна из наименее удобных форм для широкого отражения закономерностей языкового употребления; 2) реальные условия существования слова (важность которых для словарной статьи подчеркивал Л. В. Щерба) получают в таком тексте несимметричный и иногда противоречивый комментарий; 3) достичь информативного равновесия между основным корпусом словарного текста и узуально-стилистической пометой невозможно без ломки традиции, что заставило бы думать о создании словаря какого-то иного типа.

3. Любые попытки усовершенствовать словарную статью приводят к изменению ее структуры и формулировок по сравнению с другими словарями и предшествующими изданиями. Можно с уверенностью сказать, что большинство таких изменений, включая пополнение или сужение словника и состава помет, связано с реальными процессами развития языка лишь опосредованно — через необходимость развития теории и практики лексикографии, хотя в предисловиях и инструкциях к словарям обычно утверждается обратное. Несомненно, что появление новых значений и их оттенков в словарях общенормативного типа в большей степени свидетельствует не об их реальном возникновении, а об изменении принципов составления словаря, что, впрочем, и не может быть иначе.

Сходное положение с пометами на первый взгляд покажется странным. Тем не менее, мы далеко не всегда имеем дело с непосредственной регистрацией реальных сдвигов в употреблении стилистически дифференцированных единиц лексики, несмотря на то, что социальные установки в этой области действительно подвергаются изменениям в рамках микроистории и что поэтому соответствующий участок словарной информации активно сопротивляется стабилизирующим терминологическим правилам. Если помета *разг.*, *фам.* в СУ соответствует пометам *разг.* или *прост.* в более поздних словарях, то, скорее, здесь идет речь об изменении системы помет, чем об ином осознании функционально-экспрессивных границ слова носителями языка и необходимости его отражения в словаре. Во всяком случае отличить одно от другого представляется часто затруднительным. Ср.: **лизунья** (СУ — *разг.*, *фам.*, *неодобр.*; БАС и МАС — *прост.*); **красотка** (СУ — *простореч.*, с добавлением для второго значения — «возлюбленная» — *фам.*; СО — *прост.*, в БАС пометы нет, МАС — *разг.*). Перечень подобных соответствий показал бы отсутствие в них равной последовательности (т. е. не всюду *разг.*, *фам.* в СУ равен *прост.* в МАС), что опять-таки обусловлено «сопротивлением материала».

Но, помимо этого, для системы помет весьма существенно наслоение на подобные, т. е. внешние по отношению к самим языковым изменениям, причины, в виде задач и установок, диктуемых временем и, значит, общественной ситуацией. Так, более широкий репертуар помет и сложная система их внутреннего взаимодействия в СУ являются прямым следствием так на-

---

[6] См. слово **угодничать** в [5].

зываемого социального заказа: словарь обострил нормализаторские задачи, которые должны были выполнять одновременно и функцию «борьбы» за чистоту языка и функцию его обновления. Благодаря этому значительный круг функциональных помет (рождающих в реальном употреблении насыщенную экспрессивно-социальную коннотацию) свидетельствует об изменении отношения и к явлениям действительности, и к словам, их обозначающим, и к языковой политике общества в целом. Стилистическая значимость слов многопланово дифференцировалась (см. [6]), и этим создавалась внушительная панорама социально окрашенного употребления той эпохи, объективную историческую роль которой трудно переоценить. В связи с этим функциональные пометы типа *нов.*, *историч.*, *загранич.*, *политич.*, *экономич.*, *дореволюц.*, *церк.*, так же, как большое количество узкоспециализированных профессиональных помет (*мат.*, *анатом.*, *тех.*, *газет.*, *театр.*), выглядели в СУ не менее яркими и разнообразными, чем экспрессивные [7].

Однако их дальнейшая судьба не имеет параллелей с микроисторической судьбой самих слов этого семантического круга. Особенно характерно то обстоятельство, что слова, имеющие помету *нов.*, вообще исчезают в последующие периоды развития словарного состава из активного употребления (ср. **дворохозяйство** — *нов.*, *эконом.*). В других же случаях неактуальными оказываются сами пометы. Ср. слова того же гнезда: **дворянство** (*дореволюц.*, *загран.* к значению «дворяне какой-нибудь местности»); **дворня** (*историч.*); **дворцовый** (*историч.*, *политич.* — к сочетанию **дворцовый переворот**). Здесь помета уходит вместе со словом как обозначением не реалии, а социологического понятия, содержащего указание на его оценку говорящим коллективом того времени (или предписывающего эту оценку). Показательно, что новые слова предметной семантики (**универмаг**, **орденоносец**) претерпевают естественное диахроническое развитие — теряют помету *нов.*

Таким образом, историко-социологическое наслоение, подчиняя себе систему помет, делает еще более призрачной возможность адекватного описания значения и употребления слова — с диахронической точки зрения. Нарушаемая им терминологическая преемственность этой части словарной статьи [8] не позволяет провести непрерывную узуально-диахроническую линию и объективно связать внутриязыковое и социально обусловленное развитие словарного состава конкретной исторической эпохи. Следовательно, закономерности употребления генетически разных, но функционально сходных стилистических классов слов, которые не отражают непосредственно каких-либо семантических изменений, могут получать произвольную интерпретацию. Ср. слово **сходка** (СУ не имеет помет; в СО — *устар.*, в $СО_9$ — *устар.*, *теперь неодобр.*, $МАС_2$ — опять не имеет помет). Пометы даны к значению «собрание» и, с одной стороны, никак не могут соответствовать реальному положению вещей, т. е. временному «омолаживанию» слова и возникновению на каком-то этапе его использования пейоративной оценки, затем вновь исчезнувшей. Тем более, что примеры $СО_9$ — *сходки студентов* и *сходки нацистов* — иллюстрируют сразу, как и полагается, обе пометы. Но готовившийся одновременно к печати с $СО_9$ $МАС_2$, где в примерах фигурируют *сходки революционеров*, *рабочих и членов сельской общины*, эту помету не подтверждает. С другой стороны — постепенное устаревание слова, принадлежащего к подобному семантическому полю,— процесс реальный, и до выхода в свет $МАС_2$ изме-

---

[7] Ср. замечание Д. Н. Шмелева о многообразии экспрессивно-стилистических регистров лексики современного русского языка по сравнению с функциональным рядом [3, с. 89].

[8] В предисловии к $СО_9$ говорится о полном сохранении системы (разрядка наша.— *В. Т.*) помет по сравнению с предыдущими изданиями и в то же время о пересмотре их «в направлении большей унификации и приближения к норме», что, видимо, не может оставить в неприкосновенности и самое систему помет. В $МАС_2$ упоминается о некоторых дополнениях, внесенных в стилистическую характеристику слов, и расширении количества помет, указывающих на экспрессивно-эмоциональную оценку, что также, естественным образом, обуславливает появление в словаре новых помет.

нению пометы от СУ до $СО_9$ могла бы быть обеспечена прямолинейная трактовка. С третьей стороны, если оценочные пометы сохраняются только там, где они относятся к самим словам, «а не к их социальной оценке», то слово *сходка* вряд ли имеет таковую, о чем опять-таки свидетельствуют указанные примеры.

Совершенно ясно, что установки, действующие при составлении или переиздании словаря и сами имеющие «обратную связь», способны брать верх не только над реальной историей стилистически значимого словоупотребления, но и над логикой его диахронического движения в принципе. В то же время не менее ясно, что совершенствование содержания словарной статьи иным путем идти не может и что это происходит отчасти потому, что мысленному взору лексикографов открывается в этом случае двухмерная (макро- и микроисторическая) картина лексических перемещений. Крупному плану семантики на ней соответствует узуально-стилистическая диахрония отдельных участков системы [9], неоднозначно фиксируемая словарями, в зависимости от внешних по отношению к ней факторов. Кроме того, развитие лексики, поэтапно отражаемое, например, в соответствующих изданиях СО, даже при том, что максимальное приближение к современности является одной из его основных задач, сопровождается сокращением общего числа помет по сравнению с СУ, что обуславливается другой, и не менее важной, задачей — общедоступности, демократизации нормы и связано с сокращением словника (см. [17]). Но к пометам СУ и СО не возвращаются ни БАС, ни МАС. Время ставит перед ними новые задачи — полноту охвата русской лексики, которая способствует глубокому пониманию русской классической литературы, и эти задачи связываются авторами словаря с необходимостью изменения, а не продолжения традиций в системе помет.

4. Микроистория дает иную картину соотношения системы и узуса, чем макроистория. Здесь живы и актуальны связующие диахронические звенья между десятилетиями и даже более короткими отрезками времени. Микроисторическую чувствительность закономерностей узуально-стилистического словоупотребления и сложность ее адекватного отражения в толковом словаре окончательно подтвердила «неология». Представляется, что, несмотря на название, словари-справочники «Новых слов и значений» дают прежде всего картину современного употребления слов широкого стилистического диапазона и что процесс их «вхождения», как его понимают составители, имеет в известной степени формальный характер.

Нужно также заметить, что неология, безмерно обогатив современную лексикографию фактами, вызвала еще большее брожение в ее теории — главным образом в той части, которая непосредственно касается системно-узуальных отношений. Для закономерностей стилистического узуса, в рамках которого сама по себе новизна (слова, его значения, условий его использования) — есть мощный стилеобразующий фактор, особенно существенно то, что неологические словники почти целиком состоят не из нейтральных, а функционально-ограниченных слов. Эти слова принадлежат разным сферам, объединенным, однако, одним общим признаком — лексико-семантической подвижностью. Поэтому в них активно проявляются стилистические последствия, «произрастают» экспрессивные коннотации, без которых не осуществляется языковое употребление в целом. Отсутствие диахронической ретроспективы, традиционно необходимой для установления и описания семантической структуры слова, позволяет лексикографам-неологам непредвзято подойти к языковой жизни общества. И потому в поле их зрения попадают факты пограничные, еще не обработанные лексикографией, не отстоявшиеся в лексико-семантической системе языка. Их можно квалифицировать как словоупотребление с еще не

---

[9] Например, макроисторическое изменение значения слова **психический**, отражаемое в МАС как расщепление значений (1-е значение помечено *устар.*). Ср. еще: «Зачем эти подзаголовки? *Психический* этюд, жанр, новелла? Все это одни претензии» (А. И. Куприн, Памяти Чехова) — со стилистическим диапазоном его нынешнего употребления от медицинского термина до просторечия.

законченным процессом формирования стилистического значения, которое впоследствии приведет и к большей семантической определенности.

Так, в словаре-справочнике «Новые слова и значения» (М., 1984; далее — Словарь) дано слово **занудство** (с. 226) с пометой *в разг. речи.* Две иллюстрации, одна из которых является примером художественной стилизации разговорной речи, т. е. «отраженного» употребления (что снижает достоверность пометы), а вторая — из публицистического текста,— этой характеристики не подтверждают. К тому же можно привести примеры из той же публицистики, демонстрирующие скорее образчики «специальной» (по терминологии Д. Н. Шмелева) речи: «Специалисты утверждают, что на благополучии семьи могут отрицательно сказаться и наши дурные привычки. Например, *занудство* — его никак не назовешь качеством нашей натуры. Это порок приобретенный. Так же, кстати, как неопрятность, неумение слушать собеседника...» (Неделя, 1985, № 22). Здесь это слово как бы пытается «просочиться» в нейтрально-литературный ряд и, может быть, с претензией на некую терминологичность, чему способствует грамматическое значение суффикса, которое при словопроизводстве в сниженной нелитературной сфере не теряет способности несколько «повысить» эту форму относительно производящей. Однако интенсивность стилистического значения последней (ср. пометы к слову **зануда** в МАС$_2$) — *прост.*, *груб.*, *презрит.* и *бран.*) пока что не позволяет мириться с выходом слова **занудство** за пределы грубовато-фамильярного, жаргонизированного речевого общения. В то же время, при демократичности современных нормативных ограничений в сфере лексики, его дальнейшая судьба не столь уж однозначна, а от нее зависит окончательное оформление семантической структуры слова. Ср. семантико-стилистические «зигзаги» слова **выдворить**, один из оттенков значения которого одновременно приобрел узуальный характер публицистически-политического термина и возможность стать ядром иронического приема [СУ к единственному значению «выселить кого-нибудь из помещения в административном порядке» дает помету *офиц.*, *устар.*, *теперь ирон.*; СО к единственному же значению «выселить» (с 1949 г. по 1981 г.) меняет пометы — *разг.* на *прост.*, а затем вовсе снимает помету; МАС$_2$ дает три оттенка значения, два из которых помечены *разг.*]; или слово **переиграть**, получившее новые возможности употребления благодаря взаимодействию возникшего вторичного лексического значения с одним из вариантов стилистического значения, отражающего принцип разговорной экономии речевых средств (от бытового «Давай *переиграем* это дело на завтра» до газетно-публицистического: «Так делается попытка „переиграть“ результаты второй мировой войны, снова заразить молодых духом нацизма» (Словарь, с. 495).

Узуально-стилистическая квалификация максимального объема по отношению к тем слоям лексики, которым свойственна диахроническая подвижность, достоверна для каждой временной точки лишь относительно. Синхронный взгляд отмечает то, что может быть утрачено при малейшем отступлении от него. Вряд ли, например, сейчас можно точно определить круг и стилистическую специфику употребления слов, о которых Грот писал как о «принявшихся на его памяти»: *даровитый*, *деятель*, *представитель*, *научный*, *паровоз*, *обусловливать*, *сдержанность*, *заподозрить*, *почин*, *влиятельный* [8]. Можно лишь догадываться, что имел в виду Л. Толстой, когда в «Разговоре о науке» замечал: «Профессор был один из тех молодых ученых, которые говорят охотно: *ничего не поделаешь*, *развитой барин*, *мне живется*, *честно*». И можно просто охотно поверить авторитетам, если Некрасов говорит, что «*ерунда* — лакейское слово, равнозначительное слову дрянь» (Н. А. Некрасов. Петербургские углы), а Чехов считает слова *пошлость* и *пошло* устарелыми (А. П. Чехов. Письмо к Суворину от 23 янв. 1900 г.). Но в том, что «принимается» на его глазах, исследователь, даже невольно, отмечает малейшие нюансы, свидетельствующие о семантико-стилистической неустойчивости, которая не дает возможности провести желаемую грань между значением и употреблением.

Именно поэтому неологические словники, включая самые крайние звенья маргинальных по отношению к литературно-нормированной лекси-

ке явлений, затрагивают наиболее неустойчивые в указанном смысле пласты. Ср. просторечное *мелочевка*: «мелочное, не стоящее внимания дело, занятие»; или «несущественные для описываемой в речи ситуации, предметы»: «Мы занимаемся *мелочевкой*, все дни насмарку!» и «Ну, я собрал коечего *по мелочевке*, лимончик там, яблок купил, а что́ еще в больницу...»; или жаргонное *приблатненный*, которое в Словаре трактуется как «хулиганствующий, хулиганствующего вида» (с. 553), между тем как существует и, возможно, доминирует другой смысл: «близкий к воровским кругам» и — шире — к «блатным» в значении: ловкачам, людям, живущим на нетрудовые доходы и пр. Эти слова не представляют, конечно, опасности для литературного языка, о чем мы говорили в примере со словом *занудство*. Но стилистический берег, к которому они пристанут, так или иначе имеет, ввиду отсутствия временной перспективы, еще неясные очертания. Более того, в отдельных случаях его рельеф меняется день ото дня, а сложится или не сложится происходящее изменение в узуальный факт, судить сейчас не представляется возможным. Здесь мы сталкиваемся с самыми разными явлениями вплоть до намечающейся «официально-политической» коннотации у нейтрального слова. Ср. регулярное употребление слова *озабоченность* в сочетании «выражать озабоченность чем-либо»: «3 апреля президент публично *выразил* свою озабоченность в связи с обстрелом советского представительства при ООН» (Словарь, с. 453). Слово *приземленный*, получив переносное значение, одновременно начинает активно употребляться в публицистике, литературно-критических, театрально-критических и т. п. текстах: *приземленное* (*заземленное*) *мышление*, *видение мира*, *приземленный образ* и пр.

5. Асимметрию узуально-стилистической шкалы справочного словарного аппарата можно иллюстрировать бесконечным числом примеров. Но выводы из таких иллюстраций не представят ничего иного, кроме вариаций уже отмеченных положений. Для толковых и нормативно-толковых словарей — это противоречивость внешних установок и внутренних языковых процессов, семантический приоритет, лексикографические традиции. Для неологии — это неустойчивость семантико-стилистических связей, из-за чего стилистические характеристики новых слов и значений очень скупы, хотя сам материал дает веские основания для их расширения и уточнения.

Если бы мы коснулись, в связи с неологическим материалом, наиболее широко представленного в Словаре круга слов, то увидели бы, что в настоящее время в четкой узуально-стилистической классификации особенно нуждается огромный массив терминологической и околотерминологической лексики, теснящей нейтральную во многих функционально-речевых областях. Так как современная эпоха чрезвычайно усложнила вопрос о взаимоотношениях сугубо специальной и общедоступной лексики разных профессиональных сфер, этот вопрос составляет особый ракурс упомянутой выше общей проблемы об отражении семантики «узуальных подсистем» [9]. Прежние принципы подачи этих лексических слоев не выдерживают ни количественного напора, ни активности разнонаправленного распространения слов, которые следовало бы помечать как *спец*. Поскольку раньше этот вопрос касался лексических раритетов, ограничительная система помет, как бы она ни была задумана, вполне могла удовлетворить потребности словаря общего типа, хотя и при этом лексикографов на каждом шагу подстерегали трудности. Напомним, что, например, в задачу СУ входило объяснение принципов филологического словаря вообще, когда самый смысл «установления границ употребления слов» подвергался критике [10].

---

[10] «Мы не хотели бы думать, что составители намеревались этим установить „черту оседлости“ для каждой группы слов (хотя формулировка „установить границы употребления слов“ звучит довольно зловеще)». И далее автор статьи с недоумением спрашивал: почему слова *внутрисоюзный*, *добровольчество* — газетные? Разве их нельзя употреблять и не в газете? Почему *затребовать* и *авансовый* — канцелярские? Их можно употреблять всюду... и т. п. Тем не менее автор одновременно возмутился тем, что слово *бахштейн*, по мнению составителей словаря, означает сорт голландского сыра, тогда как «специалисты по сыроварению утверждают, что это два разных сорта» [10].

Конечно, по отношению к профессиональной лексике на каждом шагу могут возникать сомнения, подобные следующим: почему в общелитературный словник входят слова типа *ростра*, *титло*, *плеоназм*; почему у какого-нибудь из них оказывается снятой помета (МАС дает *титло* в «филологич. значении» без пометы); почему пометы при слове *лигатура* претерпевают от словаря к словарю именно такие, а не какие-нибудь другие изменения (СУ дает три значения с соответственными пометами *хим.*, *филологич.*, *мед.*, а МАС — четыре значения, два из которых помечены *спец.*, а одно — *мед.*); почему в Словаре есть статья на слова *бланширование*, *бланшировать* и нет на *пассирование*, *пассировать*, хотя само слово *пассирование* есть в примере на *бланширование*, и этот круг заимствованных кулинарных терминов начиная с 50-х гг. заметно активизировался (т. е. употребляется не только в книгах, например, типа «О вкусной и здоровой пище», но и в кулинарных рецептах на страницах газет и журналов) [11]?

На все эти вопросы могло бы ответить лишь унифицированное, стандартное и вместе с тем по возможности исчерпывающее описание закономерностей употребления стилистически значимых слов. Но если последние не являются самостоятельным или даже главным объектом внимания лексикографа, то сосредоточить его на реальном существовании словарного состава в языке данного времени и данной эпохи объективно невозможно.

Между тем современное состояние лексикографической практики и лингвостилистической теории позволяет думать о словаре языкового употребления, который можно было бы назвать узуально-стилистическим словарем и принципы которого можно было бы развивать в двух направлениях. Первое основывается на перемене мест слагаемых по отношению к толковым словарям, когда от них отторгается вся лексика, имеющая пометы, и состав этой лексики затем пополняется сравнением материалов специальных словарей с определенным кругом источников.

Так как «помета» понятие вовсе не «эксклюзивное», а, наоборот, регулярное и частотное, то объем только первого круга лексики окажется весьма внушительным [12]. Поэтому особого внимания заслуживают принципы ее пополнения, главным из которых для словаря со стилистической ориентацией должен, очевидно, быть равномерный охват источников, противопоставленных по функциональным, экспрессивным и жанровым признакам. Так, Словарь не отражает реальной картины стилистически значимого употребления новой лексики потому, что в нем не используются данные устной разговорной речи.

Не менее важно в связи с разработкой принципов узуально-стилистического словаря решить вопрос об адекватном соотношении коллективного и индивидуального начал в языковом употреблении. Используя мысль Г. О. Винокура, можно сказать, что такой словарь будет отвечать своему назначению в том случае, если он не ограничится «стилем языка», а широко отразит «стиль тех, кто говорит и пишет», т. е. коснется и категории «языковой личности», пользующейся языком по-разному в предлагаемых обстоятельствах.

---

[11] Характерно, что это касается наименований или производственных процессов в этой области или оборудования (*тостер*, *миксер* и т. п.), тогда как названия блюд, наоборот, отходят от заимствованных. Ср. любопытную заметку «Русские названия блюд в столовых» (может быть, положившую начало «исходу»?): «В Нарпит в последнее время поступил ряд заявлений рабочих о том, что меню в столовых общественного питания для них совершенно непонятны, так как подаваемые в столовых блюда носят французские, итальянские, английские и другие названия, заимствованные из иностранных языков. На этой почве происходят частые пререкания между рабочими и обслуживающим персоналом столовых. В связи с этим кулинарная комиссия Нарпита уже подобрала русские названия для блюд, особенно распространенных в столовых. Всего будет переименовано до 600 названий блюд. Список новых названий уже разослан во все столовые для ознакомления» (Вечерняя Москва, 1926, 3 дек. Пример взят из архива Г. О. Винокура).

[12] Обследование, например, буквы *Т* по CO_9 показало, что из 1203 слов, составляющих эту букву,— 589, т. е. почти половина, имеет помету, а более половины от этого числа имеет двойную помету. Обследование слов на букву *С* по СУ дало около трех четвертей статей с пометами от общего количества.

При этом еще одним принципом, заслуживающим пристального внимания, явится разграничение экспрессивных результатов употребления слов в художественной и нехудожественной речи. Художественная (эстетическая, поэтическая) функция слова находит себе место в узуально-стилистическом пространстве, но не свидетельствует о специфически направленных намерениях словесного отбора, который может обнаружиться лишь в условиях многоаспектного анализа словесно-художественного творчества. Придется думать, почему, например, в узуально-стилистический словарь не войдет слово *глядеть*, если его употребить в таком контексте, в котором оно будет выражать больше, чем обозначать; ср. у Тургенева («Петр Петрович Каратаев»): «...его небольшие опухшие глазки *глядели* и только» (усиливается значение пассивности действия, перерастающее в изображение безвольности, лености и пр.) — с одной стороны. С другой стороны, придется думать, почему для стилистического узуса равны «Гете и Федька» в своей художественной потенции, о чем писал Л. Н. Толстой («Кому у кого учиться писать»), разбирая фразу из сочинения яснополянского мальчика *Кум надел бабью шубенку*, и почему *перетоматил* — экспрессивнее, «разговорнее» и сниженнее, чем *положил слишком много томату*.

Таким образом, в узуально-стилистическом словаре, хотя это и может на первый взгляд показаться противоречием, должен быть отведен участок для редких употреблений, окказионализмов или потенциальных слов, если в них обнаруживается нечто общее с точки зрения экспрессивно-стилистического результата.

6. Узуально-стилистическая характеристика слова в обсуждаемом словаре должна быть построена согласно разработке системы терминов, которая могла бы показать последовательную взаимозависимость компонентов стилистического значения. Если, например, слово *драить* (*выдраить*, *надраить*) или вовсе отсутствует в толковых словарях (СУ), или дается без пометы (МАС), или отмечается как *спец.* (СО), статья узуально-стилистического словаря должна отметить первое значение как *спец.* (*драить паруса*), переносное как *разг.*, с последующей детализацией: *грубовато-фамильярное* и с указанием на соответствующий экспрессивный эффект, в создании которого приняла участие и эмоциональность, окрасившая фамильярно-бытовую сферу речи: «Я пол так *выдраил*, закачаешься!» (как одна из возможностей).

Если объективно устаревшее слово *зодчий* стало регулярно употребляться в текстах определенной функциональной принадлежности и, тем самым, частично утратило экспрессию «высокое» (обычную для устарелых слов), став дублетом слова *архитектор*, то статья такого словаря покажет, во-первых, системное *устар.* и узуальное *высок.*; во-вторых, названные последствия: *газетно-публицистическая регулярность — нейтрализация — превращение в штамп*; в-третьих, иллюстрации, которые в этом случае должны сопровождаться диахроническим или реально-историческим комментарием. Определение же того, что такое штампованное словоупотребление (с указанием на одно непременное условие образования штампа — потерю словом какого-либо компонента стилистического значения), будет дано в предисловии к словарю.

Если, например, в словаре будет дана статья на слово **распашонка** — разговорное наименование квартиры с определенной планировкой, генетически, вероятно, ленинградское, а затем распространившееся шире — то она будет содержать: ссылку на новое значение, помету *обл.*, указание на процесс распространения, помету *разг.*, *неофиц.* и замечание об инвертированном употреблении в официальных текстах — объявлениях об обмене жилплощади.

Эмотивность и эмотивную оценочность системного свойства, по-видимому, целесообразно в ряде случаев давать интродуктивно. Ср. предположительную структуру статьи на слово *мамочка*. 1. **Уменьшит.-ласкат.— системный компонент** стилистического значения. 2. Стилеобразующие **средства** — словообразоват. + лексикализация. 3. **Нейтрально-этикетное употребление**: *Мамочка*, ты не знаешь, где ножницы? 4. **То же**, с уси-

лением инт.-фам., преимущественно в разговоре с ребенком как выражение отношения к нему: Когда твоя *мамочка* придет? 5. **Эмоциональное** употребление: Моя *мамочка* — самая лучшая, самая добрая! 6. **Прием** иронической **язвительности**: Ну, вот что, дорогая *мамочка*, я уже давно стал взрослым! 7. **Прием фамильярно-шутл.**; устар.— в обращении мужчины к мужчине (иллюстрации из Чехова); 8. Обобщение, касающееся этикетного «звательного» в современном употреблении [13]. В других статьях на уменьшительные образования, возможно, следует дать и социально-нормативную характеристику (к употреблениям типа *выпей молочко*, *скушай яичко*), хотя узуально-стилистический словарь, как видим, прямо противоположен по своим установкам нормативно-стилистическому.

Первоочередная задача — определение объема и содержания понятийно-терминологического аппарата, адекватно отражающего нужды узуально-стилистического словаря современной лексики русского языка,— может приблизить осуществление задач, связанных и со вторым направлением стилистической лексикографии — не столь уж фантастичным в «эпоху нетривиальных словарей». Речь пойдет о словаре прагматических стилевых заданий и способах их вербализации. В таком словаре, предположим, содержанием статьи «Интимизирующие средства и приемы» явится перечень средств всех языковых уровней, способствующих интимизации общения, и приемов, формирующихся на основе этих средств в зависимости от функциональных разновидностей и жанров речи. Но это уже тема следующей статьи.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Рей А., Делесаль С.* Проблемы и антиномии лексикографии. В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIV. М., 1983, с. 264—265 и сл.
2. *Филлмор Ч. Дж.* Об организации семантической информации в словаре.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIV, с. 23 и сл.
3. *Шмелев Д. Н.* Русский язык в его функциональных разновидностях. М., 1977.
4. *Sechehaye A.* L'école genevoise de linguistique générale. Berlin, 1927.
5. Словарь синонимов русского языка. Под ред. Евгеньевой А. П. т. II. Л., 1971.
6. *Цейтлин Р. М.* Краткий очерк истории русской лексикографии. М., 1958, с. 113, 117 и сл.
7. *Ожегов С. И.* О трех типах толковых словарей современного русского языка.— ВЯ, 1952, № 2.
8. *Грот Я. К.* Филологические разыскания. Т. II. СПб., 1899, с. 17.
9. *Ментруп В.* К проблеме лексикографического описания общенародного языка и профессиональных языков.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIV, с. 302—303.
10. *Остроумов А.* О недостатках Толкового словаря.— Большевистская печать, 1937, № 4, с. 69—70.

[13] Возможны пункты 9 и 10, отражающие специализированные экспрессивные задания формы, числа (*Мамочки* мои, как я устал!).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1986

ЖУРАВЛЕВ В. К.

ПОСТУЛАТ НЕПРЕЛОЖНОСТИ ФОНЕТИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И СОВРЕМЕННАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА

1. Постулат непреложности фонетических законов был сформулирован младограмматиками в 70-х годах прошлого века как фундаментальное положение компаративистики. С тех пор не прекращаются споры его сторонников и противников [1]. Как следует относиться к фонетическим законам, которые постулировали младограмматики сейчас, при наличии новых и новейших теорий звуковых и языковых изменений?

Современная компаративистика, в частности славянская, столкнулась с двумя парадоксами: один — старый, хронический, а другой — новый, хронологический. Первый обнаружен более столетия тому назад. Он заключается в том, что принципиально безысключительные фонетические законы не могут не иметь исключений в истории языка. Второй стал проявляться в последние десятилетия. Он заключается в том, что чем «точнее» методы хронологизации и больше объем эмпирического материала, тем больше размах «точной» датировки праязыковых процессов. Если раньше ученые, устанавливая датировку того или иного реконструируемого процесса, спорили относительно десятилетий, то теперь — ставка на столетия и даже тысячелетия! Так, начало самостоятельного развития праславянского языка В. Георгиев относит ко II тыс. до нашей эры, а З. Штибер — к первым векам нашей эры. Один из важнейших праславянских процессов, I палатализация задненебных, датируется I тыс. до н. э. (по С. Б. Бернштейну) и VI в. н. э. (по Ч. Бидуэлу). А. Лампрехт [2] убедительно доказывал с точностью до 25 лет, что этот процесс проходил в 475 г. н. э. Хронологический парадокс проявляется и в том, что праязыковое состояние «эпохи распада» переносится в глубь веков. Н. Д. Андреев перенес праиндоевропейскую эпоху в 10—15 тысячелетия до нашей эры. Естественно, что расстояние между отдельными праязыковыми процессами растягивается, с одной стороны, а с другой — предельно сближается; прежние архаизмы все чаще и чаще оказываются инновациями, результатами самостоятельного параллельного развития отдельных родственных языков и диалектов. И действительно, трудно отдать предпочтение той или иной датировке, трудно отрешиться от впечатления, что в хронологических спорах «оба правы», взаимоисключающие результаты в равной мере доказуемы и не могут быть отнесены ни к числу истинных, ни к числу ложных. Это и есть парадокс.

Наличие парадокса вызывает сомнение относительно научного совершенства теории, в которой он обнаружен. Это стимулирует уточнение ее фундаментальных понятий. Стремление освободиться от парадокса должно так или иначе совершенствовать саму теорию и методологию исследовательской практики. Так, попытка освободиться от первого парадокса привела младограмматиков к положению о непреложности фонетических законов, которые могут быть нарушены действием аналогии. И несмотря на то, что аналогия оказалась слепой, лингвистически произвольной, ибо лежала в психологии, именно младограмматический этап сделал нашу науку точной. Схожесть получаемых результатов была поразительной. Нередко один и тот же закон открывали почти одновременно ученые разных стран независимо друг от друга (ср. закон Фортунатова — Соссюра и др.). Э. Герман в начале XX в. призывал «заняться исследованием того, почему мы с помощью нашего метода реконструкции приходим к одинаковому результату» [3]. Это ли не свидетельство точности метода!

Лингвисты, потратив много усилий на доказательство ложности одного из наиболее фундаментальных достижений своей науки, все же не смогли отрицать методологическую ценность положения о непреложности фонетических законов. Но даже те, кто отстаивает постулат младограмматиков, как правило, подчеркивают некую ущербность фонетических законов по сравнению с законами естественных наук. Если законы последних действенны всегда и всюду,— рассуждают они, то действие фонетических законов ограничено лишь данным языком или даже диалектом на строго определенном этапе его развития. Лингвистическая закономерность исключений из фонетических законов пока не раскрыта, действие аналогии не освобождено от психологизма младограмматиков. От Жильерона до Лабова накапливается фактический материал, вступающий в противоречие с постулатом о непреложности фонетических законов, усиливая аргументацию их противников. Действительно, нередко создается впечатление, что каждое слово, отражающее те или иные звуковые изменения, имеет свою историю и географию. Звуковое изменение переносится отдельными словами из более престижного подсоциума в менее престижный. Кажется, что в этом и заключается суть механизма звуковых изменений. Но как же быть с конкретными достижениями младограмматиков, основанных на прямо противоположных принципах?

2. За последнее время в славистике усилился интерес к абсолютной хронологии явлений (Ч. Бидуэл [4] и др.). Абсолютная хронология опирается на внелингвистические исторические факты, отмеченные в древних хрониках (дата первых контактов славян с готами, дата появления славян на Балканах или в верховьях Оки и Волги, первых контактов славян с греками, с романизированным населением Балкан, угро-финнами северо-восточной Европы, контактов с тюркоязычными народами и т. п.). Она базируется на фактах межъязыковых соответствий с неродственными языками. Следует иметь в виду, что абсолютная хронология не может быть самоцелью: сама история языка осталась бы лишь конгломератом разрозненных, лишенных внутренней связи, хотя и точно датированных фактов. При этом возможны ошибочные суждения. Так, например, отмечая в сербском языке чередование *g//ž* в тюркском заимствовании *бег* (им. ед.) — *беже* (вокатив), можно подумать, что первая палатализация сохраняла актуальность, по крайней мере, до битвы на Косовом Поле (1389 г.). Сопоставляя русские топонимы *Селигер* (озеро) и *Сележаровка* (река и село), можно подумать, что название села древнее (эпоха действия I палатализации), чем название озера, от которого оно образовано (др.-русск. *Серегѣрь* из угро-финского субстрата, ср. эст. *Särgjärv*, эст. *särg* «плотва»).

Бóльшую лингвистическую ценность имеет хронология относительная, устанавливающая хронологическую иерархию собственно лингвистических фактов. Относительная хронология опирается на сравнительную (внешнюю) и внутреннюю реконструкцию.

Хронологизация на основе внешней реконструкции опирается на генетическую гипотезу, постулат языкового родства и модель родословного древа. Она нацелена на анализ соответствий между родственными языками. Хронологическая иерархия языковых явлений и процессов строится по принципу приуроченности к определенным «коленам» родословного древа, эпохам распада соответствующего праязыка (прарусское или пралехитское, празападнославянское, прабалтославянское состояние... и наконец, праиндоевропейское состояние). Сходство тех или иных явлений относится к соответствующему праязыковому состоянию эпохи распада либо объясняется, по крайней мере, территориальным соседством носителей этих диалектов в отдаленном прошлом. Исторические изменения хронологизируются следующим образом: одни относятся к праиндоевропейскому состоянию, другие — «произошли на балто-славянской почве» и относятся к балто-славянскому состоянию, третьи «произошли на славянской» либо «прарусской» почве и т. п. Вероятность параллельного развития нередко выпадает из поля зрения исследователей. В центре внимания — дивергентные процессы.

Относительная хронология, базирующаяся на данных внутренней ре-

конструкции, нацелена на анализ внутриязыковых соответствий, на вскрытие отношений между элементами данного языка в его статике и динамике, внутренней взаимосвязи исторических процессов. Здесь хронологическая иерархия языковых процессов покоится на всеобщем принципе взаимосвязи, взаимообусловленности и взаимозависимости. В идеале история языка, построенная на данных такого рода хронологизации,— цепь взаимосвязанных причинно-следственными отношениями языковых явлений и процессов. Классическая «внутренняя» относительная хронология опирается на гипотезу регулярности, на фундаментальное положение компаративистики о непреложности фонетических законов, выдвинутое младограмматиками.

Естественно, чем глубже мы познаем исследуемое явление или процесс, тем больше вскрывается его связь с другими явлениями. Если же установлена тесная внутренняя взаимосвязь между двумя явлениями или процессами, то трудно отделаться от впечатления об их хронологической близости или одновременности. Хронологическое расстояние между языковыми процессами при этом неизбежно сжимается. Между фундаментальными процессами, коренным образом изменившими облик нашего языка, остается предположить лишь несколько десятилетий.

С другой стороны, по мере расширения объема эмпирического материала родственных языков в связи с дешифровкой древнейших текстов на языках, причисляемых к индоевропейским, вместо ожидаемой близости наука обнаружила глубокие расхождения... Эпоха распада праиндоевропейского языка переносится все дальше и дальше в глубь веков. Хронологическое расстояние между языковыми процессами неизбежно увеличивается. Схожие явления в праславянском и хеттском говорят об их хронологической близости.

Неоднозначность решения задач хронологизации приемами относительной хронологии, вероятно, и обусловила увлечение хронологией абсолютной. Цифра, число сами кажутся связанными с представлением о точности... К тому же давно подвергались сомнению и модель родословного древа, и постулат о регулярности фонетических законов, лежащие в основании приемов относительной хронологии.

3. Современное состояние нашей науки может разрешить парадокс фонетических законов и реабилитировать фундаментальное понятие компаративистики, обосновать представление о наличии закономерностей в объекте лингвистических исследований. Фонетические законы — это не законы звуковых изменений или межъязыковых соответствий, как это представлялось младограмматикам. Фонетические законы — это законы функционирования в синхронном состоянии языка, это законы аллофонного варьирования в зависимости от определенных фонетических (позиционных) условий. Позиционное варьирование фонем непреложно, действует автоматически, предсказывается позицией и, как правило, не замечается носителями данного языка. Так, например, в современном русском литературном произношении варьирование *ê//e* позиционно обусловлено (ср. *это* ~ *эти*): в позиции перед мягким согласным регулярно выступает закрытое *ê*. Весьма существенное физическое различие между *ê* и *e* говорящими не осознается, все внимание сосредоточено на различии ($t : t'$), фонологически существенном.

Сущность фонетического закона можно выразить формулой:

$$L\left\{\frac{a > b}{P}\right\}T$$

Звук a регулярно переходит в звук b в строго определенных позициях P в данном языке L на данном этапе его развития T. Верно, что фонетический закон действует лишь в ограниченных рамках данного языка, данного языкового коллектива в строго определенную эпоху. И это не может свидетельствовать о его ущербности по сравнению с законами естественных наук.

Лингвистические переменные L, T — такие же переменные, как,

скажем, сопротивление и сила тока в законе Ома $I = \frac{V}{R}$. Не сетуют же физики на безусловный факт неоднозначности силы тока в цепях с различным сопротивлением.

Фонетические законы обладают такой же силой предсказуемости, они столь же индуктивны, как и законы естественных наук. На основании определенного минимума тщательно осмысленных и проверенных данных легко обозревается вся масса фактов. Если установлено, например, что на месте *k* выступает *č* в позиции перед гласными переднего ряда $L\left\{\frac{k > č}{+'V}\right\}T$, то тем самым предсказывается *č* на месте *k* в соответствующих позициях во всех без исключения словах и морфемах данного языка. Отступление от такой закономерной дистрибуции может свидетельствовать об изменении лингвистических переменных L, P, T, т. е. об отмене данного фонетического закона.

Так, наличие случаев типа русск. *Кирилл*, *кентавр*, *кино*, *кефир* может свидетельствовать о том, что эти слова не принадлежали языку L в эпоху действия данного закона T, т. е. они заимствованы из другого языка уже после завершения процесса первой палатализации. Отступление от фонетической закономерности — свидетельство ее прекращения в эпоху заимствования.

Если же отступление от предсказуемой дистрибуции наблюдается в исконных словах и морфемах, то, следовательно, изменился параметр P. Так, наличие случаев типа русск. *крик* — *кричать*, *цена*, *цедить* и *кидать*, *кий* означает, что в эпоху действия первой палатализации на месте современных гласных переднего ряда стояло нечто другое, а в данном случае здесь имеет место вторичный (**kaina* > *cěna* > *цена*) или даже третичный гласный переднего ряда (др.-русск. *кый* > совр. русск. *к'ий*). На месте современного гласного непереднего ряда в эпоху первой палатализации стоял гласный переднего ряда (**krīkētei* → *krīčētei* → *kričati*). Более молодые фонетические законы $\left(\frac{ē > ā}{+č}; \frac{ai, ei}{+C\#} > ě_2, i_2\right)$ отменили действие старшего закона о палатализации ($k > č$), изменились, следовательно, и параметры T. На этом и основана классическая относительная хронология: T_p (эпоха первой палатализации) старше, древнее эпохи T_a (переход $ē > ā$ после шипящих и *j*), старше монофтонгизации дифтонгов T_d и т. п.

Традиционную компаративистику принято обвинять в «атомизме», имея в виду ее пристальное внимание к судьбе отдельного звука вне его связи с системой (a > b). Обвинение это по крайней мере не вполне корректно. Именно фонетический закон объединял «разрозненные» звуки в определенные классы: все задненебные (*k*, *g*, *x*) перед всеми передними гласными (*ī*, *ě*, *ěi*, *ěu*, *'r̥*, *'l̥*, а также *j*) конкретного языка на данном этапе его развития переходят в шипящие (*č*, *dž*/*ž*, *š*). Отступление от предсказываемой закономерности может свидетельствовать о том, что нарушающие эту закономерность звуки не принадлежали к соответствующим классам в эпоху действия данного фонетического закона.

Если установлено, что глухой $k > č$, то и его звонкий коррелят должен давать звонкую аффрикату $g > dž$. Отступление от ожидаемого результата может доказывать то, что, например, дезаффрикация $dž > ž$ — процесс поздний, либо звонкий задненебный был не взрывным, а фрикативным. Если установлено, что задненебные *k*, *g* переходят в шипящие, то более вероятен переход $x > š$, а не наоборот, как иногда полагают.

Фонетические законы младограмматиков имели отношение лишь к фонетике, к аллофонному варьированию. Они действовали подсознательно, автоматически и не замечались носителями языка. Для того, чтобы такое варьирование стало осознанным и замеченным, должны быть нарушены параметры фонетического закона (L, T, P). Только в этом случае автоматический и непреложный закон функционирования будет «отменен», станет «историческим» законом звуковых изменений. Вот почему фонетические законы, оставившие следы в истории языка, не могут,

будучи безысключительными в эпоху своего функционирования, оставаться таковыми в истории языка. Лишь «отмененные» законы оставляют след в истории языка. Так разрешается парадокс непреложности фонетических законов. В самом деле, переход $*s > x$ в определенных позициях (после i, u, r, k — закон Педерсена) — лишь первый этап звукового изменения: $s//x$ останутся позиционными вариациями одной и той же фонемы до тех пор, пока не наступит второй этап, этап фонологизации аллофонов, превращения их в самостоятельные фонемы.

4. Суть фонологизации аллофонов заключается в выходе из состояния дополнительного распределения, в изменении отношений между объектами фонетического закона, их породившего. Вариации фонем должны стать самостоятельными фонемами, т. е. иметь хотя бы одну позицию релевантности, различения. Переход $\frac{a > b}{\overline{P}}$ означает, что в позиции не $\overline{P}$ остается a, а в позиции перехода появляется b; $\left\{\frac{a > b}{\overline{P}}\right\} = \left\{\frac{a}{\overline{P}} - : - \frac{b}{\overline{P}}\right\}$. Это — дополнительное распределение. Появление позиции релевантности P_r выводит их из дополнительного распределения $\left\{\frac{a}{\overline{P}} - : - \frac{b}{\overline{P}}\right\} \rightarrow \left\{\frac{a : b}{P_r}\right\}$. . . . Так, дивергенция $k \rightarrow k$ —:— $\check{c}$, начавшаяся как фонетический процесс, породивший аллофоны $k//\check{c}$, становится фонологическим процессом в результате нового фонетического закона $\frac{\bar{e} > \bar{a}}{\check{c}}$, отменившего старший закон первой палатализации: появляется позиция различения $\frac{k : \check{c}}{a}$, аллофоны $k//\check{c}$ становятся самостоятельными фонемами, ср.: *крика — кричать*.

Дивергенция $*s \rightarrow s$ —:—x, начавшаяся как фонетический процесс, в результате действия фонетического закона $\frac{s > x}{i,\ u,\ r,\ k}$ становится фонологической в результате фонетического закона $*\hat{k} > s_2$ (без промежуточной стадии ts, как иногда считается) с последующей конвергенцией $s_1 \times s_2 \rightarrow$ $\rightarrow s$, отменившей закон Педерсена. Появились случаи противопоставления прежних аллофонов $s//x$ в одной и той же позиции (*pixati* ~ *pisati* < < $*p\bar{i}s$- ~ $*p\bar{i}\hat{k}$-).

Процесс фонологизации прежних аллофонов может растянуться на весьма длительный промежуток времени и далеко отстоять от времени функционирования фонетического закона, их породившего. Новая оппозиция ($s : x$) усиливалась в результате многих последующих праславянских процессов: упрощения групп согласных, составивших мнимые исключения из закона Педерсена ($*baids$-, *taiskn*-, *ruds*- > *bais*-, *tais*-, *rūs*- > > др.-русск. *бѣсъ*, *мѣсьнъ*, *рысь*), монофтонгизации дифтонгических сочетаний ($*porx$- > русск. *прах*//*порох* ~ *поросенок* < $*pors$- < < *pork*- и др.).... Принципиальное различие между фонетическими и фонологическими процессами, отдаленными во времени, становится очевидным, если вспомнить, что во всех сатемных языках аллофонное варьирование исконного $*s$ осуществлялось в весьма схожих условиях и, вероятно, в глубокой древности, однако процесс фонологизации различен и, бесспорно, шел параллельно и независимо в близкородственных языках. В индоиранском переход $s > ṣ$ связан с фонологизацией целой корреляции $s : ṣ = t : ṭ = d = ḍ$. . . . В литовском переход $s > š$ (*maišas*, *vĕtušas* и т. д. = русск. *мех*, *ветхий*) связан с конвергенцией $*\hat{k} > š$ (*šlovĕ* = = русск. *слава*) и отличается от древнепрусского и латышского (литов. *širšuõ*, лтш. *sirsuonis*, др.-прусск. *sirsilis*, др.-русск. *сьршень*, русск. *шершень*). Конвергенция с прежним рефлексом палатального $\hat{k}$ в праславянском усиливала немаркированный ($\hat{k} > s_2 \times s_1$), а в литовском — маркированный ($\hat{k} > š \times š < s_1$) член новой оппозиции, зарождавшейся в результате аллофонного варьирования исконного $*s_1$, слабо включенного в систему.

5. Лишь после снятия позиционной обусловленности, после завоевания фонетическим путем новых фонологических позиций новая фонема получает возможность морфонологизоваться. Начинается третий этап звуковых изменений, морфонологический. Если первый этап зависит не

от слов и форм, но лишь от фонетических позиций, а второй освобождает прежние аллофоны от позиционной зависимости, то третий усиливает влияние на фонему слов и форм, что и подводилось младограмматиками под понятие аналогии *бег* ~ *беже* = *бог* ~ *боже* и т. п. Действию аналогии подвержены лишь самостоятельные фонемы, а не аллофоны. Это — продолжение процесса фонологизации, усиление новой фонологической оппозиции, увеличение числа позиций релевантности для ее членов. Осознание *х* как форманта прошедшего времени и его генерализация в имперфекте (*несѣахъ*) и новом сигматическом аористе (*несохъ*), генерализация его как форманта местн. мн. (*женахъ*) стали возможны лишь после появления фонетическим путем таких форм, как *пихъ* (аорист, 1-е л. ед. ч.), *сынъхъ*, *костьхъ*, *рабѣхъ* (местн. мн.). Процесс морфонологизации усиливает новую фонологическую оппозицию (*х* : *s*). Генерализация грамматических показателей имеет строгие грамматические закономерности. Это явление собственно лингвистическое, лингвистически познаваемое. Младограмматическое понятие аналогии может быть освобождено от психологизма и поставлено на прочный лингвистический фундамент строгих лингвистических закономерностей.

Последовательное различение характера звуковых изменений [1) фонетический закон синхронного функционирования, 2) фонологизация аллофонного варьирования, 3) морфонологизация результатов фонологических изменений] позволит избежать недоразумений и ошибочных решений. Для каждого типа (этапа) звукового изменения существует свой ключ, свой методический прием решения, и не может быть единого ключа для всех типов: для первого — фонетический закон младограмматиков, для второго — формулы конвергентно-дивергентных процессов Поливанова [5], для третьего — анализ динамики морфологических оппозиций [6].

6. Источником споров и противоречивых решений выяснения механизма и хронологии так называемой бодуэновской (третьей) палатализации является тот бесспорный факт, что никакое другое звуковое изменение праславянского языка не имеет столь значительного количества исключений и дублетов. Очень мало бесспорных примеров на корневые морфемы. Результаты третьей палатализации закреплены за определенными морфологическими категориями (итеративы, именные суффиксы и т. п.), т. е. морфонологизованные. Это означает, что мы наблюдаем здесь главным образом результаты третьего, морфонологического этапа звуковых изменений. Поэтому приемы анализа аллофонно-фонетического этапа ни в своем младограмматическом, ни в генеративистском варианте не в состоянии вскрыть сущность третьей палатализации. Поэтому и трактовка противоречивых показаний *отьцихъ* — *вьсѣхъ* должна идти прежде всего по линии морфологии, а не фонетики. Здесь следует усматривать процесс перехода в мягкий вариант склонения **otьkъ* → *otьcь*, а не фонетический процесс перехода гласных заднего ряда в передний (*ě* > *i*). Фонологическая суть третьей палатализации состоит в фонологизации новых оппозиций, зародившихся в результате второй палатализации $\left\{\frac{k > c_2}{\check{e}_2,\ i_2 < ai}\right\}$ — (*c* : *k*), (*c* : *č*), (*dz*/*z* : *g*), (*dz*/*z* : *dž*/*ž*), (*s* : *x*), (*s* : *š*). Третья палатализация как фонетический закон отменяла действие второй. Конвергенция результатов обеих младших палатализаций $c_2 \times c_3 \rightarrow c$, снимая дистрибутивную ограниченность рефлексов второй палатализации вторичными гласными переднего ряда ($\check{e}_2$, $i_2 < ai$), способствовала субституции велярных перед любым передним гласным той эпохи: ст.-слав. *црькы*, *цѧта* и т. п. Все это усиливало новые оппозиции. Позиция перед *а* стала теперь релевантной: *-ca*(< **ĭkā*) : *-ka* (<**kā*) : *ča* (<**kē*). Морфонологизация новых фонем продолжала процесс фонологизации, усиливая новые оппозиции. Переход в мягкий вариант склонения усиливал фонологическую оппозицию (*c* : *č*): ст.-слав. *отьць* — *отьчь*, *отьцемь* — *отьче*, *отьци* — *ключи* и т. п. В форме *отьци*(*хъ*) встречается *i* различного происхождения: **oi* — им. мн., **oi* — местн. ед. и мн., **ju* — твор. мн. Это, в свою очередь, усилило оппозицию (*i* : *ě*) в положении после *c* : *рѫцѣ*: *отьци* и т. п. Перераспределение дублетных суффиксов *-ik-*/*-ic-* усиливало фоноло-

гическую оппозицию ($k : c$) в одних и тех же фонетических условиях: *грѣшьника — грѣшьница — грѣшьнича.*

Показательно, что суф. *-ix-* не варьирует: русск. *жених — ткачиха.* Дело в том, что вариативность *-ix-//-is-* или *-ix-//-iš-* имела отношение к старым оппозициям ($x : s$), ($x : š$), восходящим к эпохе сатемизации и генезиса x. Вариативность *-ik-//-ic-* расширяла дистрибутивную валентность новой фонемы. Во втором случае в усилении дистрибутивной валентности нуждалась фонема x, а не результаты ее младших палатализаций.

Оппозиции ($s : x : š$) усиливались в случае конвергенции рефлексов младших палатализаций с любым из членов этих оппозиций. Отсюда диалектное различие рефлексов младших палатализаций, что для их фонологизации принципиально безразлично: $x > s//š$ (ст.-слав. *вьсь*, русск. *весь* — польск. *wszystek*, русск. *седой* — польск. *szady*). Напротив, новые оппозиции ($c : k : č$), ($c : k$), ($c : č$) в случае совпадения рефлексов старшей и младшей палатализации могли лишь ослабнуть вплоть до полного исчезновения. При этом ожидается неразличение рефлексов старшей и младших палатализаций (чоканье или цоканье) либо то или иное отсутствие следов младших палатализаций, действительно наблюдаемое на периферии славянской изоглоссной области (русск. диалектн. *кедить, кепь* = русск. литер. *цедить, цепь* и т. п.).

Едва ли факт совпадения рефлексов старшей и младших палатализаций в данном случае можно объяснить хронологической близостью этих фонетических процессов. Как и в случае с фонетическим процессом аллофонного варьирования исконной фонемы $*s$ в сатемных и.-е. языках, между фонетическим процессом и процессом фонологизации его результатов может лежать значительный промежуток времени. Фонологизация может совершиться позже, параллельно и независимо уже в отдельных диалектах праславянской изоглоссной области. Конвергенция $š_1 \times š_2 \times \times š_3 \rightarrow š$, $č_1 \times c_1 \times c_2 \rightarrow č//c$ — проявление фонологизации, а значит, и прекращение фонетических процессов первой палатализации и йотации, второй и третьей палатализаций. Справедливость этой концепции подтверждается фактом конвергенции рефлексов йотации то со свистящими, то с шипящими коррелятами новой фонологизирующейся оппозиции. У западных славян (польск., чеш., луж.) рефлексы йотации зубных взрывных поддержали свистящие корреляты: $ť$ ($<tj$) $\times c_{2,3} \rightarrow c$; $ď$ ($<dj$) $\times \times dz//z_{2,3} \rightarrow dz//z$, а фрикативных — шипящий: $š$ ($<sj, xj$) $\times s_{2,3} \rightarrow š$. У восточных славян, наоборот, рефлексы $ť$, $ď$ поддержали шипящие корреляты (т. е. рефлексы старшей палатализации), хотя рефлексы младших палатализаций — свистящие: $ť \times č_1 \rightarrow č$; $ď \times ž \rightarrow ž$, но $s_{2,3} \times s_1 \rightarrow s$, ср. русск. *мачеха* — чеш. *macecha* и т. п.

За последнее время предпринята попытка пересмотра хронологизации третьей (бодуэновской) палатализации задненебных. Г. Лант [7] и др., применяя приемы так называемой генеративистской фонологии, пытались доказать, что третья палатализация старше регрессивных первой и второй, старше монофтонгизации дифтонгов, старше генезиса слав. x. Сами генеративисты декларируют, что они работают «на аллофонном уровне». Их формула «фонетического закона» весьма напоминает младограмматическую (см. выше):

$$A \rightarrow B \Big/ \frac{x - y}{z}$$

«Замени A на B в окружении $\frac{x - y}{z}$»

Здесь уже есть, таким образом, параметр позиции, но еще нет параметра времени T и L (данной языковой системы). Это, безусловно, связано с концепцией универсальности дифференциальных признаков. Естественно, в концепции генеративистов (как в свое время и младограмматиков) нет места для разграничения фонетического, фонологического и морфонологического этапов звуковых изменений.

На основании данного принципа иерархизации звуковых изменений третью праславянскую палатализацию следует реабилитировать как

третью по времени. В процесс фонологизации порожденных младшими палатализациями аллофонов третья палатализация с ее трансгрессивно-прогрессивным характером могла внести наиболее существенный вклад, содействуя выведению прежних аллофонов *k//č//c* из состояния дополнительного распределения. Третья палатализация, как и другие праславянские процессы определенной поры, содействовала сближению смежных звуков, развитию группового сингармонизма. Но в отличие от всех предшествующих процессов, превращавших групповой сингармонизм в слоговой, пренебрегая границами морфем и слов, она, наоборот, пренебрегала границами слога, разрушала слоговой сингармонизм, усиливая относительную автономию морфемы, фонемы и слова: **pătĭkā* > > °(*pў*) + '(*tī*) + (*kā*) > *pъt* + /*i͡k*/ + *a* > *gъt* + *ic* + *a* → *пътица*. Этим и объясняется ее морфонологическое содержание. Это — проявление конца «эпохи силлабем», следствие монофтонгизации дифтонгов, еще развивавшей тенденцию к открытому слогу, но уже нарушавшей тесную связь между гласным и предшествующим согласным. Это — преддверие процесса падения редуцированных, положившего конец эпохе открытого слога. Третью палатализацию следует считать одним из последних праславянских процессов. Она хронологически ближе к разнообразным процессам, связанным с тенденцией межслоговой зависимости гласного и последующего согласного: ср. чередование типа польск. *las* ~ *lesie*, болг. *мляко* — *млечен*, русск. умеренное яканье, ёканье и т. п.

7. Есть еще один тип, еще один этап хронологической иерархии звуковых изменений, социализация. В самом деле, языковые инновации могут быть приняты либо отвергнуты данным языковым коллективом. Он может сохранить либо утратить то или иное языковое явление, может расширить либо сузить сферу и область его функционирования. Языковой коллектив отбирает из двух или нескольких вариантов произношения того или иного слова наиболее подходящий, наиболее престижный [8]. Но прежде чем отбирать, необходимо иметь из чего выбирать, необходимо ощутить, что произносишь не совсем так, как произносят в другом языковом коллективе, в географическом или социальном «полудиалекте». Для того, чтобы заметить такое различие, а тем более воспроизвести новый вариант, необходимо иметь соответствующую фонему, пусть не в том слове, не в той позиции, но иметь. В крайнем случае, это может быть аллофоном позиции нейтрализации, своей нейтрализуемой оппозиции, своим аллофоном. Это означает, что социализироваться могут результаты фонологизации и морфонологизации, а не фонетические законы, действующие непреложно и подсознательно. Атлас немецких диалектов не подтвердил и не мог подтвердить «гипотезу о безысключительности звуковых законов. Его факты показали, что одинаковые звуки в разных словах не развиваются одинаково в пространстве» [9, с. 56]. Иначе и не могло быть. Лингвистическая география отражает не только первый этап звукового изменения, не фонетические законы синхронного функционирования, а весь сложный комплекс звуковых изменений, в том числе и не в последнюю очередь результат их социализации. Действительно, тот или иной допустимый вариант произношения конкретного слова распространяется по путям коммуникаций, варианты произношения соответствующих слов группируются вокруг церковных приходов, культурных учреждений и административных центров. Фонетические условия отвердения, депалатализации *r'* в позиции перед задненебными для всех слов современного русского языка одинаковы, но большинство произнесет *зе*[рк]*ало* при редком *зе*[р'к]*ало* (старшее поколение интеллигенции), часто можно слышать *це*[р'к]*овь*, реже — *це*[р'к]*овная ограда* (среди верующих), но всегда — *це*[рк]*овник* (в языке атеиста). Вариативность отмечается в языке одного и того же лица, даже (реже) в одном и том же слове. Это связано с возможностью произношения [р'к] и [рк], ибо данная позиция является сильной, релевантной для фонологической оппозиции (*r'* : *r*), ср. *горка* и *горько*.

Естественно, специфика данного типа языковых изменений, обусловленного фактором их социализации, требует специфических приемов анализа. Здесь не фонетика, не фонология, не морфология, а социолингвисти-

ка должна предлагать свои решения. И если собственно социолингвистические факты не укладываются в концепцию непреложности фонетических законов, то это может означать не ложность этой концепции вообще, а лишь то, что она не может быть верной для всех типов звуковых изменений, оставаясь верной для строго определенного типа, в данном случае — фонетического. Геометрия Лобачевского не отвергает геометрию Эвклида, но лишь уточняет сферу действия последней.

Прежние достижения науки должны быть включены в новейшие научные концепции как частный и предельный случай. Это — общенаучный «принцип дополнительности» Нильса Бора. Фундаментальное положение нашей науки, постулат непреложности фонетических законов, вместе с огромным эмпирическим материалом, собранным усилиями многих поколений ученых, необходимо включить в целостную современную концепцию звуковых изменений как предельный случай, вполне достоверный для первого типа звуковых изменений — фонетического.

Как можно было заметить, разрешение парадокса непреложности фонетических законов способствует разрешению хронологического парадокса. Неоднозначность решения частных вопросов хронологизации того или иного явления или процесса неизбежна, если в центре внимания одних внешние, а других — внутренние связи данного явления с явлениями родственными, если не осознана хронологическая иерархия типов звуковых изменений (фонетический, фонологический, морфонологический и социолингвистический). Явление аллофонного варьирования может быть отделено многими столетиями от процесса фонологизации этих аллофонов, а тем более — от процесса морфологизации новой фонемы и социализации этих изменений. Так, интенсификация социализации сочетания *k' + i* во флексиях прилагательного муж. рода современного русского литературного языка (*сладкий*, но *слепой*) последних десятилетий оказывается начатой еще в XVII в. как морфонологизация новой фонемы *k'*, вследствие процесса фонологизации новой оппозиции (*k' : k*). Предпосылкой ее появления был фонетический закон *кы* > *k'u*, следы которого фиксируются в памятниках XIII в.

Реабилитация фонетических законов означает и реабилитацию основанных на них методических приемов и конкретных достижений относительной хронологии. Фундаментальная формула фонетических законов включает в себя параметр лингвистического времени T, изменение которого является производным от изменения параметра P, позиции. Иными словами, путем изменения позиционных условий новый фонетический закон отменяет действие старшего закона (см. выше, п. 3). Это позволяет однозначно устанавливать относительную хронологию целой цепочки фонетических процессов. Так, например, сопоставляя русск. *смех* — *смешно*, можно реконструировать хронологическую иерархию важнейших праславянских явлений. Шипящий мог возникнуть из *x* в позиции перед гласным переднего ряда: $\frac{x > \check{s}}{+\,'V}$ по закону первой палатализации T_p. Сам задненебный *x* мог возникнуть из первичного $*s_1$ в позиции после *i*, *u*, *r*, *k*: $\frac{*s_1 > x}{i,\ u,\ r,\ k+}\ T_x$. Это означает, что *e* из $\check{e}_2$ дифтонгического происхождения $\frac{ai > \check{e}_2}{+C}\ T_d$. Однозначно и непротиворечиво реконструируется следующая цепочка форм: *смешн-* < *smě₂šьn-* ← *smaišĭn-* <**smaixĭn-* < **smaisĭn-*, где суф.-*ĭn-* мог быть присоединен на одном из этапов развития. Таким образом, происхождение *x* датируется раньше первой палатализации ($T_x \leftarrow T_p$); последняя — раньше монофтонгизации дифтонгов ($T_p \leftarrow T_d$); падение редуцированных — до редукции кратких (*ĭ*, *ŭ* > *ь*, *ъ*), переход $\check{e} > e$ — после падения редуцированных.

Приемы установления хронологической иерархии процессов фонологизации и морфонологизации еще не разработаны. Здесь можно ожидать серьезных уточнений хронологизации и самой специфики многих звуковых изменений. Так, на основании отсутствия переходов в *x* вторичного славянского s_2 (из палатального $*\hat{k}$) можно полагать, что процесс конвергенции $*s_1 \times s_2$ (<$\hat{k}$) → *s* проходил после процесса $s_1 > x$. На основа-

нии того факта, что формант *x* мог быть получен фонетическим путем лишь в формах сигматического аориста, следует заключить, что процесс его морфонологизации в формах аориста начался раньше, чем в формах имперфекта и т. п.

У порога процессов социализации кончается сфера действия не только фонетических законов, но и внутренней реконструкции. Здесь начинается господство внешних факторов. Здесь приемы абсолютной хронологии могут дать бо́льшие результаты, чем это имело место до сих пор. Для установления хронологизации первых трех типов звуковых изменений более эффективны приемы относительной хронологии. Последняя может и должна вскрыть взаимосвязь между отдельными фонетическими явлениями, между фонетическими и фонологическими, а также морфонологическими процессами. Выполнить эту задачу можно лишь при условии опоры на прочный фундамент постулата непреложности фонетических законов и на весь эмпирический материал, добытый с его помощью нашими предшественниками.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Collinge N. E.* The laws of Indo-European. Amsterdam — Philadelphia, 1985.
2. *Lamprecht A.* Praslovanština a její chronologieké členění.— In: Československé přednášky pro VIII Mezinárodní sjezd slavistů (Zagreb, 1978). Praha, 1978.
3. *Hermann E.* Über das Rekonstruiren.— KZ, 1907, Bd. 41, S. 11.
4. *Bidwell C. E.* The chronology of certain sound changes in Common Slavic as evidenced by loan from vulgar Latin.— Word, 1961, v. 17, № 2.
5. *Поливанов Е. Д.* Фонетические конвергенции.— ВЯ, 1957, № 3.
6. *Žuravlev V. K.* Die Dynamik baltoslavischer morphologischer Oppositionen.— IF, 1977, Bd. 82.
7. *Lunt H. G.* The progressive palatalization of Common Slavic. Skopje, 1981.
8. *Labov W.* The so ial motivation of a sound change.— Word, 1963, v. 19, № 3.
9. *Bach A.* Deutsche Mundartforschung. 2 Aufl. Heidelberg, 1950.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1986

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

АЛПАТОВ В. М.

О РАЗНЫХ ПОДХОДАХ К ВЫДЕЛЕНИЮ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

Вопрос о природе и сущности частей речи принадлежит к числу «вечных» вопросов языкознания. Стало уже общим местом утверждение о том, что существует много точек зрения, ни одна из которых не является общепринятой, и что данная проблема далека от разрешения. С другой стороны, столь же широко известно, что при описании любого конкретного языка неизбежно приходится решать вопрос о том, как выделять в этом языке части речи. Попытки отказаться от этого понятия в ряде современных исследований фактически сводятся лишь к замене термина на какой-либо другой («дистрибуционные классы слов» и т. д.), а проблема все равно остается [1]. Поэтому вопрос о критериях разграничения частей речи при всей своей запутанности не может потерять актуальности. Как нам кажется, для разработки таких критериев имеет смысл еще раз разобрать существующие точки зрения на части речи, выявить различия между ними и попытаться объяснить причины, их вызывающие. При этом мы ни в какой степени не претендуем ни на исчерпывающий охват материала, ни на окончательность выводов.

Вся проблематика, связанная с частями речи, не может быть рассмотрена в небольшой по объему статье. Мы оставляем в стороне проблемы, связанные с различиями в понимании слова и его границ, которые могут влиять на выделение частей речи, что для некоторых языков существенно. Такое влияние особенно велико для служебных слов (ср. споры типа «послелог или аффикс?», «частица или аффикс?», актуальные для почти любого нефлективного языка). Поэтому мы не будем рассматривать и вопрос о классификации служебных элементов, а также касаться споров по вопросу о проведении границы между знаменательными и служебными словами. Далее речь пойдет лишь о знаменательных частях речи; под знаменательными словами будут пониматься единицы, имеющие синтаксическую самостоятельность; такой подход в последние десятилетия достаточно стабилен, исключая лишь оценку междометий, которые несмотря на синтаксическую самостоятельность обычно отделяют от знаменательных слов.

При рассмотрении существующих точек зрения нельзя исходить лишь из определений частей речи, содержащихся в тех или иных работах. Как правильно указывала Н. Д. Арутюнова, «одной из характерных черт традиционной грамматики является отсутствие соотнесенности между применяемыми принципами классификации и определениями полученных классов или категорий... Традиционная грамматика, верно отражая языковое чутье носителей языка, часто давала ему одностороннее (семантическое) истолкование. Но из этого не вытекает, что сами принципы систематизации материала были также односторонне семантическими» [1, с. 270]; ср. также [2, с. 159]. Во многих случаях принципы выделения частей речи (не всегда осознаваемые исследователем) видны прежде всего из конкретной классификации.

Можно наметить, на наш взгляд, несколько основных подходов к выделению частей речи, которые, конечно, далеко не всегда содержатся в «чистом» виде в работах языковедов.

1. Семантический подход. Этот подход в большей степени проявляется в определениях частей речи, чем в реальном членении

[1] Отказ от употребления термина «часть речи» следует отграничивать от идей об отсутствии частей речи в некотором языке (см. ниже). В последнем случае мы имеем «нулевую» классификацию по частям речи.

лексики (по крайней мере, в отношении европейских языков). Еще от античности идут представления о том, что имена обозначают предметы, глаголы обозначают действия, позднее стали говорить о том, что прилагательные обозначают качества (признаки). Иногда и в наши дни можно встретить формулировки, в соответствии с которыми значение предметности, процесса и пр.— «представляет собой обобщение лексических значений слов всей части речи» [3].

Однако такая точка зрения неоднократно подвергалась обоснованной критике. Несовпадение привычных для нас частей речи и семантических классов лексики особенно очевидно в отношении существительных, которые по лексическому значению могут не отличаться от слов других частей речи. Еще в 1838 г. К. С. Аксаков писал: «Один и тот же корень, одно и то же содержание *слав* может явиться или именем через форму *слав-а*, или глаголом через форму *слав-ить*»; цит. по [4]. Позднее на это указывали очень многие ученые, см., например [5—7; 8, с. 76; 9, с. 30]. Достаточно очевидно, что лексическое значение существительных с процессным или качественным значением в европейских языках [2], по меньшей мере, ближе к значению глаголов и/или прилагательных, чем к значению непосредственно предметных существительных тех же языков. Из этого не следует, что существительные в обычном понимании должны выделяться без всякой связи с семантикой, но эта связь сложнее (см. ниже).

Отсутствие прямой корреляции между частями речи и типами лексических значений отмечалось и в ряде других случаев. Отмечалась семантическая разнородность качественных и относительных прилагательных и отсутствие собственно качественного значения у последних [8, с. 71]; ср. также [12]. Весьма трудно и семантическое определение наречия; характерно, что в книге В. В. Виноградова наречие — единственная часть речи, в определении которой не говорится о семантике [13]. Наконец, различие состояний и качеств далеко не очевидно, что показывает сопоставление разных языков [3]; видимо, справедливо высказывание Дж. Лайонза: «Различие между „качеством“ и „состоянием“ (если оно вообще не иллюзорно) менее разительно, чем различие между „действием“ и „состоянием“» [2, с. 343]. Ср., впрочем, иную точку зрения в [14].

Реально в описаниях европейских языков отнесение к той или иной части речи только на основе лексического значения производится лишь в периферийных случаях, ср. для русского языка отнесение в ряде работ слов типа *первый* к числительным или слов типа *такой* к местоимениям. Шире применяется этот принцип при описании языков иного строя, когда при отсутствии каких-либо иных критериев привычные части речи, например, прилагательные, выделяют «по семантике», а фактически по переводу на эталонный язык. Ср., например, историю выделения «прилагательных» в активных языках Америки [10, с. 103—105]. Иногда данный принцип принимается даже там, где он вступает в противоречие с другими, ср. высказывание о том, что в лезгинском языке «относительные прилагательные — это, как правило, имена существительные в форме родительного падежа» [15]. На современном уровне развития науки вряд ли нужно доказывать, насколько такой подход искажает реальные свойства языков.

Все сказанное не означает ни невозможности чисто семантической классификации лексики, ни отсутствия корреляции между частями речи и семантикой. Как раз в последние два десятилетия изучение лексической семантики развивается очень интенсивно, в том числе в нашей стране (рабо-

---

[2] Наличие в языке таких существительных — далеко не универсалия; ср. указание Г. А. Климова на то, что в языках активного строя они, видимо, отсутствуют [10, с. 111], а также их отсутствие в айнском языке, где есть определенные черты активного строя (см. [11]). В таких языках классификация по частям речи ближе к семантической (ср. также отсутствие в них прилагательных), но вряд ли с ней совпадает полностью.

[3] Например, в японском языке, где есть прилагательные, имеются такие несомненные глаголы, как *тому* «быть богатым», *ниру* «быть похожим», *хадзуму* «быть упругим; быть увлеченным, оживленным». Вряд ли можно считать, что в русском языке различие частей речи в подобных случаях прямо коррелирует с семантикой, а в японском нет (или наоборот).

ты Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюновой, В. Г. Гака, Е. В. Падучевой, В. С. Храковского и др.). Эти исследования четко показывают, что семантические классы, иногда называемые «глубинными частями речи» (см., например [16]),— не то же самое, что части речи в обычном смысле. О корреляции между частями речи и семантикой мы будем говорить ниже, в связи с синтаксическим подходом.

2. Морфологический подход. Этот подход также ведет свое начало от античности: ср. классификацию Марка Теренция Варрона (I в. до н. э.), выделявшего слова, имеющие падежные формы, но не имеющие временных (имена), слова, имеющие временные формы, но не имеющие падежных (глаголы), слова, имеющие те и другие формы (причастия), и слова, не имеющие ни тех, ни других форм (наречия). Конкретные определения частей речи могут различаться, однако при морфологическом подходе части речи всегда выделяются в зависимости от особенностей словоизменения в широком смысле (грамматической аффиксации и внутренней флексии); к морфологическим критериям выделения частей речи могут быть отнесены и словообразовательные, чаще выступающие как дополнительные. К морфологическому подходу в широком смысле могут быть отнесены и классификации частей речи в зависимости от сочетаемости со служебными словами (для европейских языков этот критерий также обычно дополнителен, но он может выступать на первый план при описании языков иного строя).

Для многих языков мира, прежде всего флективно-синтетических, такой подход имеет явные преимущества. Морфологические особенности тех или иных классов слов в этих языках обычно достаточно очевидны. В сущности, традиционная классификация по частям речи (особенно в своем раннем, александрийском варианте) в основном является (независимо от определений) классификацией морфологической. Все знаменательные части речи, выделенные античными учеными, имеют в древнегреческом и латинском языках те или иные морфологические особенности [4]. Показательно, что античные ученые не дифференцировали существительное и прилагательное, объединяя их в единую часть речи — имя [5]. В классических языках существительное и прилагательное, различаясь синтаксически, мало дифференцированы морфологически (имеющиеся различия, в частности, степени сравнения у прилагательных, периферийны). Существительные и прилагательные были выделены в особые части речи лишь в новое время в связи с отходом от латинского эталона при описании современных европейских языков [6]. В то же время причастия, имеющие в классических языках более заметные морфологические особенности, были выделены в особую часть речи (эта традиция удерживалась до XIX в., но потом потеряла силу). Наконец, и местоимения в классических языках — прежде всего слова с аномальным склонением. Позднее традиционные системы частей речи стали менее последовательно морфологичными, отчасти из-за переноса традиционной схемы на новые европейские языки (ср. сохранение класса местоимений в традиционном объеме для языков, где не все местоимения имеют морфологические особенности), отчасти в связи с трактовкой явлений, отсутствовавших в классических языках или не имевших значения для античных грамматистов (ср. трактовку в русистике слов типа *пальто* как существительных или отнесение к существительным субстантивированных прилагательных [7]).

---

[4] Исключая междометие (если относить его к знаменательным частям речи), неизменяемостью не отличающееся от наречия. Однако междометия имеют яркие особенности в других отношениях вплоть до звукового облика. Показательно все же, что междометие было выделено позже других античных частей речи.

[5] Реликтом такого подхода осталась традиционная трактовка местоимений, куда с античных времен принято относить местоименные существительные и прилагательные, но не местоименные наречия.

[6] В России ученые XVIII в., в том числе М. В. Ломоносов, еще выделяли восемь античных частей речи. Традиция разграничивать существительные и прилагательные в отечественной науке идет от А. Х. Востокова, см. [17].

[7] По мнению Н. Д. Арутюновой [1, с. 269], исходящей из анализа данных примеров, традиционная система частей речи основана прежде всего на синтаксических свой-

В пользу морфологического подхода к выделению частей речи можно привести еще два аргумента. В науке XX в. возросло требование к строгости и максимальной формализованности лингвистических описаний; из всех существовавших концепций частей речи наиболее отвечающей этому требованию оказалась последовательно морфологическая, разрабатывавшаяся в отечественной науке в трудах Ф. Ф. Фортунатова и его школы (Д. Н. Ушаков, В. Н. Сидоров, П. С. Кузнецов и др.), см. об этом [18]; именно такое понимание части речи было принято в работах по прикладной лингвистике. Не менее важно то, что именно морфологический подход к разграничению базовых единиц языка (при возможных различиях в понимании последних) преобладает не только в европейской, но и в других лингвистических традициях (если только там вообще ставится проблема такого разграничения). Показательна, в частности, японская традиция, где выделялись лишь морфологические классы знаменательных единиц языка (этим классам, как и в европейской традиции, давались либо морфологические, либо семантические определения); иные способы классификации появились лишь после знакомства с европейским языкознанием [8].

Однако морфологический подход к частям речи имеет и свои недостатки. Во-первых, даже для европейских языков его последовательное применение может давать интуитивно неприемлемые результаты. Например, для русского языка при узкоморфологическом подходе в одну часть речи попадут наречия, категории состояния, междометия и неизменяемые существительные [9] (последние, впрочем, будут отграничены, если учитывать и сочетаемость со служебными словами). Вообще недостаточность морфологических классификаций, по-видимому, наиболее очевидна там, где речь идет о неизменяемых словах; их членение возможно только при дополнении морфологических критериев какими-то другими.

Еще более существенная трудность связана с неуниверсальностью морфологических классов. Идея об универсальности (хотя бы частичной) грамматических категорий тех или иных частей речи, идущая от универсальных грамматик, не подтверждается фактами (хотя и в современных работах можно еще встретить утверждения о том, что в любом языке глагол выражает значение времени и пр.); отсутствие таких категорий для глагола было в свое время детально показано И. И. Мещаниновым в книге [19]. Тем самым различные морфологические классы разных языков могут оказаться несопоставимыми. Сопоставление может производиться лишь по другим критериям (синтаксическим, семантическим).

Особую трудность представляет морфологический критерий (особенно в варианте, учитывающем только словоизменение) для так называемых изолирующих языков, где морфологические классы отсутствуют или мало дифференцированы. Последовательное применение подхода, свойственного фортунатовской школе, к китайскому языку привело китайского ученого Гао Минкая к идее об отсутствии в этом языке частей речи [22]. Ученые, признающие наличие в китайском языке определенной морфологии, тем не менее указывают, что выделение в нем частей речи строго морфологически дает неприемлемый результат, поскольку, например, в класс неизменяемых слов попадут неодушевленные существительные и наречия (см. [23]) [10].

3. Синтаксический подход. Неоднократно в качестве критериев для разграничения частей речи предлагались и синтаксические,

---

ствах слов. Однако, во-первых, такие примеры трудно найти для античного периода, во-вторых, здесь помимо синтаксических свойств, видимо, учитывались и семантические. К тому же в ряде случаев и русской традиции свойствен морфологизм, ср. обычную трактовку так называемой категории состояния как прилагательных или наречий; синтаксический подход требовал бы их отнесения к глаголам. Такая точка зрения также существовала (А. Х. Востоков, М. Н. Катков, Н. П. Некрасов), но не получила развития.

[8] Об истории учения о частях речи в Японии см. [20].

[9] Подобного типа класс при последовательно морфологическом подходе получил Г. О. Винокур [21, с. 414]; ср. его вывод о том, что классификация русских слов по форме — не то же, что выделение частей речи [21, с. 415].

[10] Впрочем, японская традиция до знакомства с европейской наукой и не различала существительные и наречия ввиду их неизменяемости при традиционном японском подходе к слову.

связанные с функцией слова в предложении [11] (самостоятельно или в сочетании с другими). В отличие от семантических и морфологических эти критерии (по крайней мере, в явном виде) стали использоваться не ранее XIX в. (см. примеч. 7).

Крайний случай синтаксического подхода — отождествление частей речи и членов предложения. В европейской науке такая точка зрения иногда встречалась в теории, см. [24], но, по-видимому, до конца не осуществилась на практике: при традиционном разграничении подлежащего и дополнения никто, кажется, не вводил соответствующего разделения для частей речи; ср. также тот факт, что слова типа *отца* в сочетании *дом отца* не принято рассматривать как прилагательные. Примечательно, однако, что именно так подходили к частям речи в своих языках авторы ранних европеизированных грамматик в Китае (Ма Цзяньчжун — 1898 г.) и Японии (Танака Ёсикадо — 1874 г.). Обычно прямое отождествление части речи и члена предложения производится там, где меньше всего помогает морфология: довольно часто отождествляются наречия и обстоятельства.

Однако чаще при синтаксическом подходе классы выделяются так, чтобы не вступить в противоречие с тем, что А. И. Смирницкий называл «тождеством слова». С этой точки зрения слово может выступать в качестве разных членов предложения, но из различных синтаксических функций некоторые признаются существенными и определяющими: те слова, для которых существенна функция сказуемого, называются глаголами, функция подлежащего и дополнения — существительными, функция определения — прилагательными, функция обстоятельства — наречиями. Для русского языка такую точку зрения (несколько затемненную семантической терминологией) выдвигал А. А. Шахматов [25], для китайского (более строго) — А. А. Драгунов и Е. Н. Драгунова [25].

Такой подход имеет немало преимуществ. Прежде всего он более универсален, чем морфологический; указанные выше классы слов могут быть выделены по достаточно единым основаниям для многих (и даже для всех) языков. Недаром такая точка зрения после работы А. А. и Е. Н. Драгуновых получила признание в исследованиях советских специалистов по изолирующим языкам. Если морфологические классы нередко несопоставимы, а их количество и состав непредсказуемы, то синтаксические классы в принципе сопоставимы и исчислимы, языки могут описываться в данном отношении единообразно [12].

Синтаксические классификации лексики важны и в том отношении, что они имеют определенную корреляцию с лексической семантикой и отличие от морфологических, связанных лишь с грамматической семантикой слова. Эта корреляция не является прямой (см. выше), она осуществляется через функции слова [13] в предложении, структура которого отображает (не всегда взаимно однозначно) некоторую семантическую структуру. В предложении минимально обозначается некоторая ситуация (выражаемая сказуемым) и ее участники, выражаемые подлежащим и дополнениями; в языке могут быть (и, как правило, бывают) единицы, специализированные на обозначении главной ситуации (глаголы) и на обозначении участников (существительные). При этом участниками ситуаций являются конкретные предметы (лица), но также в ряде случаев и другие ситуации

---

[11] Мы отвлекаемся от того, что функцию в предложении, строго говоря, выполняет не слово в обычном понимании, а синтаксема (знаменательное слово, либо знаменательное слово со служебными); для выделения знаменательных частей речи от этого различия можно отвлечься.

[12] Различия в выделении синтаксических частей речи могут быть связаны, с одной стороны, с различиями трактовок, не имеющих прямого отношения к принципу выделения частей речи, прежде всего с разным пониманием «тождества слова» (русские причастия при синтаксическом подходе могут объединяться с глаголами или с прилагательными, но не выделяться в отдельную часть речи), с другой стороны, с выделением более дробных классов, например, для японского языка выделяются «непредикативные прилагательные» и «приименные», первые способны быть определениями и обстоятельствами, вторые — только определениями, или с объединением классов (не во всех языках есть прилагательные или наречия).

[13] Точнее, соответствующей ему синтаксемы (см. примеч. 11).

(ср. ситуацию, описанную в предложении *Петя слышит шум*). Там самым получает объяснение существование во многих языках предметных и непредметных существительных, различающихся по семантике, но объединяемых синтаксической функцией; между глаголами и непредметными существительными соотношение обратное [14]. В предложении может обозначаться более одной ситуации: помимо упомянутого случая, когда одна ситуация является участником другой, существуют и второстепенные ситуации, характеризующие более главную ситуацию или ее участника; способы их обозначения — соответственно обстоятельства и определения [15]; в ряде языков встречаются единицы, предназначенные для обозначения второстепенных ситуаций того или иного рода (наречия, прилагательные); эти функции могут, однако, обслуживаться и глаголами и/или именами, наречия и прилагательные как особые классы менее обязательны, чем имена (существительные) и глаголы [16].

Такое понимание частей речи объясняет их соотношение с семантикой. Слова с предметным значением синтаксически обычно однотипны и образуют ядро класса имен (существительных), куда способны входить и слова с непредметным значением. Слова со стативным значением (в отличие от значения активных действий) чаще обозначают «второстепенные», «фоновые» ситуации, поэтому слова с таким значением во многих языках имеют тенденцию формировать классы прилагательных и наречий (что не означает того, что эти классы в языке строго отграничиваются по семантике от глаголов со стативным значением).

Синтаксический подход к выделению частей речи также может представлять трудности применительно к ряду языков. Бывают языки (с морфологической дифференциацией или без нее), где самые различные слова способны употребляться в любой или почти любой синтаксической функции [17], ср. указания на трудности синтаксических классификаций (при применимости морфологических) в языках банту в [27]. Выделение наиболее типичных функций для той или иной части речи далеко не всегда очевидно, а выделение частей речи на основании всех возможных синтаксических функций может приводить к выделению несопоставимых классов; мы, например, не сможем сопоставить существительные русского языка, способные быть сказуемым без связки, и существительные английского или японского языков, лишенные такого свойства. Видимо, не следует упускать из виду и меньшую очевидность синтаксических классов, особенно там, где они не совпадают с морфологическими.

Таким образом, выделение синтаксических и морфологических классов слов — два подхода, не отрицающие, а скорее дополняющие друг друга. Встает вопрос о соотношении этих классов. По-видимому, во многих языках проявляется тенденция к морфологизации синтаксических классов, ср. распространенное понимание частей речи как морфологизованных членов предложения [28, 29]. Во многих случаях те же классы допускают выделение по разным основаниям: как в русском, так и в японском языке глагол, существительное, прилагательное могут быть выделены по морфологическим и синтаксическим основаниям. Однако классификации не всегда совпадают. С одной стороны, имеются чисто морфологические классы типа японских «предикативных прилагательных», синтаксически не отличающихся от глаголов; ср. также русские или латинские причастия. С другой стороны, нескольким синтаксическим классам может соответствовать

---

[14] Традиционные определения непредметных имен как «действий, мыслимых в отвлечении от субъекта» и пр., скорее отражают не особенности их семантики, а особенности их сочетаемости: модель управления глагола обычно требует обозначения участников ситуации, при именном обозначении той же ситуации такое обозначение не обязательно.

[15] Другая функция определений в ряде языков — обозначение участников ситуаций, выражаемых именами.

[16] Мы вынуждены излагать данную проблему крайне бегло, отвлекаясь от ряда существенных моментов.

[17] Образование некоторого члена предложения с помощью особого грамматического показателя, не меняющего полностью свойства слова, типа связки или субстантиватора, нельзя отнести к типичным функциям слов.

один морфологический класс, что нередко бывает в случаях неизменяемых слов (см. выше).

4. Подход, основанный на интуиции. Большинство традиционных классификаций частей речи не является ни строго семантическими, ни строго морфологическими, ни строго синтаксическими. Неоднородность подходов может объясняться разными причинами: во-первых, эклектичностью концепций (что, конечно, иногда имеет место), во-вторых, необходимостью более детального описания, учитывающего все стороны. Однако эклектичность вряд ли устранима без получения нетрадиционных решений, а совмещение критериев требует выяснения их соотношения и уточнения границ их применимости, чего обычно не делается. Создается впечатление, что часто языковеды не классифицируют слова на основе тех или иных свойств, а, наоборот, ищут свойства, которыми обладают заранее известные классы.

Именно об этом говорится в известной статье Л. В. Щербы «О частях речи в русском языке» (1928 г.). Здесь подчеркивается большая важность понятия части речи, но в то же время указано, что «самое различение „частей речи" едва ли можно считать результатом „научной" классификации слов» [8, с. 83]. При этом отмечается, что, хотя лексику можно классифицировать различным образом, «в вопросе о „частях речи" исследователю вовсе не приходится классифицировать слова по каким-либо ученым и очень умным, но предвзятым принципам, а он должен разыскивать, какая классификация особенно настойчиво навязывается самой языковой системой» [8, с. 64]. И далее: «Едва ли мы потому считаем *стол*, *медведь* за существительные, что они склоняются: скорее мы потому их склоняем, что они существительные» [8, с. 64].

Такой подход принципиально отличен от всех рассмотренных выше. Л. В. Щерба не отрицает ни семантические, ни морфологические, ни синтаксические критерии (и в той или иной степени учитывает каждые при рассмотрении частей речи русского языка). Однако для Л. В. Щербы все это — лишь опознавательные знаки для восприятия частей речи, которые существуют независимо от их семантики и формальных свойств. Встает вопрос, как понимать формулировку «навязывается самой языковой системой»; ведь любые классификации, как правило, не произвольны: исследователь основывает классификацию на тех или иных различиях, существующих в языковой системе [18]. По-видимому, под «навязыванием» следует понимать влияние со стороны психолингвистического механизма: носители языка ощущают неоднородность тех единиц, которые хранятся в их памяти (т. е. слов), и опознают эти единицы как принадлежащие к тем или иным словесным группам. Этот вывод не формулируется Л. В. Щербой явно, однако он делался некоторыми учеными, ср. высказывание А. Е. Супруна: «Слова, являющиеся по соображениям лингвистов, подтверждаемым психологами и психофизиологами, теми языковыми единицами, которые хранятся в памяти, во многих (а может быть, и во всех) современных языках в той или иной мере специализированы в своих грамматических функциях. Естественно поэтому предположить, что одно из членений тотального множества слов языка на подмножества для облегчения и ускорения их поиска в памяти основывается на этой грамматической специализации слов» [30] [19].

При такой интерпретации идей Л. В. Щербы становятся ясными многие его формулировки. Действительно, если мы исходим из нашего психолингвистического представления (традиционно именуемого языковой интуицией), мы можем выделять классы слов, обладающие разнообразными свойствами, которые, действительно, играют лишь роль опознавателей слов в неясных случаях. В то же время при научной классификации мы должны либо исходить из единого критерия, либо, если мы пользуемся несколькими критериями, установить их иерархию. Психолингвистиче-

[18] Если только он не описывает язык в категориях другого языка (родного или наиболее престижного).

[19] Любопытно, что выделение самой нетрадиционной из частей речи Л. В. Щербы, категории состояния, тоже имеет психолингвистические основания (см. [31]).

ский механизм не всегда отлажен, поэтому возможны случаи, когда одно и то же слово может быть отнесено к нескольким классам, а какие-то слова остаться вне классов. Это и делает Л. В. Щерба, признавая для частей речи возможность того и другого [8, с. 66], тогда как при научной классификации пересечение классов и наличие остатка — явные пороки, которых стремятся избегать.

Признание психолингвистической основы традиционных классификаций объясняет и еще одно их свойство, которое Л. В. Щерба как раз не принимал. В психолингвистическом механизме языка базовой единицей является слово, причем слова неоднородны по своим свойствам, прежде всего качественно разнородны знаменательные и служебные слова. При исследовании языковой системы в первую очередь бросается в глаза эта разнородность, отсюда вполне обоснованные идеи, согласно которым классификации знаменательных и служебных слов несоотносимы, выдвигавшиеся, в частности, и Л. В. Щербой (см. [8, с. 58—59]). Однако с психолингвистической точки зрения вполне закономерно членить на классы слова языка в целом, что и делала традиция начиная от античности.

Такой подход к выделению частей речи может быть сопоставлен со словоцентрическим подходом к выделению единиц языка, когда языковой анализ начинается с изучения слов, понимаемых как заранее известные и очевидные единицы; см. об этом нашу статью [32]. Европейская традиция (и не только она) в основе была словоцентрической, основанной на интуитивном (в конечном итоге, психолингвистическом) представлении о слове. Точно так же и в отношении частей речи эта традиция исходила из психолингвистических представлений о классах слов. Традиционный подход к частям речи неразрывно связан со словоцентризмом. Попытки рассматривать части речи не как заранее заданные классы слов, а как классы, получаемые на основе применения некоторых критериев, могут быть сопоставлены с аналогичным (не словоцентрическим) подходом к слову; подобный подход как к слову, так и к частям речи начал осуществляться (не всегда у одних и тех же ученых) примерно в одно и то же время, на грани XIX и XX вв.[20].

Подобное понимание частей речи лишь в большей степени (далеко не полностью) эксплицировано в статье Л. В. Щербы [21], в неявном виде оно встречается очень широко. Только при таком понимании возможна отмечавшаяся выше особенность большинства традиционных грамматик, когда определения полученных классов не соответствуют их реальным свойствам. В пользу данного подхода, как и в пользу словоцентризма, говорит его психологическая адекватность, этот фактор всегда желательно учитывать в лингвистических исследованиях (выделение же частей речи последовательно на основе морфологических, синтаксических и особенно семантических критериев, как мы уже говорили выше, обычно приводит к нарушению такой адекватности).

Интуитивные представления о неоднородности базовых единиц языка в той или иной степени отражаются в любой лингвистической традиции, фактически представление о частях речи можно видеть в европейской, индийской, арабской, японской традициях (где независимо друг от друга были разграничены имя и глагол), в меньшей степени в китайской, где до знакомства с европейской наукой разграничивались лишь «полные слова» и «пустые слова». Однако сопоставление традиций показывает, что интуитивные представления о частях речи (как и о слове) могут в той или иной степени не совпадать. Несовпадения могут быть связаны с большей или меньшей разработанностью описаний, но могут быть и более

[20] Ср., впрочем, последовательно морфологический подход у Варрона, но и он, вероятно, был связан с обоснованием интуиции автора.

[21] К сожалению, глубокие идеи Л. В. Щербы не были должным образом оценены в науке его времени. Его статья была воспринята в первую очередь как полемическая против морфологизма фортунатовской школы. В то же время довольно многие языковеды использовали некоторые формулировки Л. В. Щербы для подтверждения тезиса (никогда самим Л. В. Щербой не выдвигавшегося) о существовании во всех языках одних и тех же традиционных частей речи независимо от их выделимости, см., например [9, с. 53].

принципиальными. Например, японская наука без большого труда переняла у европейской понятие наречия (выделение наречий в особый класс принципиально не меняло традиционную систему и лишь детализировало ее), но решительно отказалась от европейской классификации служебных слов, расходившейся с японскими представлениями.

Таким образом, основанные на интуиции описания частей речи могут оказаться несопоставимыми, к тому же они охватывают не всю лексику языка (см. выше) и не поддаются формализации. Наконец, такие описания существуют далеко не для всех языков, а лишь для языков народов, у которых существует развитое и освобожденное от чужеязычного эталона языкознание [22].

Мы до сих пор оставляли в стороне одну из распространенных точек зрения, в соответствии с которой каждая часть речи обладает особым значением, не обобщенным лексическим и не грамматическим, а так называемым лексико-грамматическим. Наиболее детально этот подход разработан, пожалуй, в книге О. П. Суника (см. [9, с. 26, 30, 31 и сл.]).

Подобная точка зрения может иметь разную значимость. В одних случаях указание на лексико-грамматические значения — семантическое дополнение к определениям классов слов, выделенных по морфологическим и/или синтаксическим признакам. В таком случае «мы имеем дело с семантически немотивированным удвоением грамматической номенклатуры, то есть выделением квазисемантических ярлыков, полностью дублирующих грамматические понятия» [14, с. 8]. Иное содержание приобретает эта точка зрения у Л. В. Щербы, который, осознавая относительность морфологических, синтаксических и семантических (в смысле лексического значения) примет частей речи, стремится в то же время найти для каждой части речи некоторый собственный признак. Однако такой подход имеет только психолингвистическую значимость, указывая на то, как носители языка осознают свойства выделяемых ими классов (действительно, понимание существительных как слов с предметным значением и т. д. стойко сохраняется в лингвистической традиции и интуитивно, по-видимому, кажется очевидным, хотя строго лингвистическими методами оно не подтверждается); в таких случаях, видимо, решающую роль играет лексическая семантика ядерной части данного класса слов. Нам представляется правильным утверждение А. А. Леонтьева: «Не грамматические категории „сопутствуют“ значению части речи, а значение части речи возникает на основе этих категорий и „сопутствует“ им. Это происходит, по-видимому, в результате бессознательного семантического обобщения слов, уже отнесенных к определенному классу по грамматическим признакам... Обобщенные семантические представления являются лингвистической фикцией — эквивалентом грамматических классов в языковом сознании носителей языка» [33].

Подводя итоги, скажем следующее. Лексика языка может классифицироваться по разным основаниям: семантическим, морфологическим, синтаксическим; семантическая и синтаксическая классификации достаточно универсальны, языки различаются главным образом большей или меньшей дробностью получаемых классов; морфологические свойства единиц того или иного языка более разнообразны, разные классы разных языков могут быть прямо не сопоставимы друг с другом (но могут быть сопоставимы через синтаксические классы, которым они соответствуют). Наряду с классификациями лингвистическими, основанными на тех или иных свойствах единиц языка, могут быть классификации психолингвистические, основанные (полностью или частично) на том, как членят лексику языка его носители; традиционные классификации частей речи обычно по своей сути относятся именно сюда. При этом психолингвистические классы могут быть разнородными, хотя в языках с развитой морфологией чаще всего значимыми оказываются морфологические признаки (что и отражено в традиционных классификациях, хотя там часто

---

[22] Еще один способ выявления психолингвистических представлений — изучение афазий, но и оно связано со многими трудностями.

морфологические классы трактуются семантически). Может быть, только за такими классами и имеет смысл закрепить традиционный термин «части речи». Как мы уже отмечали в [32], описание языков в сопоставимых терминах и психологически адекватное описание языков — в равной степени важные лингвистические задачи, однако они не всегда могут быть решены одновременно (ср. также аналогичную точку зрения в [34]). Это относится и к классификации лексики. Классификация лексики по тем или иным лингвистическим признакам и выделение психологически адекватных частей речи — не противоречащие друг другу, а дополняющие друг друга процедуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Основные направления структурализма. М., 1964.
2. *Лайонз Дж.* Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.
3. *Тихонов А. Н.* Части речи — лексико-грамматические разряды слов.— В кн.: Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. Л., 1965, с. 29.
4. Хрестоматия по истории русского языкознания. М., 1973, с. 171.
5. *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М., 1958, с. 90, 93.
6. *Пауль Г.* Принципы истории языка. М., 1960, с. 415, 425, 426.
7. *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958, с. 153.
8. *Щерба Л. В.* Избранные работы по русскому языку. М., 1957.
9. *Суник О. П.* Общая теория частей речи. М.— Л., 1966.
10. *Климов Г. А.* Типология языков активного строя. М., 1977.
11. *Киндаити Кёсукэ, Тири Масихо.* Айнугохо:-гайсэцу. Токио, 1936, с. 48—51.
12. *Якубинский Л. П.* Из истории имени прилагательного.—Доклады и сообщения ИЯ АН СССР, 1951, № 1, с. 59—60.
13. *Виноградов В. В.* Русский язык. 2-е изд. М., 1972, с. 273.
14. Семантические типы предикатов. М., 1982.
15. *Мейланова У. А.* Лезгинский язык.— В кн.: Языки народов СССР. Т. IV. М., 1966, с. 533.
16. *Кибрик А. Е., Кодзасов С. В., Оловянникова И. П.* Опыт структурного описания арчинского языка. Т. I. М., 1977, с. 19—20.
17. *Поспелов Н. С.* Учение о частях речи в русской грамматической традиции. М., 1954.
18. *Апресян Ю. Д.* Идеи и методы современной структурной лингвистики. М., 1966.
19. *Мещанинов И. И.* Глагол. М.— Л., 1948.
20. *Фомин А. И.* Из истории японского языкознания (Учение о частях речи у токугавских филологов).— В кн.: Японский лингвистический сборник. М., 1959.
21. *Винокур Г. О.* Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
22. *Гао Мин-кай.* Проблема частей речи в китайском языке.— ВЯ. 1955, № 3.
23. *Яхонтов С. Е.* Понятие части речи в общем и китайском языкознании.— В кн.: Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов, с. 24.
24. *Добиаш А. В.* Синтаксис Аполлония Дискола. Киев, 1882.
25. *Шахматов А. А.* Из трудов по современному русскому языку (Учение о частях речи). М., 1952, с. 29, 33, 36.
26. *Драгуновы Е. и А.* Части речи в китайском языке.— Советское языкознание. Т. 3. Л., 1937.
27. *Охотина Н. В.* Морфемная структура слов языка суахили как основа разграничения частей речи.— В кн.: Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов, с. 48—49.
28. *Аванесов Р. И.* Второстепенные члены предложения как грамматические категории.— РЯШ, 1936, № 4, с. 54.
29. *Мещанинов И. И.* Члены предложения и части речи. М.—Л., 1945, с. 210.
30. *Супрун А. Е.* Грамматические свойства слов и части речи.— В кн.: Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов, с. 17.
31. *Спивак Д. Л.* Искусственно вызываемые состояния измененного сознания (на материале инсулинотерапии) и их лингвистические корреляты.— Физиология человека, 1980, № 1, с. 145—146.
32. *Алпатов В. М.* О двух подходах к выделению единиц языка.— ВЯ, 1982, № 6.
33. *Леонтьев А. А.* Фиктивность «семантического критерия» при определении частей речи.— В кн.: Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов, с. 34.
34. *Нгуен Куанг Хонг.* Общий принцип и разные подходы к выделению основных единиц языка (Опыт сопоставительного изучения европейской и китайской лингвистической традиции).— ВЯ, 1985, № 1.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1986

ЩЕРБАК А. М.

ТЮРКСКО-МОНГОЛЬСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ

(К проблеме взаимодействия и смешения языков)

I. Об алтайской гипотезе, в рамках которой устанавливается родство между тюркскими и монгольскими языками, написано так много, что возникают сомнения в целесообразности продолжения дискуссии, тем более что уже выражалось скептическое отношение к возможности решения алтайской проблемы вообще. Сошлемся на высказывание А. Н. Кононова. По его словам, хотя до сих пор не ясно и, скорее всего, никогда не будет известно, восходят ли общие элементы тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков «к языку-основе или они возникли в результате многовекового тесного взаимодействия носителей этих языков», все равно лишь исходя из «алтайских» материалов можно «приблизительно реконструировать фонетический и морфологический строй каждого из членов этой большой семьи» [1]. Аналогичное высказывание приводится и в другой, более поздней, статье А. Н. Кононова [2], и может сложиться впечатление, что алтайская проблема, действительно, относится к числу неразрешимых.

Ниже мы попытаемся ответить на два вопроса: 1) в состоянии ли языковеды определить природу алтайских, у́же, тюркско-монгольских языковых связей и 2) что́ конкретно дают материалы монгольских языков для реконструкции тюркского праязыка?

Выбор для целей нашего исследования тюркских и монгольских языков объясняется реальным положением вещей: именно тюркские и монгольские языки образуют общность, во многом напоминающую генетическое подразделение, тогда как связи тюркских языков с тунгусо-маньчжурскими являются, как правило, опосредованными (через монгольские языки).

II. Касаясь истории изучения тюркско-монгольских языковых связей и давая общую характеристику их, начнем с напоминания о совпадении важных структурно-фонетических черт, идентичности морфологического типа, о сходстве некоторых аффиксов и обилии лексических параллелей, прослеживаемых во всех тематических группах. Особое значение имеют звуковые соответствия, учет и систематизация которых произведены в работах Г. И. Рамстедта [3] и Н. Поппе [4].

Напомним также, что структурная и материальная близость тюркских и монгольских языков была воспринята многими тюркологами и монголистами как следствие генетического родства и стала основополагающим фактором развития компаративистической алтаистики. Были предприняты попытки выявить лексические и морфологические параллели в широком плане, подвергнуть их всестороннему анализу, свести воедино то, что не поддается сведению и, наконец, реконструировать праформы. Однако они окончились неудачей. Своеобразный итог продолжительным поискам был подведен одним из учеников Н. Поппе, заявившим, что генетическое родство алтайских языков не доказано и что в наши дни многие исследователи не принимают его даже в качестве полезной гипотезы [5].

Следует, далее, подчеркнуть, что обилие материала затрудняло его интерпретацию, и конкретные шаги, направленные к использованию сравнительного метода, часто не шли дальше констатации совпадений. Трудности усугублялись стремлением собрать как можно больше параллельных фактов, исходившим из ошибочной посылки о невозможности образования обширных сходств путем контактов.

Кризис традиционной алтаистики, усилившийся к середине нынешнего столетия, вызвал негативное отношение к односторонней ориентации (на обоснование родства), хотя в оценке его причин наметились существенные расхождения. Так, Д. Синор счел нужным подчеркнуть, что если крупные ученые не в состоянии доказать тезис о генетическом родстве алтайских языков, то, очевидно, есть что-то неправильное в самом этом тезисе [6]. По мнению К. Г. Менгеса, причина того, что родство алтайских языков продолжительное время не было общеизвестным фактом, кроется главным образом в исследователях и меньше в объекте исследования [7]. Независимо от пестроты оценок сложившегося положения проявляется единодушие в расширении круга и направлений поиска, растет понимание необходимости придавать бо́льшее значение взаимодействию названных языков и обращать внимание не только на их сходства, но и на расхождения. Одним словом, постепенно осознается то, что без предварительного выделения заимствований и перезаимствований реконструкция тюркско-монгольских праформ теряет свой смысл.

Новые тенденции в подходе к исследованию тюркско-монгольских языковых связей выразились в написании статей и монографий, посвященных выделению заимствований. Выделением заимствований начинают заниматься и представители ортодоксальной алтаистики, признающие, однако, роль контактов в образовании сходств преимущественно в позднее время.

Безусловно, опознать тюркизмы в монгольских языках и монголизмы в тюркских далеко не всегда легко [8]. Все же эта проблема, в общем, поддающаяся решению, излишне и не оправданно осложняется [9, с. 257].

Взаимодействие тюркских и монгольских языков происходило непрерывно на протяжении многих сотен лет в условиях как компактного, так и разрозненного размещения тюркских и монгольских племен на территории Евразии. Было время относительной «непродуктивности» контактов, и были периоды, когда контакты становились интенсивными и сопровождались частичным смешением языков. При этом, как полагал Дж. Клосон, в древнетюркском языке не было монголизмов. «Если слово, общее для тюркских и монгольских языков, выступает в тюркских текстах до XIII в., то оно наверняка собственно тюркское и в монгольских языках должно рассматриваться как заимствование». Общее же слово, не встречающееся в древнетюркских текстах, вероятнее всего, монгольского происхождения [10, с. 177—178]. Из этого следует, что до XIII в. процесс заимствования был односторонним: из тюркских языков в монгольские, и что, таким образом, монгольское влияние на тюркские языки началось не ранее XIII в. Такой же вывод по результатам проверки 110 древнетюркских слов в тюркско-монгольских параллелях сделан Л. В. Кларком, указавшим на необоснованность части монгольских этимологий, ошибочность чтения ряда слов и на использование в отдельных случаях поздних источников [11, с. 125—126].

Как бы строго ни оценивались выводы Дж. Клосона и Л. В. Кларка, нельзя не признать, что количество монгольских элементов в древнетюркском языке было ограниченным. По крайней мере, явные монголизмы в орхоно-енисейских рунических надписях отсутствуют, а в раннесредневековых уйгурских текстах они единичны. «Даже у Кашгари, в словаре XI в.,— пишет Л. Лигети,— можно выделить с трудом [лишь] два или три монгольских слова» [12].

Переходя к вопросу о конкретных результатах взаимодействия, заметим, что тюркское влияние на монгольские языки в период до XIII в. отразилось на состоянии их лексики в целом, тогда как обратное влияние, имевшее место в основном начиная с XIII в., было дифференцированным и размеры монгольского «вклада» в тот или иной тюркский язык зависели от интенсивности и продолжительности контактов.

В «окраинных» тюркских языках, таких, как караимский и чувашский, последствия монгольского влияния невелики. Караимский язык содержит небольшое число монгольских слов [13], отчасти типичных для куманского языка [14]. Преобладающие заимствования в чувашском

языке — слова среднемонгольского происхождения [15], вошедшие в него через посредство соседних тюркских языков [16].

Сравнительно немного монголизмов и в западных огузских языках: азербайджанском, гагаузском, турецком. В последнем из них О. Н. Туна насчитывает 50 слов монгольского происхождения [17, с. 215—243] [1], хотя на самом деле их больше.

Иначе обстоит дело в киргизском языке. В нем вместе с лексическими заимствованиями [18] имеются заимствованные аффиксы *-lγa*, *-ōl*, *-l*, *-loŋ*, *-mal*, *-ymta*, выступающие как в словах монгольского происхождения, так и в собственно тюркских [19]. По количеству монголизмов к киргизскому языку примыкает казахский [20], в котором, согласно подсчетам Б. Базилхана, сходны с монгольскими 1500 корневых и 24 000 производных слов (из 40 000 слов, зарегистрированных в казахских и монгольских словарях) [21].

Много заимствований из монгольских языков в тюркских языках Сибири: алтайском, тувинском, хакасском, якутском. В тувинском языке они образуют несколько хронологически различающихся пластов [22]. И в нем отмечено использование монгольских морфологических показателей: *-lγa*, *-lda*, *-l*, *-čyn* (< тюрк. *-čy*), *-laŋ*, *-mal*, *-mar*, *-duγar*, *-žy*, *-žyra*. Исключительное положение занимает якутский язык, в котором следы монгольского влияния обнаруживаются в лексике, морфологии [23] и даже в особенностях развития грамматического строя, ср., например, употребление числительного *ikki* «два» в качестве соединительного союза [24].

Обратное влияние, т. е. влияние тюркских языков на монгольские, не уступало ни по размерам, ни по продуктивности. Периодами значительного усиления его Дж. Клосон считал V—VIII вв. (возвышение тюркского племени табгач [2], основавшего династию Северная Вэй, 386—535 гг.; вассальная зависимость киданей от тюрок до середины VIII в.) [25]; VIII—XII вв. (тесные связи тюрок с монголами в Прибайкалье; ассимиляция северных монгольских племен); XIII—XIV вв. (уйгурско-монгольские культурные связи в разных районах Средней и Центральной Азии) [10, с. 184—187].

Древнейший пласт тюркских заимствований в монгольских языках составляет то, что имеет параллели в тюркских текстах VIII—XII вв. Следующий пласт восходит к среднемонгольскому периоду [26—29]. Здесь, помимо тюркской лексики буддийского содержания, присутствуют санскритские, согдийские и китайские слова [30]. Этот пласт включает в себя также немало арабских и персидских слов, проникших сначала в тюркские языки, а затем из тюркских — в монгольские [31]. Тюркские элементы заимствовались и в последующее время, однако поздние процессы заимствования сказались больше на состоянии отдельных монгольских языков: бурятского [32], калмыцкого.

В монгольские языки вошли тюркские слова, модели составных глаголов и редупликативных форм, аффиксы относительных прилагательных *-syγ*, *-lyγ*, *-daqy*, аффиксы отглагольных имен *-(a)q* ~ *-(y)q*, *-maq*, *-(a)m* ~ ~ *-(y) m*, аффикс мн. числа *-lar*, аффикс имени деятеля *-čy* и другие [33—35].

III. Тюркско-монгольские параллели охватывают все грамматические классы: имя, глагол, наречие, служебные и изобразительные слова. Чтобы исследовать и описать их в полном объеме, понадобилось бы несколько монографий. В данной статье мы решили ограничиться обзором глагольных параллелей, преимущественно тех, которые учитывались в работах Г. И. Рамстедта, Б. Я. Владимирцова, М. Рясянена, Н. Поппе.

Глагольные параллели распределены неравномерно. В азербайджанском языке их — около 20, в киргизском — более 150 [18, с. 189—229]. Почти столько же монгольско-казахских глагольных параллелей [9, с. 262].

---

[1] В статье О. Н. Туна приведен список работ, посвященных выделению монголизмов в азербайджанском и турецком языках [17, с. 210].

[2] Вопрос об этнической принадлежности племени табгач до настоящего времени окончательно не решен.

Обращение к глагольным параллелям для выяснения природы тюркско-монгольских языковых связей предопределено тем, что их намного меньше, чем именных, и что совпадение глагольных основ в родственных языках — естественная вещь, в неродственных же — не совсем обычное явление [3]. «Чем объяснить,— спрашивает С. К. Кенесбаев,— например, параллельное функционирование глагольных основ и первичного, и вторичного образования? Ведь нельзя же их отнести к заимствованиям (об отдельных исключениях можно не упоминать)» [36]. Действительно, глаголы заимствуются редко и именно поэтому глагольные параллелизмы заслуживают большего внимания. Либо мы и в самом деле сталкиваемся с типичным случаем языкового родства, либо имеет место такое смешение неродственных языков, когда не остается непроницаемых сфер и когда практически очень трудно провести последовательное разграничение «своего» и «чужого».

Грамматические формы глагола в тюркских и монгольских языках образуются от одной основы, которая, будучи употребленной самостоятельно, выражает значение повелительного наклонения (2-е л., ед. ч.).

В структурно-фонетическом отношении глагольные основы тех и других языков несколько различаются: в непроизводных основах тюркских языков одинаково допустимы слоги открытого и закрытого типов, в древнемонгольском и монгольском письменном языках значительно чаще встречаются непроизводные глагольные основы с открытыми слогами.

Прежде чем приступить к рассмотрению тюркско-монгольских глагольных параллелей, целесообразно отобрать те из них, которые используются в алтаистической литературе, но не являются достаточно надежными. Необходимо также исключить из обзора параллели с восстановленными глагольными основами, для реконструкции которых привлекались заимствованные производные формы, например: тюрк. *sür-* и монг. **süre-* «гнать» (м.-п., др.-тюрк. *sürüg* «стадо»); тюрк. *bilä-* и монг. **bile-* «точить» (м.-п. *bilegä*, др.-тюрк. *biläg ä* «точильный камень»); тюрк. *ba-* и монг. **ba-* «связывать, привязывать» (м.-п., др.-тюрк. *baγ* «завязка»); тюрк. *je-* и монг. **ǰe-* «есть» (м.-п. *ǰem* «падаль», др.-тюрк. *jem* «еда, съестное», якут. *semnex* «объедки; остатки добычи хищников»); др.-тюрк. *qovra-* и монг. **qovara-* «собираться» (м.-п. *qovaraγ*, др.-тюрк. *qovraγ* «буддийская монашеская община»); др.-тюрк. *kürä-* ~ *küri-* и монг. **küre-* «сгребать» (м.-п. *kürǰe*, др.-тюрк. *kürgïk* «лопата»); др.-тюрк. *kes-* и м.-п. **kese-* «резать» (м.-п. *keseg*, др.-тюрк. *kesäk* «кусок») и т. д.

Включенные в обзор глагольные параллели подразделяются нами на три группы: 1) полностью или почти полностью совпадающие; 2) имеющие различие в виде «дополнительного» гласного; 3) различающиеся присутствием «дополнительного» сочетания гласных с согласными.

Предлагаемый ниже список не является исчерпывающим, все же привлекаемых глаголов достаточно, чтобы получить представление и о степени сходства, и о характере совпадающей лексики.

Первая группа

1. Др.-тюрк. *abla-* ~ *avla-*, казах. *avla-*, туркм. *āvla-*, мо. *avla-* «охотиться; устраивать облаву».
2. Кар. *abra-*, чуваш. *upra-*, м.-п. *abura-* «беречь, хранить».
3. Кирг. *ajqyr-*, бурят. *hāxir-* «кричать».
4. Др.-тюрк., башк., узб., ср.-монг. *alda-* «обманывать».
5. Алт., тув. *azyra-*, кар., кирг. *asra-*, чуваш. *usra-* «содержать; кормить; воспитывать», м.-п. *asara-* «заботиться; воспитывать».

---

[3] Вместе с тем нельзя исключать совпадения глагольных основ даже в неродственных языках разных структурно-морфологических типов: узбекским языком были заимствованы из персидско-таджикского основы настоящего времени *arzi-* «стóить, цениться» (перс. *arzidan*, осн. наст. вр.— *arz-*) и *sajra-* «петь» (перс. *surūdan*, осн. наст. вр.— *sarā-*). В порядке предположения можно сблизить также др.-тюрк. *tany-* «знать, узнавать» с перс. *dān-*, основой наст. времени глагола *dānistan* «знать, узнавать, признавать».

6. Кирг. *barqyra-*, якут. *baqqyrā-* (<*barqyrā-*), мо. *barxira-* «издавать рев».

7. Др.-тюрк. *biti-*, алт. *biči-*, тув. *biži-*, ср.-монг. *biti-* ~ *biči-*, мо. *bič-* «писать».

8. Др.-тюрк., туркм. *bol-*, азерб., тур. *ol-*, тат. *bul-* «быть, становиться», м.-п., мо. *bol-* «становиться, делаться».

9. Др.-тюрк. *büδi-* ~ *büdi-*, башк., ног. *bǐjǐ-*, м.-п. *büǰi-* «танцевать, плясать».

10. Алт. *bürke-*, кирг. *bürkö-*, тув. *bürge-* «покрывать, закрывать», м.-п. *bürke-* «покрывать, закрывать, окутывать (облаками)».

11. Алт. *čočy-*, уйг. *čöčü-*, м.-п. *čoči-* ~ *soči-* «пугаться, дрожать от страха».

12. Алт., кирг. *čoqu-*, м.-п. *čoki-* «клевать».

13. Ст.-узб., кар., кирг., туркм. *čyda-*, тоф., тув. *šyda-*, м.-п. *čida-* «мочь, быть в состоянии; выдерживать».

14. Кар. *jada-*, кирг. *ǰada-*, тув. *čada-*, м.-п. *jada-* «не мочь, не быть в состоянии».

15. Др.-тюрк. *jarlyqa-*, м.-п. *ǰarliγla-* «соблаговолить; приказать».

16. Ног., туркм. *jasa-* [4], кирг., м.-п. *ǰasa-* «делать, строить, устраивать».

17. Др.-тюрк. *jory-*, тув. *čoru-* ~ *čor-*, м.-п. *ǰori-* «идти, двигаться».

18. Алт., башк., тув. *maqta-* [5], туркм., м.-п. *maγta-* «хвалить, прославлять».

19. Кирг., бурят. *māra-* «блеять».

20. Кирг. *mörö-*, якут. *mögürē-*, бурят. *möre-* «мычать».

21. Др.-тюрк., алт., туркм., м.-п. *ös-* «расти; умножаться».

22. Алт. *qajqa-*, тув. *qajγa-*, якут. *xajγγa-*, м.-п. *γajiqa-* «удивляться».

23. Др.-тюрк. *qaly-* «подниматься, взлетать», м.-п. *qali-* «подниматься вверх; летать, парить».

24. Др.-тюрк., гаг., ног. *qan-*, м.-п. *qan-* ~ *qanu-* «утолять жажду; удовлетворяться, довольствоваться».

25. Др.-тюрк., кирг. *qana-*, туркм. *γāna-*, узб. *qona-* «кровоточить», м.-п. *qana-* «пускать кровь».

26. Ст.-узб. *qara-* [6], туркм. *γara-*, м.-п. *qara-* «смотреть».

27. Кирг. *qorqura-*, бурят. *xurxira-* «храпеть».

28. Др.-тюрк. *qory-*, тур. *qoru-* «защищать, охранять, оберегать», м.-п. *qori-* «огораживать; защищать».

29. Др.-тюрк. *sana-* «считать», кирг. *sana-* «считать; думать», м.-п. *sana-* «думать, мыслить».

30. Др.-тюрк. *seδrä-*, м.-п. *sejire-* «редеть, становиться редким».

31. Др.-тюрк., м.-п. *sojurqa-* «жаловать; соблаговолить, соизволить».

32. Др.-тюрк. *sor-*, алт., кирг., тув., м.-п. *sura-* «спрашивать, расспрашивать».

33. Др.-тюрк. *sökü̈t-* ~ *čökü̈t-*, м.-п. *sögüd-* «преклонять колени».

34. Туркм. *šōxlan-* (*šōxla-n-*), м.-п. *šoγla-* «веселиться; проказничать, озорничать».

35. Др.-тюрк., азерб., алт., кар. *tany-*, м.-п. *tani-* «знать, узнавать; быть знакомым».

36. Др.-тюрк., азерб., ног., хак., м.-п. *tala-* «захватывать, грабить».

37. Казах., кирг., м.-п. *tara-* «расходиться, распространяться».

38. Др.-тюрк., алт., кирг. *tary-*, м.-п. *tari-* «возделывать землю; сеять».

39. Кар., хак. *tona-*, кирг. *tono-*, м.-п. *tonu-* «грабить».

40. Алт., кирг. *toqto-*, кар. *toxta-*, м.-п. *toγta-* «останавливаться; прекращаться».

41. Др.-тюрк. *tolä-*, башк. *tülä-*, казах., кар. *töle-*, кирг. *tölö-*, м.-п. *tölü-* «платить, уплачивать».

---

[4] По поводу *jasa-* в древнетюркском языке см. у Л. В. Кларка [11, с. 163—164].

[5] Др.-тюрк. *maγut-*, сопоставляемое с м.-п. *maγta-*, обязано своим существованием ошибочному чтению [11, с. 140].

[6] О времени появления глагола *qara-* «смотреть» в тюркских языках см. у А. Н. Самойловича [37] и у Л. В. Кларка [11, с. 144—146].

42. Др.-тюрк., м.-п. *törü-*, туркм. *döre-* «возникать, появляться; рождаться».

43. Башк. *tujla-*, кар. *tojla-*, ср.-монг. *tojila-* «пировать, праздновать».

44. Др.-тюрк. *tyŋla-*, алт. *tyŋda-*, кирг. *tyŋša-*, тув. *dyŋna-*, м.-п. *čingna-* < **tyngla-* «слушать».

45. Кар., туркм., *učra-*, м.-п. *učira-* «встречать; встречаться».

Подводя итог обзору первой группы глагольных параллелей, мы не станем делать окончательных выводов относительно каждой из них в отдельности, хотя в большинстве случаев не составило бы труда высказать вполне определенные соображения. Важнейшим результатом сделанного обзора является констатация того, что в рамках тюркско-монгольских языковых связей заимствование глаголов — не исключение, а обычная вещь. Не о каждом глаголе можно с уверенностью сказать, что он тюркский или монгольский, тем не менее, опираясь на различные факты и учитывая многолетний опыт алтаистических исследований, тюркологи уже сейчас в состоянии разграничить в тюркско-монгольских параллелях многие 1) собственно тюркские глаголы и 2) глаголы, заимствованные из монгольских языков, ср.: 1) *abla-* ~ *avla-*, *ajqyr-*, *alda-*, *barqyra-*, *biti-*, *büδi-* ~ *büdi-*, *jarlyqa-*, *jory-*, *qaly-*, *qan-*, *qana-*, *qorqura-*, *sana-*, *seδrä-*, *sojurqa-*, *sor-* ~ ~ *sora-* ~ *sura-*, *sökät-* ~ *čökät-*, *šoxlan-*, *tany-*, *tary-*, *tujla-* ~ *tojla-*, *tyŋla-*; 2) *abra-*, *azyra-*, *bärke-*, *čoč-*, *čoqu-*, *čyda-*, *jada-*, *jasa-*, *maqta-*, *qajqa-*, *qara-*, *tona-*, *toqto-* ~ *toqta-*, *učra-*.

Принципы разграничения собственно тюркской и заимствованной лексики проиллюстрируем несколькими примерами. Глаголы *abla-* ~ *avla-*, *alda-*, *qana-*, *sana -tujla-* ~*tojla-*, *tyŋla-* образованы от существительных *ab* ~ ~ *av* «охота», *al* «обман», *qan* «кровь», *san* «мысль; дума; число», *tuj* ~ *toj* «пиршество; свадьба», *tyŋ* «слушание», не имеющих параллелей в монгольских языках. Глаголы *biti-*, *sojurqa-* включают в себя китайские лексические единицы (*pjet* «кисть для письма», *soj* ~ *tsoj* «жалость, сострадание») и типично тюркские словообразовательные элементы *-i* и *-urqa* ~ *-yrqa*. Глагол *sökät-* ~ *čökät-* выступает в нехарактерной для монгольских языков форме побудительного залога. Глагол *maqta-* начинается с сонанта, между тем сонанты, как известно, отсутствовали в начале собственно тюркских слов. Глаголы *čyda-*, *jada-* не укладываются в правила тюркских фонетических соответствий, глаголы *abra-*, *azyra-*, *qara-* не встречаются в древнетюркских текстах и отсутствуют в ряде современных тюркских языков.

Подробнее следует сказать об изобразительных глаголах. Тюркологи и монголисты уделяли много внимания изобразительным глаголам на *-r(a)*, *-qyr(a)* [38—40], и их выводы явились предметом обсуждения в одной из наших статей [41]. В изобразительных глаголах, входящих в тюркско-монгольские параллели, общими являются не только морфологические показатели, но и основы. В монгольских языках, вопреки утверждению Г. И. Рамстедта [42], изобразительные глаголы на *-r(a)*, *-qyr(a)* немногочисленны и образуют обособленную группу, в тюркских же языках их несравненно больше и, что важно, они составляют вместе с другими типами изобразительных слов единую, взаимосвязанную систему, ср.: кирг. *baqyr-* и *baqylda-* «орать, горланить», *barqyra-* и *barqylda-* «громко кричать; голосить», *dajγyra-* и *dajqylda-* «звенеть», *šajq* — звукоподражание звону, *šajyra-* и *šajqylda-* «сильно звенеть», *qaj* — звукоподражание глухому звону, *qajq* — звукоподражание отрывистому звону, *qajγyra-* «звенеть»; туркм. *hyjq* — звукоподражание хмыканию, *hyjran-* «рычать; ворчать»; якут. *čal* ~ *čalq* — звукоподражание падению слизистой массы или капли в жидкость, *čalqyr-* «бухнуть» [43].

В заключение сделаем общее замечание относительно семантики глагольных параллелей. Значительная часть их передает значения, не входящие в круг основных понятий действия и состояния, иначе говоря, относится к периферийной лексике.

Вторая группа

1. Др.-тюрк. *boγ-* «давить, душить», туркм. *boγ-* «вязать, связывать, перевязывать», м.-п. *boγu-* «завязывать, обвязывать; обертывать».

2. Др.-тюрк. *büt-*, азерб. *bit-*, м.-п. *büte-* «кончаться, завершаться».

3. Др.-тюрк. *jalbar-*, азерб. *jalvar-*, тув. *čalbar-*, м.-п. *ǰalbari-* «просить, умолять; молиться».

4. Др.-тюрк. *joluq-*, кар. *jolux-*, м.-п. *ǰolγa-* «встречаться».

5. Др.-тюрк., алт. *kert-*, м.-п. *kerči-* «надрезать; делать метку».

6. р.-тюрк., узб. *kez-*, туркм. *gez-*, м.-п. *kerü-* «бродить; скитаться».

7. Др.-тюрк., алт., ног. *qat-*, м.-п. *qata-* «затвердевать; засыхать».

8. Др. тюрк., алт. *qon-*, тув. *xon-* «опускаться, садиться на землю или дерево (о птицах); останавливаться на ночлег (о людях)», м.-п. *qonu-* «ночевать, проводить ночь».

9. Др.-тюрк., азерб. *saγ-*, м.-п. *saγa-* «доить».

10. Др.-тюрк., кар., туркм. *sač-*, м.-п. *saču-* ~ *čaču-* «разбрасывать, рассеивать».

11. Др.-тюрк., кирг., туркм. *silk-*, алт. *silki-*, тув. *silgi-* «трясти, качать», м.-п. *silge-* «встряхиваться, отряхиваться (о животных)».

12. Др.-тюрк., кирг., тув. *siŋ-*, м.-п. *singge-*, мо. *šinge-* «впитываться; всасываться».

13. Др.-тюрк., алт., кирг., ног. *sök-*, ср.-монг. *süke-* «ругать, бранить».

14. Др.-тюрк. *sön-* «прекращаться, исчезать», азерб., туркм. *sön-* «гаснуть, меркнуть», м.-п. *sönü-* «прекращаться, исчезать; гаснуть».

15. Др.-тюрк., азерб. *ürk-*, м.-п. *ürge-* ~ *ürgü-* «пугаться, страшиться».

Как отмечалось выше, для древнемонгольского и монгольского письменного языков более обычен открытый тип слога, тогда как в древнетюркском языке и в современных тюркских языках допускаются в одинаковой мере и открытые, и закрытые слоги, и, естественно, при заимствовании из монгольских языков в тюркские конечные гласные именных и глагольных основ не выпадают, ср.: кар. *alǰa-* «терять разум, выживать из ума», *toxta-* «останавливаться»; тув. *boda-* «думать», *čuru-* «рисовать», *mana-* «охранять, сторожить», *medere-* «терять сознание», *neme-* «дополнять»; туркм. *γara-* «смотреть». В монгольских же языках наблюдаются случаи структурно-фонетического освоения тюркизмов путем присоединения «дополнительного» гласного, ср.: др.-тюрк. *kök*, м.-п. *köke* «голубой, синий, сизый»; др.-тюрк. *kömüldürük*, м.-п. *kömüldürge(n)* «нагрудный ремень лошади, подпруга»; др.-тюрк. *judruq*, м.-п. *nudurγa* «кулак»; др.-тюрк. *körük* (<**körük*), м.-п. *kögerge* ~ *kegürge* «кузнечный мех»; др.-тюрк. *buγra*, м.-п. *buγura* «верблюд-производитель»; др.-тюрк. *jalavač* ~ ~ *jalabač* «посол», ср.-монг. *Jalavači* — имя собств.; др.-тюрк. *qylynč*, м.-п. *kilinče* «поступок; проступок»; др.-тюрк. *tušaγ*, м.-п. *tušaγa*, мо. *tušā* «ножные путы»; др.-тюрк. *ajaq*, м.-п. *ajaγa* «чаша»; др.-тюрк. *tajaq*, м.-п. *tajaγa* «палка»; казах. *böltirik*, бурят. *belterge* «волчонок».

Следовательно, структурно-фонетические изменения в словах, заимствованных монголами из тюркских языков, очевидны, но очевидно и то, что эти изменения не были регулярными, ср.: др.-тюрк. *burčaq*, м.-п. *burčaγ* (вм. *burčaγa*, как следовало бы ожидать) «горох». Нерегулярность, непоследовательность изменений стала причиной острых научных дискуссий, продолжающихся по сию пору.

По вопросу о происхождении «дополнительного» гласного известны три точки зрения.

Точка зрения Г. И. Рамстедта [3, с. 152—156], Б. Я. Владимирцова [44], Н. Поппе [45, с. 422—424] и других алтаистов [46—48] сводится к утверждению, что монгольские формы древнее тюркских и что они развились из единых тюркско-монгольских праформ с конечным гласным, например: др.-тюрк. *berk* и м.-п. *berke* «крепкий» <**berke*; др.-тюрк. *büt-* и м.-п. *büte-* «кончаться, завершаться» <**büte-*. Согласно этой точке зрения, в монгольском праязыке и затем в монгольском письменном языке тюркско-монгольские праформы не претерпели структурных изменений, в тюркском же праязыке был утрачен конечный гласный, и утрата его, как

полагал К. Г. Менгес, вызвала удлинение гласного первого слога: *köke > тюрк.*kök «синий, голубой», *aba > тюрк. *āb «охота» [49].

В. Котвич придерживался противоположной точки зрения, считая тюркские формы (без гласного в исходе) древнейшими, а монгольские (с «дополнительным» гласным) — более поздними. Появление «дополнительного» гласного в монгольских формах объясняется В. Котвичем как следствие структурно-фонетической адаптации заимствованных тюркских слов [50].

Третья точка зрения — у Г. Дёрфера, разграничивающего в параллелях со структурно-фонетическими расхождениями тюркские слова, 1) оканчивающиеся двумя согласными или č (*qylynč* «поступок; проступок», *ürk-* «пугаться», *erk* «сила», *berk* «крепкий», *sač-* «разбрасывать, рассеивать»); 2) оканчивающиеся любым шумным согласным, кроме č (*saγ-* «доить», *jad* «магический камень», *bölük* «часть», *čaq* «время»); 3) имеющие в конце сонант (*er* «мужчина», *jem* «еда, съестное», *qon-* «опускаться, садиться на землю; ночевать»). В первой группе устанавливается связь «дополнительного» гласного с освоением монголами заимствованных тюркских слов. Во второй и третьей группах «дополнительный» гласный рассматривается Г. Дёрфером как исконный: в этом фонетическом облике слова второй и третьей групп были заимствованы монголами. Позднее в тюркских языках они утратили конечный гласный, тогда как в тюркизмах монгольского письменного языка гласный сохранился [51].

Решение, предложенное Г. И. Рамстедтом, Б. Я. Владимирцовым, Н. Поппе, не получило широкой поддержки из-за отсутствия убедительных свидетельств утраты в тюркских языках конечного гласного. А. Зайончковский был, безусловно, прав, когда указывал, что в тюркских языках на протяжении всего исторического периода происходило чаще наращение гласных, чем их выпадение [52]. Отдавая себе отчет в том, что избирательное исчезновение гласных в тюркских языках объяснить невозможно, Н. Поппе предложил считать все непроизводные тюркские слова с открытым вторым слогом древними заимствованиями из монгольских языков [45, с. 423]. Необоснованность этого предположения настолько очевидна, что нет необходимости в его критическом рассмотрении. Несостоятельна попытка К. Г. Менгеса связать с выпадением конечных гласных образование долготы в первом слоге тюркских слов: в больших группах имен и глаголов, входящих в соответствующие параллели, выступают этимологические краткие гласные, ср.: др.-тюрк. *büt-* (м.-п. *büte-*) «кончаться, завершаться», *qat-* (м.-п. *qata-*) «становиться твердым, засыхать», *sač-* (м.-п. *sači-* ~ *čači-*) «разбрасывать, рассеивать», *siŋ-* (м.-п. *singge-*) «впитываться, уходить в землю».

Предпочтительнее точка зрения В. Котвича. Важный аргумент в ее пользу — присоединение «дополнительного» гласного в монгольских языках к ряду несомненных тюркизмов. Вместе с тем следует признать, что причина появления «дополнительного» гласного после сонантов В. Котвичем не раскрыта.

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что любое решение рассматриваемой проблемы, опирающееся на предположение об утрате в тюркских языках конечных гласных, не будет иметь надежной опоры. Ни в древних, ни в современных тюркских языках конечные гласные, за редкими исключениями, не выпадали, и одной из основных причин наличия в них структурно-фонетических вариантов было перезаимствование тюркских слов, ср.: др.-тюрк. *küč*, тув. *küš*, м.-п. *küčü(n)* «сила», тув. *küčü* «мощь» (<монг.); др.-тюрк. *berk* «крепкий», м.-п. *berke*, тув. *be'rge* «трудный, тяжелый» (<монг.); др.-тюрк. *boz*, ср.-монг. *bora* ~ *boro*, тув. *bora* «серый» (<монг.). В отличие от тюркских языков, монгольские не лишены фактов, подтверждающих существование в них тенденции к преобладающей открытости слога. Обращают на себя внимание позиционные ограничения для согласных в дунсянском языке: большинство составляют открытые слоги, в конце закрытых слогов встречаются только сонанты, преимущественно ŋ и n [53]. Нечто подобное отмечено в дагурском языке: слова, оканчивающиеся в разных монгольских языках согласными, в дагурском

языке часто имеют в исходе гласный [54]. «Наращение» гласных наблюдается также в бурятском языке: *gara-* «выходить», *odo-* «отправляться», *olo-* «находить» [55], *üde-* «расти». Вообще, в пределах центральноазиатского и сибирско-дальневосточного ареалов преобладание открытых слогов — явная, хотя и нарушенная закономерность. При этом в центральноазиатском регионе следы ее обнаруживаются и в тюркских языках, подвергшихся сильному монгольскому влиянию, например, в хотонском языке и в языке желтых уйгуров: хот. *ată* «лошадь», *beši* «пять», *butĭ* «нога», *gözĭ* «глаз», *ōză* «рот», *otă* «огонь», *tilĭ* «язык», *üčĭ* «три» [56]; сарыг.-югур. *qaza* «гусь», *saqa* «осторожный» [57].

Третья группа

1. Ср.-тюрк. *baj-*, ср.-монг. *bajaĭi-* (*baja-ĭi-*) «богатеть» [58].

2. Др.-тюрк., кар. *il-* «цеплять, вешать», туркм. *īl-* «прицепляться, зацепляться», м.-п. *elgü-*(*el-gü-*) «вешать, подвешивать».

3. Др.-тюрк. *jaδ-* ~ *jad-*, азерб., кар. *jaj-* «распространять; раскладывать; расстилать», м.-п. *ĭadači-* (*ĭada-či-*) «развертывать; раскрывать».

4. Др.-тюрк. *jajyl-jajqal-* «колебаться, качаться», м.-п. *najilĭa-* (*najilĭa-*) «качать, трясти».

5. Др.-тюрк., туркм. *jet-*, тув. *čeʼt-* «достигать, доходить», м.-п. *ĭidkü-*(*ĭid-kü-*), мо. *zät-* «стремиться к чему-л.; стараться, усердствовать».

6. Др.-тюрк. *jory-*, туркм. *jöre-* «ходить, идти», м.-п. *ĭorči-*(*ĭor-či-*) «идти, двигаться; направляться».

7. Др.-тюрк., азерб., кар. *jum-* «закрывать глаза, жмурить», ср.-монг. *ĭumuji-* (*ĭumu-ji-*) «закрываться; сжиматься».

8. Др.-тюрк. *kejü-* ~ *keje-*, алт. *keji-* «распространяться, расширяться», м.-п. *kengkeji-* (*kengke-ji-*) «выглядеть просторным».

9. Др.-тюрк. *qap-* «хватать, захватывать», алт. *qap-* «хватать руками, ртом, зубами», ср.-монг. *qabči-* (*qab-či-*) «схватывать; сжимать».

10. Др.-тюрк. *šyš-*, кирг. *šiši-*, м.-п. *čiliji-* (*čili-ji-*) «пухнуть, опухать».

«Дополнительные» сочетания гласных с согласными в глагольных основах среднемонгольского и монгольского письменного языков — *-ĭi* ~ *-či*, *-gü* ~ *-kü*, *-(l)ĭa*, *-ji*. Сопоставление тюркских и монгольских материалов наводит на мысль о том, что в присоединении перечисленных сочетаний отразился процесс м о р ф о л о г и ч е с к о г о освоения заимствованных тюркских глаголов. Факт заимствования подтверждается результатами анализа структуры глагольных основ, ср. например, др.-тюрк. *kejü-* ~ *keje-* «расширяться» от *kej* «широкий» + аффикс глагольного словообразования *-ü* ~ *-i* ~ *-e*, *jajyl-* — форма страдательного залога от *jaj-* «колебать, трясти».

IV. Итак, то, что в тюркских и монгольских языках совпадают десятки глагольных основ, не вызывает сомнений. У неискушенного компаративиста, естественно, возникнет недоумение по поводу причин, побуждающих несколько поколений тюркологов и монголистов вести горячие споры о природе тюрко-монгольских языковых связей. Но как раз в этой необычной ситуации и заключается существо алтайской проблемы. Налицо, с одной стороны, всеобъемлющие сходства, с другой, непреодолимые трудности их восприятия в духе традиционной компаративистики. Об отдаленном родстве, если принять во внимание размеры и степень сходств, показанные выше на примере глагольных основ, говорить не приходится. Близкое генетическое родство исключено, так как слишком велики различия: не являются общими количественные числительные; неодинаков порядок присоединения аффиксальных морфем [58]; несовместимы способы выражения отрицания при глаголе и мн. числа у имен (отпадение конечных *n*, *r*, *l*, *i* и именного афф.- *sun* в монгольских языках и т. д.) [59]. Более вероятна близость на почве взаимодействия, в обоснование которой можно привести следующие соображения.

1) Своеобразные черты морфологического типа тюркских и монгольских языков не создавали препятствий для заимствования структурных частей слова: корневой и аффиксальных морфем. В памятниках языка

западных монголов, ассимиляция которого языками среднеазиатских тюрок приняла крайние формы, почти любая глагольная основа, без изменений или с минимальными изменениями, присоединяет к себе параллельно тюркские и монгольские аффиксы, ср. (примеры на первые две буквы алфавита [60]):

ср.-тюрк.	ср.-монг.
aldady[7]	*aldaba* «обманул»
arbady	*arbaba* «заколдовал»
arytty	*arčiba* «очистил»
arlady	*abalaba* «охотился»
berimlädilär	*berimlebeler* «дали взятку»
bijidi	*bōjibe* «танцевал»
bitidi	*bičibe* «писал»
boγuzlamaq	*bo'orlaqu* «перерезать горло»
bojamaq	*buduqu* «красить»
boqavlady	*boqa'ūlaba* «заковал в кандалы»
botalady	*botaγalaba* «принесла верблюжонка»
butady	*butaba* «обрезал ветки»
butrady	*butaraba* «распался» (?)

В письменных источниках нередко отражались индивидуальные особенности языка составителей-полиглотов, однако жанр избранного нами источника — многоязычный словарь — исключает или, по крайней мере, ограничивает возможности искусственного формообразования.

2) На важную роль контактов в образовании тюркско-монгольских языковых связей указывает неравномерность распределения глагольных параллелей. Многократное увеличение их количества отмечено в тех тюркских языках, которые территориально или по условиям исторического развития теснее соприкасались с монгольскими: в алтайском, казахском, киргизском, тувинском, хакасском, якутском, ср.: алт., тув., м.-п. *albada-* «принуждать, заставлять»; алт. *mana-* «городить, загораживать», тув., м.-п. *mana-* «охранять, сторожить (ночью)»; алт. *d'obo-* «болеть, изнемогать», тоф. *čoba-*, м.-п. *joba-* «мучиться»; алт. *bedre-*, м.-п. *bederi-* «искать, разыскивать»; алт., м.-п. *qolbo-* «соединять, смешивать»; казах. *mawžÿra-*, м.-п. *maγuǰira-* «лишаться чувств, падать в обморок»; кирг., м.-п. *aja-* «жалеть; щадить»; кирг. *dürbö-*, м.-п. *dürve-* «быть в смятении; панически бежать»; кирг. *ǰyrγa-*, м.-п. *ǰirγa-* «наслаждаться; испытывать удовольствия»; кирг., мо. *tun-* «отстаиваться; становиться чистым, прозрачным»; тув., м.-п. *neme-* «прибавлять, дополнять»; тув. *boda-*, м.-п. *bodu-* «думать»; тув. *darla-*, м.-п. *darula-* «угнетать, притеснять»; тув. *xaγa-*, м.-п. *qaγa-* «закрывать, запирать»; тув. *aŋγyžyra-*, м.-п. *anggiǰira-* «отделяться, обособляться»; тув. *aldarž̌y-*, м.-п. *aldarǰi-* «становиться известным, прославляться»; якут. *delberij-*, м.-п. *delberi-* «дробиться, трескаться» и многие другие.

3. В пользу заключения о контактной природе тюркско-монгольских языковых связей свидетельствует также необычное для генетических общностей соотношение совпадающих глагольных основ и глагольных основ, не имеющих ни прямых, ни косвенных параллелей, т. е. встречающихся только в тюркских или только в монгольских языках. Совпадают десятки глаголов, находящихся на периферии словарного состава, и наряду с этим различаются и не поддаются сближению с монгольскими многие общетюркские глаголы, образующие его ядро, например: *ač-* «открывать», *aγry-* «болеть», *aj(t)-* «говорить, сказать», *al-* «брать», *aš-* «переваливать (через гору)», *ber-* «давать», *bil-* «знать», *de-* «говорить, сказать», *ešit-* «слышать», *ič-* «пить», *jat-* «лежать; ложиться», *je-* «есть», *jet-* «достигать», *keč-* «переправляться (через водную преграду)», *kel-* «приходить», *kes-* «резать», *ket-* «уходить», *kir-* «входить», *kör-* «видеть», *o(l)tur-* «сидеть; садиться», *öl-* «умирать», *qajt-* «возвращаться», *qaz-* «копать», *qoj-* «ставить», *quj-* «лить», *sal-* «класть», *tur-* «стоять; вставать», *tut-* «держать;

[7] *-Dy* ~ *-di* в тюркских, *-ba* ~ *-be* в монгольских примерах — аффиксы прошедшего времени, *-maq* ~ *-mäk* и *-qu* ~ *-ku* соответственно,— аффиксы имен действия.

хватать», *tüš-* «спускаться, опускаться; падать», *uč-* «летать», *unut-* ~ ~ *unyt-* «забывать», *ur-* «бить; ударять; класть» и т. д. Точно так же не поддаются сближению с какими-либо тюркскими словами общемонгольские глагольные основы, относящиеся к центральным областям лексики: *abu-* «брать», *ala-* «убивать», *asaγu-* «спрашивать», *baγu-* «спускаться», *bari-* «держать; хватать», *boda-* «думать», *bos-* «вставать, подниматься», *buča-* «возвращаться; отрекаться, отказываться», *dava-* «переваливать (через гору)», *delet-* «бить; ударять», *γar-* «выходить», *ide-* «есть», *ire-* «приходить», *jabu-* «идти», *kebte-* «лежать; ложиться», *küri-* «доходить, достигать», *marta-* «забывать», *mede-* «знать, узнавать», *nege-* «открывать», *nis-* «летать», *od-* «уходить», *ol-* находить», *oru-* «входить», *ög-* «давать», *saγu-* «сидеть», *sonos-* «слышать», *talbi-* «класть; оставлять; бросать», *uγu-* «пить», *üče-* «видеть», *ükü-* «умирать» и т. д.

Хотя понятия центральных и периферийных областей лексики лишены точности и определенности, нельзя игнорировать то обстоятельство, что проницаемость различных групп лексики далеко не одинакова.

V. На вопрос о том, что дают монгольские материалы для реконструкции тюркского праязыка, мы вправе ответить так. Есть факты, способствующие уточнению первоначального содержания некоторых лексических единиц, есть свидетельства многообразия фонетических изменений. Однако необходимо иметь в виду, что тюркские заимствования в монгольских языках не содержат ничего неожиданного, по сравнению с материалами самих тюркских языков, что нет ни одного раздела сравнительной тюркологии, в котором достижение новых результатов было бы обусловлено привлечением монгольских материалов.

Поскольку заимствования из тюркских языков в тунгусо-маньчжурские осуществлялись в основном через монгольские языки, внешний облик тюркизмов в тунгусо-маньчжурских языках отражает особенности их фонетического освоения монгольскими языками [61]. Исключения составляют слова, заимствованные эвенским и эвенкийским языками непосредственно из якутского. Следовательно, тунгусо-маньчжурские материалы могут быть вспомогательным источником реконструкции тюркского праязыка в еще меньшей мере, чем монгольские.

Иным будет ответ на вопрос о значении тюркских материалов для восстановления монгольских праформ. Они нужны как опора для разграничения в лексике и, отчасти, в морфологии монгольских языков собственного фонда и последствий продолжительного влияния. В их чрезвычайно смешанном словарном составе и грамматическом строе улавливаются черты древнего самобытного облика, выявление которых и соотнесение с поздними наслоениями — главнейшая задача исторической монголистики. Реконструкция монгольских праформ, предполагающая четкое отграничение тюркских элементов, позволит также поднять на более высокую ступень решение вопроса о природе монголо-тунгусо-маньчжурских связей. Все это создаст основу для целенаправленного, не осложненного беспорядочными поисками параллелей изучения собственно монгольской языковой истории.

Сделанные выводы не «закрывают» алтаистику, а лишь намечают пути выхода из кризисной ситуации и достижения позитивных результатов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Кононов А. Н.* Тюркская филология в СССР. 1917—1967. М., 1968, с. 21—22.
2. *Кононов А. Н.* Современное тюркское языкознание в СССР. Итоги и проблемы.— ВЯ, 1977, № 3, с. 23—24.
3. *Ramstedt G. J.* Einführung in die altaische Sprachwissenschaft. I. Lautlehre.— MSFOu, 1957, CIV.
4. *Poppe N.* Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen. I. Vergleichende Lautlehre. Wiesbaden, 1960.
5. *Bawden C. R.*— BSOAS, 1965, XXVIII, 1, p. 180.— Rec.: *Roux J.-P.* La mort chez les peuples altaïques anciens et médiévaux d'après les documents écrits. Paris, 1963.
6. *Sinor D.*— JAOS, 1977, XCVII, 1, p. 37.— Rec.: *Kakuk S.* Recherches sur l'histoire de la langue osmanlie des XVIe et XVIIe siècles. Les éléments osmanlis de la langue hongroise. Budapest, 1973.

7. *Menges K. H.*— CAJ, 1983, XXVII, 1—2, p. 156.—Rec.: *Gabain A.* Einführung in die Zentralasienkunde. Darmstadt, 1979.
8. *Санжеев Г. Д.* К вопросу о тюркских заимствованиях в монгольских языках.— В кн.: Лингвистический сборник. Ташкент, 1971.
9. *Сарыбаев Ш. Ш.* Монгольско-казахские лексические параллели.— В кн.: Проблема общности алтайских языков. Л., 1971.
10. *Clauson G.* The earliest Turkish loan words in Mongolian.— CAJ, 1959, IV, 3.
11. *Clark L. V.* Mongol elements in Old Turkic?— JSFOu, 1977, LXXV.
12. *Ligeti L.* Histoire du lexique des langues turques.— RO (1951—1952), 1953, XVII, p. 87.
13. *Zajączkowski W.* Die mongolischen Elemente in der karaimischen Sprache.— Folia Orientalia, 1960, II.
14. *Poppe N.* Die mongolischen Lehnwörter im Komanischen.— In: Németh armağani. Ankara, 1962.
15. *Róna-Tas A.* Loan-words of ultimate Middle Mongolian origin in Chuvash.— In: Studies in Chuvash etymology. I. Szeged, 1982.
16. *Poppe N.* On Chuvash-Mongolian linguistic contacts.— JAOS, 1977, XCVII, 2.
17. *Tuna O. N.* Osmanlıcada Moğolca ödünç kelimeler.— Türkiyat mecmuası, 1972, XVII.
18. *Сыдыков С.* Тюрко-монгольские параллели.— В кн.: Источники формирования тюркских языков Средней Азии и Южной Сибири. Фрунзе, 1966.
19. *Кудайбергенов С.* Грамматические параллели монголо-тюркских языков. (На материале киргизского языка).— В кн.: Вопросы тюркологии. Ташкент, 1965.
20. *Базилхан Б.* Монгольские заимствования в Баян-Ульгейском говоре казахского языка.— В кн.: Монголын судлал, VI, 9—14, 1966(1967).
21. *Базилхан Б.* Краткая сравнительно-историческая грамматика монгольского и казахского языков. (На материале лексики и грамматики): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Алма-Ата, 1974, с. 8.
22. *Татаринцев Б. И.* Монгольское языковое влияние на тувинскую лексику. Кызыл, 1976, с. 102—109.
23. *Kałużyński S.* Mongolische Elemente in der jakutischen Sprache. Warszawa, 1961.
24. *Харитонов Л. И.* Современный якутский язык. Фонетика и морфология. Якутск, 1947, с. 146.
25. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху. Введение, перевод и комментарии Таскина В. С. М., 1984, с. 49, 306.
26. *Poppe N.* The Turkic loan words in Middle Mongolian.— CAJ, 1955, I.
27. Clauson G. The Turkish elements in 14th century Mongolian.— CAJ, 1960, V, 4.
28. *Gülensoy T.* Moğollarin Gizli Tarihi'ndeki Türkçe kelimeler üzerine bir deneme.— Türkoloji dergisi, 1975, V.
29. *Clark L. V.* Turkic loanwords in Mongol. I: The treatment of non-initial *s*, *z*, *š*, *č*.— CAJ, 1980, XXIV, 1—2.
30. *Temir A.* Türkçe ile Moğolca arasındaki ilgiler.— DTCFD, 1955, XIII, 1—2, s. 13—14.
31. *Владимирцов Б. Я.* Арабские слова в монгольском.— ЗКВ, 1930, V.
32. *Рассадин В. И.* О тюркизмах в бурятском языке.— Тр. Бурятского ин-та обществ. наук, 1969, сер языковедческая, вып. 6.
33. Kotwisz W. Les éléments turcs dans la langue mandchoue.— RO (1938), 1939, XIV, p. 102.
34. *Владимирцов Б. Я.* Турецкие элементы в монгольском языке.— ЗВО РАО, 1911, XX, 2—3, с. 170 и сл., 178 и сл.
35. *Hordhaugen E.* The Mongolian suffix *-lig* and its Turkic origin.— In: Researches in Altaic languages. Budapest, 1975.
36. *Кенесбаев С. К.* К вопросу о тюрко-монгольской языковой общности. (На материале некоторых грамматических явлений казахского языка).— В кн.: Проблема общности алтайских языков. Л., 1971, с. 328.
37. *Самойлович А. Н.* О надписи тюркскими рунами на р. Бегре в Тувинской республике.— Архив востоковедов ИВ АН СССР в Ленинграде, ф. II, оп. 4, № 56, с. 2, 8.
38. *Bang W.* Vom Köktürkischen zum Osmanischen. Vorarbeiten zu einer vergleichenden Grammatik des Türkischen, 2. Mitteilung: Über einige schallnachahmende Verba. Berlin, 1919, S. 9—12.
39. *Ramstedt G. J.* Über onomatopoetische Wörter in den altaischen Sprachen.— JSFOu, 1951, LV, S. 107 ff.
40. *Севортян Э. В.* Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. М., 1962, с. 260.
41. *Щербак А. М.* О морфологическом составе образных глаголов типа *baqyr-*, *čaqyr-*, *hajkyr-*.— СТ, 1971, № 3, с. 8 и сл.
42. *Ramstedt G. J.* Über Stamme und Endungen in den altaischen Sprachen.— JSFOu, 1951, LV, S. 102.
43. *Харитонов Л. Н.* Типы глагольной основы в якутском языке. М.— Л., 1954, с. 260, 264.
44. *Владимирцов Б. Я.* Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия. Введение и фонетика. Л., 1929, с. 323—324.
45. *Поппе Н. Н.* Чувашский язык и его отношение к монгольскому и турецким языкам. IV.— ИРАН, 1925, №№ 9—11.
46. *Bang W.* Mänichäische Erzähler. —Muzéon, 1931, XLIV, S. 32—33.

47. *Murayama S.* Einige Formen der Stammverkürzung in den altaischen Sprachen.— Oriens, 1958, XI, 1—2, S. 225 ff.
48. *Posch U.* Die altaische Sprachverwandtschaft. Theorie oder Hypothese?— In: Handbuch der Orientalistik. I. Abt. V. Leiden-Köln, 1964, S. 23—25.
49. *Menges K.* Einige Bemerkungen zur vergleichenden Grammatik des Türkmenischen.— AO, 1939, XI, 1, S. 19.
50. *Kotwicz W.* Studia nad językami ałtajskimi.— RO (1950), 1953, XVI, s. 19.
51. *Doerfer G.* Zwei wichtige Probleme der Altaistik.— JSFOu, 1968, LIX, S. 15—21.
52. *Зайончковский А.* К вопросу о структуре корня в тюркских языках.— ВЯ, 1961, № 2, с. 33—34.
53. *Тодаева Б. Х.* Дунсянский язык. М., 1961, с. 18.
54. *Поппе Н. Н.* Дагурское наречие.— Материалы Комиссии по исследованию Монгольской и Танну-Тувинской народных республик и Бурят-Монгольской АССР. 6. Л., 1930, с. 116.
55. *Санжеев Г. Д.* Сравнительная грамматика монгольских языков. Глагол. М., 1963, с. 96.
56. *Владимирцов Б.* [*Я*]., *Самойлович А.* [*Н*]. Турецкий народец хотоны.—ЗВО РАО, 1916, XXIII, с. 274—277.
57. *Малов С. Е.* Язык желтых уйгуров. Алма-Ата, 1957, с. 49, 62, 71, 98.
58. *Щербак А. М.* Последовательность морфем в словоформе как предмет специального лингвистического исследования.— ВЯ, 1983, № 3.
59. *Щербак А. М.* О тюрко-монголо-тунгусских связях в морфологии.— НАА, 1968, № 1, с. 106—107.
60. Монгольский словарь Мукаддимат Ал-адаб. II. М.— Л., 1938.
61. *Doerfer G.* The Mongol-Tungus connections.— Language research, XXI, 2. Seoul, 1985, p. 139.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1986

КОТКОВ С. И.

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Развитие языка великорусской народности в русский национальный язык пока еще не получило должного освещения в науке. Обусловлено это рядом обстоятельств. Не касаясь некоторых других, обратимся к тем, влияние которых сказывается в последние десятилетия. Разработка названной проблемы невозможна без опоры на исторические данные как северновеликорусского, так и южновеликорусского наречий, а также средневеликорусских говоров и в особенности московской речи. Между тем история русского языка эпохи его национального развития строилась без учета показаний южновеликорусских памятников, поскольку вплоть до пятидесятых годов они не изучались. Невнимание русистов к этим памятникам предопределялось и тем, что до нашего времени сохранились лишь довольно поздние из них — не старше конца XVI в., и тем, что господствовало мнение о сравнительно позднем формировании южновеликорусского наречия. Полагали, что оно сложилось в процессе поздней колонизации Юга, едва ли не полностью запустевшего в результате нашествия степняков, причем новое население Юга составили, вернувшись на землю предков, потомки старых его обитателей, бежавших во время указанного нашествия в прилежащие к Югу с северо-востока, севера и северо-запада места, коренное население которых было инодиалектным и вместе с тем неоднородным в диалектном отношении. Но если, согласно данной концепции, дело обстояло именно так, то в течение трех столетий совместного проживания с ним выходцы с Юга не могли не подвергнуться его диалектным воздействиям. Отсюда неизбежно следовало: порожденное поздней колонизацией разнодиалектного состава, южновеликорусское наречие представлялось лишенным глубоких традиций и, можно сказать, конгломератом,— словом, не совсем органичным в истории русского языка и потому не особенно перспективным для ее исследования. Тем самым южновеликорусское участие в формировании национального языка сводилось к малозначимому и вся история русского языка национального периода становилась крайне односторонней — выступала, собственно говоря, в северносредневеликорусской редакции. Из такого обедненного представления о происхождении русского национального языка вытекало обедненное представление и о его литературном компоненте. Отголосок подобного представления звучит, например, в таком высказывании: «...наш литературный язык, московский по исторической своей основе, на протяжении последних 200—150 лет постепенно, но неуклонно, ослабляет свою связь с чисто московскими особенностями речи, впитывая в известном преломлении соответственные черты в основе северновеликорусского происхождения» [1].

Неосведомленность в южновеликорусских памятниках и, вследствие этого, необоснованное проецирование современных южновеликорусских изоглосс, отдельных фактов и явлений в глубину веков приводили исследователей к выделению некоторых мнимых исторических различий между южновеликорусскими говорами и прочими говорами русского языка.

Так, в ряду лексических различий, которые разграничивают северно- и южновеликорусское наречия, называли противопоставления *изба — хата*, *клеть — пуня*, *волк — бирюк*, *конь — лошадь*, *сарафан — понева*, *выть — доля*, *лонской — прошлогодний*, *живет — бывает*; писали об исто-

рической несвойственности южновеликорусскому наречию слов *овин*, *тын*, *кулига*, *пожня* и *бросать*. Проецируемые в прошлое, эти различия между Севером и Югом (кстати сказать, некоторые из них и для нашего времени небесспорны) оказались недействительными: как выяснилось в процессе исследования памятников южновеликорусской письменности, слова *изба*, *клеть*, *волк*, *конь*, *сарафан*, *выть* в смысле «доля», *лонской* в смысле «прошлогодний», *живет* в смысле «бывает», *овин*, *тын*, *кулига*, *пожня* и *бросать* три-четыре века назад у обитателей южновеликорусского края были в общем употреблении [2].

Ныне конструкция «инфинитив + именительный существительного на *-а*» (*косить трава*, *земля пахать* и т. п.) знакома большинству говоров северновеликорусского наречия. Бытование конструкции на Севере и присутствие в северновеликорусских памятниках, начиная с XIII в. (при полном отсутствии в ней исторических сведений с Юга: исследование южновеликорусских памятников началось только в последнее время), позволило историкам языка определить ее как северновеликорусскую. Однако южновеликорусские памятники убедительно свидетельствуют о том, что она была органической принадлежностью и южновеликорусских говоров (см. [3]), выходит, являлась общерусской.

Известно, что в южновеликорусских говорах отличный от *е* гласный *ě*, который в старинной письменности передавали буквой *ѣ*, ныне произносится как *е*. А. А. Шахматов по этому поводу писал: «...в восточнорусских (южновеликорусских) говорах переход *ѣ* в *е* во всяком положении — это черта, исконно свойственная их вокализму» [4]. Основанное на данных современных говоров заключение А. А. Шахматова стало общепринятым. А когда приступили к изучению памятников, писанных южновеликорусами, ситуация представилась иной: *ě* в безударном положении действительно совпал с *е*, но в положении под ударением сохранял отличное от *е* произношение [5, с. 35—52], как в то же самое время и в северновеликорусском наречии и в средневеликорусских говорах. Следовательно, эта фонетическая черта была в то время общерусской. В. Н. Сидоров по этому поводу писал: «Вывод С. И. Коткова о позднем изменении ударяемого *ѣ* в *е* (в южновеликорусских говорах.— *К. С.*) ... по-видимому, отвечает действительности. Вместе с тем, как мне кажется, он является одним из наиболее интересных и ценных приобретений исторической фонетики русского языка за последнее время. Теперь придется, возможно, пересмотреть заново не один из казалось бы окончательно решенных вопросов истории языка» [6].

Следуя за А. А. Шахматовым, К. В. Горшкова в проявлениях рассматриваемой черты на Юге в XVII столетии видит не отражения общерусского процесса, а влияние московской орфографической школы [7, с. 27]. Такая трактовка указанных отражений вызывает сомнение, и вот почему: в опубликованных нами многочисленных старинных южновеликорусских материалах отражения означенной черты выступают рядом с отражениями таких сугубо диалектных явлений, письменное воплощение которых никак не согласуется с московской орфографией, обличает слабую выучку писцов. В свете этого обстоятельства предполагаемое влияние московской орфографии оказывается настолько выборочным, что в качестве воспринимаемого южновеликорусами немотивированно фрагментарно представляется маловероятным. Конечно, из этого не следует, что влияние московской орфографии в периферийном письме не сказывалось. Но для его установления знания этого факта мало, необходимо еще и знание правописной выучки писцов тех или иных категорий — писцов профессионалов и непрофессионалов, а также знание характера текстов, в которых оно проявлялось.

Примеров неверной интерпретации явлений и фактов языка, неизбежной при отсутствии сведений из южновеликорусских памятников, можно было бы указать немало.

Мешали объективному изучению становления национального языка и некоторые традиционные воззрения. Назовем такие распространенные, как традиционное преувеличение роли церковнославянской книжности, церковнославянского языка в лингвистической жизни русского общества

в XVII столетии, и, напротив, непризнание каких-либо литературных функций, какого-либо литературного значения за вполне развитой в XVII в., огромной в масштабах всей страны и влиятельной русской деловой письменностью. С незнанием последней связано утверждение, что наши предки в XVII в. по-русски только говорили, а писали по-славянски (точнее, по-церковнославянски.— *К. С.*). Утверждение это заимствовано из «Русской грамматики» Г. Лудольфа, изданной в 1696 г. в Оксфорде. Знакомство Лудольфа с русским языком исчерпывалось годичным пребыванием в России. Несмотря на преувеличение роли церковнославянской книжности, церковнославянского языка, полвека назад филологическая традиция не придавала свидетельству Лудольфа абсолютного значения. Характерно в этом отношении высказывание В. В. Виноградова. Касаясь средневекового дуализма в сфере письменно-словесного выражения, В. В. Виноградов писал: «...рост политического значения новых общественных классов (возвышение класса помещиков и развитие торговой буржуазии), не мог не отразиться на соотношении стилей церковно-литературного, общественно-обиходного и официально-канцелярского языков, не мог не усилить притязаний народного языка на более значительную роль в системе литературного выражения» [8]. Более того, по его словам: «...со второй половины XVII в. эволюция русского литературного языка (естественно, и литературной письменности.— *К. С.*) решительно вступает на путь сближения с московским приказным языком и с живой разговорной речью образованных слоев русского общества...» [9, с. 30]. Эти суждения опирались на глубокое знание русской рукописной старины. О развитии отечественной письменности на собственно русской языковой основе не только в XVII столетии, но и в более ранние века, начиная с грамоток на бересте, свидетельствует огромное рукописное наследие, оставленное нам историей, одна лишь изданная часть которого с полной очевидностью показывает, насколько сомнительно утверждение Лудольфа, что русские только говорили по-русски, а писали по-церковнославянски.

И тем не менее, в наши дни эта точка зрения вместе с преувеличением роли церковнославянского языка в лингвистической жизни русского общества обнаруживает признаки своеобразного оживления, наблюдаемого и в исследованиях, и в преподавании истории языка. Так, в университетском пособии читаем: «Литературный язык восточных славян в эпоху средневековья сложился не в результате кодификации какой-либо разновидности местной разговорной речи (диалекта или койне), а в процессе освоения языка старославянских (южнославянских по происхождению) богослужебных текстов, в силу чего он по многим своим особенностям не совпадал ни с одним из восточнославянских диалектов, хотя и взаимодействовал с ними» [10, с. 9]. Выходит, за древние века и старорусский период в течение семи-восьми столетий наши предки не только не выработали своего, русского литературного языка, но и не испытывали потребности в этом, удовлетворяясь церковнославянским. Выдающаяся роль церковнославянского в культурном развитии восточных славян, в формировании их письменной культуры исторически бесспорна, но все же церковнославянский язык оказывался либо недостаточным, либо не вполне приемлемым в некоторых актуальных, особенно специфических сферах жизни восточного славянства, частью и в литературной. В условиях развитой государственности, многообразной общественной деятельности и самобытной духовной культуры Руси, при наличии оригинальной письменности (от берестяных грамоток до летописей и законодательных актов) применение в качестве литературного исключительно церковнославянского языка просто необъяснимо. Поскольку в других европейских странах ничего подобного не было, а восточнославянский регион не выпадает из общеевропейской области, подобная «уникальная» ситуация в нем представляется по меньшей мере сомнительной.

Нелишне напомнить, какой язык (вполне понятно, не диалектный, а общерусского употребления) представлял «московитов» тогда на Западе. Свидетельства иностранцев,— констатирует М. П. Алексеев,— о хорошем или удовлетворительном знакомстве с русским языком (заметим: не

с церковнославянским.— *К. С.*) «...между XV—XVII столетиями становятся столь изобильными, что их было бы здесь трудно перечислить со всей полнотой. В этот период продолжается, притом очень интенсивно, в Новгороде, Пскове, в северных приморских городах, а затем и в Москве, профессиональная подготовка иноземных переводчиков с русского языка, посылаемых туда торговыми фирмами разнообразных государств. Из русских городов они возвращались к себе на родину, хорошо владея навыками не только устной, но и письменной русской речи. Большое количество документальных свидетельств этого рода растягивается, примерно, на три века. Ганзейские документы XIV—XV столетий приводят даже многие имена подобных толмачей...» [11].

Язык русской деловой письменности с точки зрения его отношения к русскому литературному языку основательному изучению не подвергался, поэтому деловая письменность воспринималась смутно, в общем виде, недифференцированно. Достаточно указать на то, что в филологической среде к грамотам нередко причисляют тексты, которые грамотами не являются, или челобитными называют иные деловые бумаги, например, отписки или грамотки. Впрочем, нечто подобное наблюдаем и у историков: берестяные письма-грамотки они именуют грамотами. Поскольку литературный язык отождествлялся, во-первых, с церковнославянским, во-вторых, по преимуществу с языком художественной литературы, всю письменность делового содержания считали, как мы говорили ранее, нелитературной, отрицали ее активную роль в формировании литературного языка. Между тем, даже самое общее, элементарное различение в ее составе хотя бы актовой, хроникальной (см. [12]) и эпистолярной серий текстов показывает всю неправомерность подобной оценки данной письменности, подобного мнения о ней. О неправомерности такого мнения свидетельствует, далее, и то, что в одной и той же серии текстов, скажем, эпистолярной, находим и несродные литературным и, напротив, близкие к литературным тексты. Неоднородны в этом отношении и актовые материалы: если сказки простого люда далеки от литературного изложения, то Судебники XV—XVI вв. и Уложение 1649 г. обладают определенной литературностью. Статейные списки исследуют специалисты по древнерусской литературе (см. [13]). Литературность свойственна и вестям-курантам: во всяком случае стремление к ней вполне рельефно проявляется в редактировании этих текстов [14].

Выведение всей деловой письменности XV—XVI вв. за пределы литературного функционирования мотивируют прежде всего тем, что язык ее некодифицирован, а осуществление кодификации усматривают в появлении грамматик и словарей. В то же время в литературном значении для древнего восточного славянства церковнославянского языка (и соответственной письменности) никто не сомневается, хотя зачатки его словарей известны только с конца XIII в., а его грамматики появились намного позднее. Предвидим возражение: кодификация этого языка в основном воспринята в готовом виде, восходит к унаследованной восточными славянами кодификации старославянского языка. Да, это бесспорно. Но и унаследованная кодификация в свое время начиналась не с составления грамматики и словаря (ее формальное закрепление в них происходило значительно позднее), а складывалась узуально — в процессе и канонизации текстов, писанных на старославянском языке, и многовекового, в общем стабильного воспроизведения этих текстов. Сходное положение наблюдаем и в истории русского извода старославянского языка — языка церковнославянского. Черты, характеризующие последний, привнесенные в него восточными славянами, складывались узуально, а затем получали закрепление в грамматиках и словарях. Так, списки грамматических сочинений, которые обращались на Руси, относятся к XV—XVI вв., причем наиболее ранние сочинения имеют южнославянский источник, а некоторые подвергаются сознательной переработке на русской почве (см. [15, с.5]). Краткая славянская грамматика, создание которой связывали с Иоанном Экзархом (X в.), создана, по-видимому, не этим автором, а позднейшим компилятором [15, с. 5—6].

Итак, закрепление литературных норм в грамматиках и словарях является итоговым и, вследствие этого, не единственным фактором преобразования языка в литературный, не единственным признаком его литературности. Кодификация в грамматиках и словарях завершает его преобразование в литературный, а не начинается с этих регламентирующих установлений. В процессе становления литературного языка регламентирующим фактором выступает прежде всего общественное признание в качестве более предпочтительных, а затем и образцовых тех или иных норм языка. Огромная заслуга составителей первых грамматик и словарей заключается не столько в узаконении этих, литературных, норм (в процессе регулярного и активного употребления узуальным образом они узаконены общественным сознанием), сколько в авторитетном обобщении их в грамматиках и словарях. Поэтому начало становления русского литературного языка, ориентирующего на живую речь, вряд ли возможно связывать с появлением в тридцатых годах XVIII в. грамматики В. Е. Адодурова [16]. Достаточно явственные следы становления русского литературного языка национальной эпохи обнаруживаются в более раннее время — в определенных разновидностях обширной деловой письменности (в основном в актовой и хроникальной), точнее, в ее московской сфере, в XVI—XVII вв.

При сведении понятия «литературный язык» к языку преимущественно художественной литературы объективная разработка проблемы образования русского национального языка едва ли не столь же затруднительна, как и при сведении литературного языка к языку церковнославянскому. При таком понимании литературного языка исследуемого периода в сферу этого языка попадает значительная часть произведений церковно-книжной письменности и, напротив, остается за его пределами не менее значительный состав произведений деловой письменности, поскольку не находят в нем того, что можно было бы назвать, вслед за Г. О. Винокуром, стремлением к литературности изложения. В представлении Г. О. Винокура рядом с литературным стилем письменного языка того времени «Московская Русь знала и другой его стиль — деловой. Этот стиль речи принято называть приказным языком, так как наиболее типичные его образцы находятся в приказном делопроизводстве XVI—XVII вв. Это, следовательно, язык канцелярских бумаг, юридических актов, хозяйственных записей, официальной и частной переписки, то есть таких явлений письменности, в которых нет стремления к литературности изложения» [17]. Действительно, в хозяйственных записях и в грамотках частной переписки такое стремление не проявляется, а в государственных юридических актах, статейных списках и вестях-курантах литературность изложения проступает. Это свойство вторых определялось не столько стремлением к литературности, возможном, впрочем, и порой в достаточно ярких проявлениях, при составлении подобных разновидностей текстов, сколько спецификой данных текстов — строгой регламентацией их структуры и точностью заложенной в них информации, что обыкновенно выражалось в более или менее определенном составе образующих их лексических средств и синтаксических конструкций, например, в составе устойчивых оборотов и терминологических образований. Отмечаемое ныне в научной литературе влияние языка деловой письменности на язык художественной литературы XVI—XVII вв., по-видимому, имело своей предпосылкой и стремление к литературности изложения, и владение этой литературностью в среде наиболее образованных московских приказных людей — авторов государственных актов, статейных списков, исходивших из московских приказов, в частности, из Посольского. «... с XV в., а особенно в XVI — VII вв.,— констатировал В. В. Виноградов, — все усиливаются процессы литературно-языковой обработки разных форм приказно-деловой речи, и деловая речь, по крайней мере в известной части своих жанров, уже выступает как один из важных и активных стилей литературного языка. Вместе с тем все возрастает роль этого делового стиля в языке художественной литературы» [9, с. 278].

Определение языка деловой письменности как приказно-деловой речи

(предпочтительнее было бы: языка) имеет основание лишь в той степени, что все деловое письменное общение не укладывалось в приказное. Думается, следует говорить о языке деловой письменности, а в ее составе выделять, как сказано выше, актовую (приказную в строгом смысле слова), хроникальную и эпистолярную. В процессе обслуживания почти всех и особенно актуальных потребностей общества в языке деловой письменности XVI—XVII вв. вырабатывались такие возможности общерусского общения, прежде всего лексические и жанрово-стилистические, что язык указанной письменности становился важнейшим объединительным фактором в начальную пору формирования русского национального языка, органически связанным, с одной стороны, с народно-разговорной стихией, с другой, с культурой литературного языка. Таким широким диапазоном связей с иными факторами национального лингвистического развития не обладали ни церковнославянский, ни народно-разговорный язык, почему формирование литературных норм в это время определялось главным образом влиянием языка деловой письменности.

Правомерно было ожидать: большое значение в начальном развитии русского национального языка культуры деловой письменности привлечет к ней пристальное внимание историков-русистов. Однако этого не произошло. По словам В. В. Виноградова, до сих пор включение приказно-делового языка «в строй и нормы русского национального литературного языка» не подвергалось «специальному детальному историческому исследованию...» [9, с. 273].

Не благоприятствовала выяснению процесса образования русского национального языка и традиционная оценка основных источников, на которых строится история языка. А. А. Шахматов в качестве таких источников называл народные говоры, А. И. Соболевский предпочитал памятники письменности. Дальнейшее рассмотрение этого вопроса предварим следующим замечанием: с точки зрения лингвистического источниковедения народные говоры сами по себе, в своей непосредственной данности источниками не являются, источниками, строго говоря, являются их з а п е ч а т л е н и я, либо непосредственные — инструментально-физические, либо опосредствованные — графические. Былое состояние русского языка отложилось в опосредствованных запечатлениях — памятниках письменности. В последние два десятилетия отношение русистов к той и другой категории источников более или менее выровнялось, но появление концепции диалектного языка, предложенной Р. И. Аванесовым, повлекло за собой возвращение к А. А. Шахматову.

Выделяя в качестве основных источников современные диалектные, авторы подобного рода суждений усматривают в них более полную фонетическую и грамматическую информацию в сравнении с аналогичной информацией, заключенной в старинных текстах. Между тем, в современных народных говорах рассеяны лишь весьма отдаленные и более или менее редкостные отзвуки древнего состояния языка. К тому же вскрываются заметные расхождения в локализации ряда существенных явлений и отдельных языковых фактов на одной и той же территории, например, в XVII столетии и в наше время. Некоторые примеры таких расхождений мы указали выше (география отличного от *е* гласного, передававшегося буквой *ѣ*, конструкции «инфинитив + именительный существительного на *-а*», слова *лонской* и т. д.).

Расчленение истории языка не столько на взаимодействующие, сколько на параллельные процессы развития диалектного языка и развития литературного языка предопределяет и своеобразное отношение сторонников концепции диалектного языка к памятникам письменности. Вот как оно обосновывается: «Литературный язык восточных славян в эпоху средневековья сложился не в результате кодификации какой-либо разновидности местной разговорной речи (диалекта или койне), а в процессе освоения языка старославянских (южнославянских по происхождению) богослужебных текстов, в силу чего он по многим своим особенностям не совпадал ни с одним из восточнославянских диалектов, хотя и взаимодействовал с ними. Поэтому для историка восточнославянско й народ

но-разговорной речи во всем ее диалектном многообразии материал письменных памятников — это только источник (а не объект исследования.— *К. С.*), из которого он извлекает отдельные факты, требующие территориально-диалектной интерпретации, чтобы оценить их отношение к реконструируемой системе диалектного языка эпохи создания текста» [10, с. 9].

Итак, любой старинный текст, который привлекают для изучения истории диалектного языка, признается только источником, а не объектом исследования. Но если извлекаемые из него отдельные факты языка требуют «территориально-диалектной интерпретации», да к тому же и оценки их отношения «к реконструируемой системе диалектного языка эпохи создания текста», без основательного познания источника, без признания его объектом исследования явно не обойтись. Напомним, кстати, что один из авторов цитируемого пособия (К. В. Горшкова) высказывалась прежде в том же духе, когда, например, утверждала: «...письменный памятник может быть использован как источник не в виде набора случайных отдельных фактов, а в результате сплошного, целенаправленного изучения всей совокупности явлений и планомерного перехода от графико-орфографического уровня к фонологическому и далее, если это соответствует задачам исследования, к морфологическому, словообразовательному и другим уровням» [7, с. 24—25]. Всестороннее исследование источника во всем его объеме, с учетом даже внешних условий, в которых происходило возникновение и функционирование (правописных норм соответственного времени, а также выучки писцов, делопроизводственного обихода и т. д.), необходимо для интерпретации и совокупности заключенных в источнике лингвистических данных — сведений о явлениях языка, наречия или говора (изучение указанных данных предполагает изучение фактов языка), составляющих лингвистическую содержательность источника, и отдельных фактов языка, составляющих его лингвистическое наполнение.

Факты, которые составляют лингвистическое наполнение источника, пока не исследованы в его контексте, остаются лишь его принадлежностью и не могут быть признаны свойственными тому лингвистическому образованию — языку, наречию или говору,— которое в нем запечатлено; ф а к т ы, исследованные в таком контексте и на основе подобного исследования признанные свойственными этому образованию и обобщенные по однородным признакам,становятся лингвистическими д а н н ы м и, совокупность которых составляет лингвистическую содержательность источника. Словом, отдельные факты языка, не исследованные в контексте всего источника, в общем не могут быть доказательными для выявления запечатленного в нем языка, наречия или говора. Выходит, лингвистическое наполнение наглядно, но еще не доказательно, лингвистическая содержательность не наглядна, однако доказательна.

Обратимся к конкретным старинным фактам, например, к написаниям буквы *е* в соответствии с древними написаниями *ѣ* в безударных положениях. Одни историки русского языка объясняют эти факты влиянием московской орфографической школы, другие усматривают в них отражение фонетического явления. Перед нами — отказные документы, писанные в Елецком уезде в середине XVII в. церковным («егорьевским») дьячком Афонькой Лукиным (см. [18]). Почти во всех безударных положениях в соответствии с древними написаниями *ѣ* Афонька выводит букву *е*. Создается впечатление: Афонька следует определенной норме. Его принадлежность к церковным дьячкам (дьячками называли тогда писцов, нецерковные дьячки именовались земскими) усиливает это впечатление — он мог быть осведомленным не только в писцовой практике, но и в церковной книжности, орфографически более или менее выдержанной, где подобного рода написания также применялись. Предполагаемую норму — написание *е* вместо древнего *ѣ* в безударных положениях — как будто нарушают 6 написаний *ѣ* в безударном положении после *ц* в словах *цѣловальник*, *цѣлованье*, но их нетрудно отвести: грамотеи их постоянно встречали и в церковной книжности (*цѣлование*), и в деловой письменности (*цѣловальник*) и могли заучить в правописном виде. Трижды написанное Афонькой *подлѣ*, не согласуемое в отношении ударения с современным

общерусским *подле*, выпадает из предполагаемой нормы (сохранение *ѣ* в положении под ударением и замена его буквой *е* в безударном положении), но согласуется с ней по данным других отказных текстов как диалектное образование. Ср. в упомянутом издании южновеликорусских отказных книг: а усада Ѳедосѹ в тои ево па*ш*ни... падлѣ ве*р*ха ва*з*лѣ Микиты Дамашова (154); в том же издании написание *подлѣ* вдвое употребительнее написания *подле* — с *ѣ* насчитываем 42, с *е* — 19 случаев. Напомним: в московских вестях-курантах первой половины XVII в. употребительность того и другого написания была примерно одинаковой (см. [19, 14, 20, 21]). Исходя из этого сравнения московских и южновеликорусских данных, мы вправе сделать вывод: значительное преобладание написаний *подлѣ* в южновеликорусской области обязано местному — фонетическому, а не московскому — правописному узусу. Убедительно подтверждает этот вывод сопутствие в названных отказных книгах южновеликорусскому варианту *подлѣ* (в произношении *падлé*) таких отражений местной речи, как, например, яканье, взаимная мена *в* и *у*, написания *Ларкя* и под. Принимаем во внимание и то, что предлоги *дле* и *зле*, появление которых можно связать с особенно сильной редукцией *о* в предударном положении и последовавшей вместе с ней частичной утратой стечения согласных в образованиях *подле* и *возле*, имеют широкое распространение именно в южновеликорусских говорах (см. [22]).

Итак, в разрозненном восприятии, вне контекста источника, а порой и серии однородных источников, рассматриваемые факты языка, точнее, их графические запечатления представляются мотивированными лишь орфографией, лишенными фонетического значения; воспринимаемые в контексте источника, а порой и серии однородных источников, те же самые запечатления представляются связанными с фонетикой, приобретают фонетический смысл.

Фонетическое объяснение неодинаковых проявлений в старинной южновеликорусской письменности этимологического *ѣ* подтверждают случаи его передачи посредством буквы *и* в положении под ударением, преимущественно перед мягким согласным: я ему в том вирила, шти видер (пива), диверь Офонасеи, двѣ клити, он... мене изувичил, подмитил на мнѣ денги; ливоя (ухо) [5, с. 44—45]; в отказных книгах: Сиверского Да*н*ца (17), Сиве*р*ск [ое] ве*р*хо*в*я (18), на *ѡт*диля (83), всии то*и* зе*м*ли (94), помищиковы (125), с помищики (174), со всими уго*д*я (213), со всими уго*д*и (265, 266), со всими Ѹго*д*и (268), вси три поля (271); чимъ влодѣли (158), чи*м* владѣлъ (261); ср.: *ѣ* исправлено, вероятно, из *и* — велѣнью (99), *ѣ* исправлено из *и* — Сила Пересвѣто*в* (270), а также — ѣхъ помѣсю (229), ѣхъ помѣстье*м* (231) (см. [18]). Эти свидетельства отличного от *е* качества *ѣ* в подударном положении выступают, как правило, в контекстах иных южновеликорусских проявлений, а это бесспорно подтверждает принадлежность писцов к южновеликорусам.

Можно было бы привести и другие сомнительные заключения, построенные на отдельных фактах языка, вернее, их запечатлениях, но в этом нет необходимости. Так или иначе, несомненно одно: отдельные, разрозненные запечатления обыкновенно лишь иллюстрируют то, что уже установлено, и не вскрывают подлинного характера обозначаемых ими явлений, почему и не имеют объяснительной силы. Объяснительная сила запечатлений формируется в процессе их обобщения и отграничения от инородных в сфере лингвистической содержательности источника, а не его лингвистического наполнения. Если исходить из того, что объяснение всегда системно, оно, естественно, вытекает не из лингвистического наполнения как простой с у м м ы запечатлений, а из лингвистической содержательности как с и с т е м ы запечатлений. Чем менее в исследовании объяснительного аспекта, тем менее оно исторично. Изучение «диалектного языка» по памятникам письменности «принципиально» замыкается в пределах их лингвистического наполнения и, поскольку сводится к иллюстрированию показаний современных народных говоров, далеко от историзма. Подлинная история русского языка не может быть «задана» и, следовательно, ограничена проблематикой современных народных говоров.

Как видим, использование источников органически связано с общей концепцией истории русского языка, в особенности литературного. История русского литературного языка в последние десятилетия превратилась в арену не только научных, но и выводимых из них идеологических коллизий. Получило известное распространение вольное или невольное принижение роли собственно русского начала (устного или письменного) в формировании русского литературного языка. Так, Б. Унбегаун заявляет: «У восточных ...и южных славян... старославянский язык стал средством для выражения всей духовной деятельности — богословия, философии, науки и литературы, т. е. стал тем, что условно именуется литературным языком в широком смысле слова... Существование у восточных и южных славян в течение многих веков двух письменных языков с разными функциями — церковнославянского... и своего национального — общеизвестно и споров не вызывает. Единственное, что может и должно вызвать возражение, это присвоение утилитарному — юридическому и административному — языку литературного ярлыка» [23, с. 330]. Далее: «В ... московский период — с XV до середины XVII в. — ... не приходится говорить о существовании русского литературного языка, отличного от церковнославянского» [23, с. 331]. К сожалению, сходную точку зрения мы находим в трудах не только западных ученых, но и наших исследователей.

Если отношение разговорного начала в виде диалекта или койне к формированию литературного языка изображается таким образом, упоминание о взаимодействии между ними вызывает недоумение. Между тем такое взаимодействие и в далеком прошлом и в наши дни — вседневная определяющая реальность. Объясняется это следующим: диалект или койне никогда не функционируют как исключительно или преимущественно диалектные образования, а всегда выступают прежде всего в качестве конкретной реализации общенародного языка, в виде осложненного местной вариативностью его непременного звена, а в особо благоприятных условиях ложится в основу формирования разновидности данного языка. Так, московское койне XVII—XVIII вв. послужило основой формирования устной разновидности литературного языка. Отождествляя, вслед за Унбегауном, литературный язык донациональной эпохи с языком церковнославянской книжности, сторонники концепции диалектного языка, так же, как и Унбегаун, отрывают историю литературного языка восточного славянства от его живой общенародной стихии, ориентируясь главным образом на показания современных народных говоров и церковнославянской книжности. В показаниях подобного рода история русского языка как живого общенародного явления представляется существенно ограниченной. Исследование русского языка в его историческом развитии именно как такого явления, а не только как собственно диалектного, невозможно без обращения к источникам, которые в историческом изображении в тех или иных отношениях представляют его значительно шире, нежели современные диалектные записи и данные церковнославянской книжности. Имеем в виду материалы буквально необозримой актовой письменности, а также эпистолярной и хроникальной и художественные произведения русского обличья.

Рассмотрение некоторых аспектов истории русского языка показывает: для решения ее кардинальных вопросов, особенно имеющих существенное идеологическое значение, необходимо, помимо применения новых и усовершенствования старых методов исследования, расширение и более глубокое познание ее источниковой базы — значительное пополнение круга источников и подлинно исторический подход к интерпретации их свидетельств, а также дифференцированное изучение разновидностей старинной деловой письменности, в особенности связей этой письменности, с одной стороны, с народно-разговорным, с другой, с литературным языком. Пора приступить к обстоятельному изучению возвышения отдельных ее категорий до ранга литературных и освещению ее влиятельного участия в формировании национальной языковой общности, включая сферу литературного языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Обнорский С. П.* Избранные работы по русскому языку. М., 1980, с. 246—247.
2. *Котков С. И.* Вопросы истории русского языка в свете некоторых данных южновеликорусских памятников.— В кн.: Вопросы образования восточнославянских национальных языков. М., 1962, с. 31—49.
3. *Котков С. И.* Конструкция типа «земля пахать» в истории южновеликорусских говоров.— ИАН ОЛЯ, 1959, № 1.
4. *Шахматов А. А.* Курс истории русского языка. Ч. II. СПб., 1911—1912, с. 233.
5. *Котков С. И.* Южновеликорусское наречие в XVII столетии. (Фонетика и морфология). М., 1963.
6. *Сидоров В. Н.* Из русской исторической фонетики. М., 1969, с. 25.
7. *Горшкова К. В.* Историческая диалектология русского языка. М., 1972.
8. *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX веков. 3-е изд. М., 1982, с. 11.
9. *Виноградов В. В.* Избранные труды. История русского литературного языка. М., 1978.
10. *Горшкова К. В., Хабургаев Г. А.* Историческая грамматика русского языка. М., 1981.
11. *Алексеев М. П.* Русский язык в мировом культурном обиходе.— ВЯ, 1984, № 2, с. 10.
12. *Котков С. И.* Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 1980, с. 74.
13. Путешествия русских послов XVI—XVII вв. Статейные списки. М.— Л., 1954.
14. Вести-Куранты. 1645—1646, 1648 гг. Изд. подгот. Тарабасова Н. И.,Демьянов В. Г. Под ред. Коткова С. И. М., 1980, с. 10.
15. *Кузнецов П. С.* У истоков русской грамматической мысли. М., 1958. с. 5.
16. *Успенский Б. А.* Первая русская грамматика на русском языке. М., 1975, с. 4.
17. *Винокур Г. О.* Избранные работы по русскому языку. М., 1959, с. 64.
18. Памятники южновеликорусского наречия. Отказные книги. Изд. подгот. Котков С. И., Коткова Н. С. М., 1977, с. 90—91, 95—96.
19. Вести-Куранты. 1600—1639 гг. Изд. подгот. Тарабасова Н. И., Демьянов В. Г., Сумкина А. И. Под ред. Коткова С. И. М., 1972.
20. Вести-Куранты. 1642—1644 гг. Изд. подгот. Тарабасова Н. И., Демьянов В. Г., Сумкина А. И. Под ред Коткова С. И. М., 1976.
21. Вести-Куранты. 1648—1650 гг. Изд. подгот. Демьянов В. Г., Бахтурина Р. В. Под ред. Коткова С. И. М., 1983.
22. Словарь русских народных говоров. Вып. 8. Л., 1972, с. 69; Вып. 11. Л., 1976, с. 287.
23. *Унбегаун Б.* Русский литературный язык: проблемы и задачи его изучения.— В кн.: Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти академика Виктора Владимировича Виноградова. Л., 1971, с. 330.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1986

МУРЯСОВ Р. З.

ТОПОНИМЫ В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Интердисциплинарный характер ономастики [1—5] и лингвистические (лексико-семантические, грамматические, словообразовательные и т.д.) свойства ономастических единиц обусловливают своеобразное положение имен собственных в системе языка, что позволяет говорить об ономастике как о совершенно особой отрасли языкознания [1, с. 36], в которой, как отмечает В. А. Никонов, «общеязыковые законы преломляются специфически и возникают свои закономерности, которых нет в языке вне ее» [2]. Выделяя имена собственные (ИС) в рамках номинативных знаков наряду с именами нарицательными (ИН) и квантитативными знаками в качестве одного из основных семиологических классов, языковеды одновременно указывают на то, что «по характеру знакового значения, по сфере функционирования и функции индивидуализации имена собственные можно назвать „лексически неполноценными, ущербными“» [6] [1]. Говоря об особенностях имени собственного, выявляемых на разных уровнях языка, следует выделить его семантическое своеобразие как основной, первичный фактор, обусловливающий его прочие лингвистические особенности (например, родовую характеристику топонимов, находящуюся нередко в противоречии с их морфологической структурой, неспособность образования мн. числа, дефектность парадигмы склонения, а также их ослабленные деривационные способности и т.п.). Все лингвистические отличия ИС, выявляемые в сравнении с ИН,— следствие их лексической дефектности. По своему характеру отношения к денотату ИС и ИН образуют два противоположных полюса. Идеальной моделью ИС принято считать личные имена (антропонимы). Имя собственное не образует компактного и гомогенного семиологического класса. Между ИС и ИН локализуется континуум переходных зон, т. е. ономастических разрядов, характеризуемых отсутствием четко очерченных границ и обладающих разной степенью «назывательности» [8—10]. Многослойность и разнородность особенно характерны для класса топонимов. В отдельных случаях возникают трудности отграничения топонимов от служащих источником их возникновения апеллятивов [2]. Исследование топонимов осложняется нечеткостью границ и отсутствием стабильности в номенклатуре топонимических разрядов, а также трудностью установления одно-однозначного соответствия между национальными и интернациональными топонимическими терминами. Термины «антропонимика» и «топонимика» относятся к наиболее универсальным терминам ономастики. Дальнейшее иерархи-

---

[1] Характеристику имени собственного с точки зрения его семантики следует рассматривать в связи с теорией знака в конкретном теоретико-лингвистическом контексте. Так, исходя из концепции односторонности лингвистического знака, В. З. Панфилов пишет: «Положение о том, что значение (десигнат) языковой единицы есть отношение к денотату ее материальной стороны, по-видимому, можно считать справедливым только применительно к собственным именам, однако с той оговоркой, что поскольку эта отнесенность осуществляется мыслящим субъектом, то правильнее будет говорить о десигнате собственного имени как з н а н и и этой отнесенности» [7].

[2] Положение о том, что все личные имена и географические названия произошли от имен нарицательных [10], должно быть дополнено и уточнено в свете результатов исследований последних лет, в которых, например, ставится вопрос о существовании славянских «генуинных гидронимов, т.е. таких, у которых апеллятивная стадия отсутствует» [12].

ческое членение ономастического пространства, в особенности топонимики, зависит нередко от теоретической концепции исследователя, и соответствующие термины, говоря словами Н. А. Слюсаревой, носят «концепциально-авторский» характер [11]. Если в советской лингвистической литературе по ономастике обычно используются термины с интернациональными (греческими и латинскими) основами или элементами, то в некоторых европейских языках предпочтение отдается национальной ономастической терминологии. В этом отношении резко выделяются английская и немецкая ономастические терминологические системы, пользующиеся, как правило, национальными терминами. В рамках данной статьи рассматриваются словообразовательные особенности как макро- так и микротопонимов, и при этом основное внимание уделяется названиям континентов, стран, областей, городов и других населенных пунктов.

Внутренняя структура топонимов значительно сложнее, чем структура антропонимов. Она сложна также в смысле выявления мотивационных отношений между компонентами топонимов и существенно отличается от словообразовательной мотивированности производных апеллятивов. С точки зрения внутреннего строения топонимы можно разделить на три большие группы: простые, производные и составные. Под производными словами вслед за Е. С. Кубряковой понимается «любая вторичная, т. е. обусловленная другим знаком или совокупностью знаков единица номинации со статусом слова независимо от структурной простоты или сложности последнего» [13]. Дальнейшая детализация производных приводит к выявлению лексико-семантических, т. е. безаффиксальных, суффиксальных и сложных топонимов. Таким образом, в структурно-словообразовательном отношении на материале немецкого топонимического материала можно выделить пять типов: простые или непроизводные, бессуффиксально-производные, суффиксально-производные, сложные и составные топонимы.

1. Простыми, или непроизводными, считаются такие топонимы, которые в синхронном плане невозможно членить на более мелкие структурно-семантические единицы, хотя при этимологическом анализе большинство из них могут оказаться мотивированными основами, например, ойконимы *Aachen*, *Berlin*, *Dresden*, *Halle*, *Köln*, *Leipzig*; гидронимы *Alster*, *Ilm*, *Main*, *Saale*, *Rhein* и т.д. Подобного рода топонимы можно было бы назвать тополексемами [1, с. 37].

2. Бессуффиксально-производные топонимы. Сюда относятся наименования географических объектов по местоположению относительно других географических объектов. В большинстве случаев — это ойконимы, мотивированные посредством потамонимов и оронимов, ср. ойконим *Pegnitz* и потамоним *Pegnitz*, ойконим *Camberg* и ороним *Camberg* и т. п. В бессуффиксальное словопроизводство вовлекаются также иноязычные топонимы, например, *das Biskaya* «Бискайя (провинция в Испании)» и *die Biskaya* «Бискайский залив», *der Illinois* «Иллинойс (река — приток Миссисипи)» и *das Illinois* «Иллинойс (штат США)» и др.

3. Суффиксально-производные топонимы. Внутри данного типа топонимов выявляется несколько подтипов (по степени мотивированности и членимости компонентов, а также по характеру соотношений с неономастической лексикой и используемых словообразовательных средств). В отличие от русского немецкий язык располагает специальными ономастическими суффиксами, функционирующими исключительно в топонимической сфере и являющимися, таким образом, топоформантами в строгом смысле этого слова. Таковыми являются *-a* (ойконимы *Borna*, *Bucha*, *Erla*, *Schilfa*, *Steina*), *-ach* (гидронимы *Durrach*, *Salzach*, *Steinach*) и суффиксы славянского происхождения [14]: *-(w)itz* (ойконимы *Bahnitz*, *Dornitz*; гидронимы *Lockwitz*, *Regnitz*), *-ow* (ойконимы *Buchow*, *Treptow*), *-au* (ойконимы *Döhlau*, *Luckau*, *Zwickau*) и т.п. В составе многих из них могут быть вычленены функционирующие в апеллятивной лексике автономно лексемы: *Buch* «бук», *Schilf* «камыш; тростник», *Stein* «камень», *Salz* «соль», *Dorn* «1) колючка; терн; (бот.) шип; 2) слива колючая, терн»

и т.д. Здесь очевидна роль ландшафта, обусловливающего состав соответствующей лексики, используемой для создания топонимов. Одним из продуктивных ономастических формантов в немецком языке является суф. *-ien*, с помощью которого образованы названия государств (*Albanien*, *Argentinien*, *Äthiopien*, *Brasilien*, *Großbritannien*, *Spanien*), областей (*Andalusien*, *Galizien*, *Sibirien*), островов и полуостровов (*Sizilien*, *Skandinawien*, *Tasmanien*), частей света (*Asien*, *Australien*) и т.д.

Помимо чисто ономастических суффиксальных средств немецкая топонимика в процессе внутреннего словопроизводства пользуется суффиксами, омонимичными апеллятивным формантам. Так, морфема *-en*, широко распространенная в формообразовании разных частей речи (суффикс мн. числа, падежный маркер слабого склонения существительных, глагольная флексия и т.п.), используется в топонимической лексике для образования названий стран и областей: *Ägypten*, *Norwegen*, *Polen*, *Schweden*, *Hessen*, *Preußen*, *Thüringen*, *Sachsen*. Названия некоторых государств и (исторических) областей образованы с помощью суф. *-ei*, обнаруживающего большую продуктивность в апеллятивной лексике: *Berberei*, *Lombardei*, *Mongolei*, *Tschechoslowakei*, *Türkei*, *Walachei* и т.п.

Некоторые языковеды рассматривают конечные компоненты топонимов в качестве особых суффиксов. Однако, как правило, это бывшие вторые компоненты сложных слов, и в современном немецком языке все еще ощущается их некоторое родство с апеллятивами, но в своем формальном облике они обнаруживают существенные отличия от последних (ср. ономастические суф. *-hausen* и *-stedt* и апеллятивы *Haus* и *Stadt*). Учитывая дериватологическую терминологическую традицию в советской германистике [15], применительно к такого рода топоэлементам было бы целесообразно использовать термин «топонимический полусуффикс» с той оговоркой, что полусуффиксы в апеллятивной лексике могут характеризоваться признаками, отсутствующими в топонимах. Термин «полусуффикс» по отношению к рассматриваемым топоэлементам правомерен потому, что здесь налицо деконкретизация лексической семантики и расширение значения в плане топонимической категоризации: не конкретное географическое понятие леса, горы, холма, воды и т.п., а «топонимичность» объекта вообще. В подобного рода сложных топонимах произошло, по словам В. Флейшера, функциональное переосмысление (Umfunktionierung) [9] апеллятивов. Список таких полусуффиксов включает значительное количество элементов, и данный способ образования топонимов в немецком языке можно считать доминирующим, ср. *-bach*, *-berge*, *-feld(e)*, *-fels*, *-furt*, *-hain*, *-heide*, *-see*, *-tal* (*-thal*), *-wald(e)* и т. п.: ойконимы *Auerbach* (округ Карл-Маркс-Штадт), *Ansbach* (Бавария), *Reichenbach* (округ Цвиккау), *Falkenberg* (округ Котбус), *Freiberg* (округ Карл-Маркс-Штадт), *Heidelberg*, *Wittenberg* и др. и соответствующие апеллятивы: *Bach* «ручей», *Berg* «гора», *Feld* «поле», *Fels* «скала», *Furt* «мель; перекат; брод», *Hain* «роща; дубрава», *Heide* «поле; луг, сосновый бор», *Mühle* «мельница», *Tal* «долина», *Wald* «лес» и т.п. Функционирование аналогичных компонентов в составе топонимов, с одной стороны, и в апеллятивах, с другой, имеет разные грамматические последствия для производных существительных, прежде всего для их родовой характеристики. Так, решающим фактором при определении рода топонимов оказывается не их структура, как это обычно имеет место в сфере имен нарицательных, а их отнесенность к тому или иному классу топонимов. Например, все ойконимы в немецком языке среднего рода независимо от того, каким родовым показателем характеризуется коррелирующий с последним компонентом апеллятив, ср. *die Burg* «крепость», *der Berg* «гора», *der Wald* «лес», *das Feld* «поле», *die Heide* «поле, луг», *die Stadt* «город», но: *das* (*grosse*, *kleine*, *grüne*, *schöne*) *Brandenburg*, *Hamburg*, *Falkenberg*, *Wittenberg*, *Fürstenwalde*, *Saarfeld*, *Schwanheide*, *Karl-Marx-Stadt* и т.д. Под это правило «подстраиваются» также все иноязычные ойконимы. Разные разряды топонимов имеют различные родовые показатели, если даже в качестве их последних компонентов выступает один и тот же топонимический индикатор, например, (*die*) *Mainau* «о-в Майнау» и (*das*) *Landau* «г. Ландау в Пфальце», (*das*)

Greifswald «г. Грейфсвальд» и (*der*) *Schwarzwald* (горы и область в Германии). Если последние компоненты топонимов имеют корреляты в виде апеллятивов, соотносительных с первыми как формально, так и в семантическом отношении, т. е. топоним относится к разряду тех объектов, на который указывает апеллятивный компонент, то их следует рассматривать в качестве вторых компонентов сложных топонимов, например, *die Stadt* «город» и *Karl-Marx-Stadt*, *Eisenhüttenstadt*.

4. Составные топонимы в немецком языке относительно малочисленны. Они характерны для полных названий государств: *die Deutsche Demokratische Republik*, *Vereinigte Arabische Emirate*, *Zentralafrikanisches Kaiserreich* и т.д. Составные имена функционируют также в качестве названий некоторых городов и других населенных пунктов: *Frankfurt an der Oder*, *Mühlberg an der Elbe*. Таким названиям городов свойственна орфографическая и морфологическая нестабильность, ср.: *Frankfurt-am-Main*, *Frankfurt* (*Main*), *Frankfurt/Main*. *Frankfurt-Main*, *Frankfurtmain*.

Удельный вес каждого из типов топонимов зависит как от разновидности и их места в иерархии топонимов (т. е. от того, являются ли они названиями государств, крупных городов или других населенных пунктов и т.п.), так и от сферы их функционирования. Показательны в этом отношении названия государств, имеющие две формы: полную (официальную) и более употребительную краткую *Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien* и *Jugoslawien*, *Vereinigte Republik Kamerun* и *Kamerun*, *Großherzogtum Luxemburg* и *Luxemburg*. Анализ списка названий государств, представленных в словаре современного немецкого языка под ред. Р. Клаппенбах и В. Штайнитца [16], показывает, что официальные полные названия государств являются в основном составными (145 из 156 топонимов). Исключение составляют: *Äthiopien*, *Australien*, *Barbados*, *Fidschi*, *Grenada*, *Jamaika*, *Japan*, *Kanada*, *Malaysia*, *Mauritius*, *Neuseeland*, в то время как без кратких форм представлено 11 составных названий государств (*El Salvador*, *VDR Jemen*, *Koreanische VDR*, *San Marino*, *Sri Lanka*, *Trinidad und Tobago* и т.д.). Весь корпус кратких названий государств по типам основ распределяется следующим образом: 1) простые (непроизводные) — 87 (55,77%), 2) производные — 28 (18,58%), 3) сложные — 26 (16,6%), 4) составные — 11 (7%), 5) аббревиатуры — 3 (1,9%).

Принцип формальной поляризации ИС и ИН, постулированный Е. Куриловичем [17], прослеживается достаточно последовательно в морфологии ИС в узком смысле слова. Однако специфика лексического значения ИС предопределяет также ряд их особенностей в словообразовательной системе языка, в частности, в словопроизводстве. Сопоставление деривационных потенций ИС и ИН в качестве производящих основ свидетельствует об относительной бедности суффиксальных моделей как в количественном отношении (по данным Словаря словообразовательных элементов немецкого языка под ред. М. Д. Степановой из 182 суффиксов и полусуффиксов существительных, сочетающихся субстантивными производящими основами, лишь 32 встречаются при основах имен собственных и 22 при топонимических производящих основах), так и в плане содержательном: оттопонимические производные либо терминологичны, либо нередко обозначают группы предметов, близкие к номенам. «Лексическая неполноценность» ИС имеет определенные последствия также для их функционирования в составе словообразовательных моделей в качестве производящих основ. Иначе говоря, лексическая дефектность ИС влечет за собой также их деривационную дефектность, проявляющуюся прежде всего в том, что если в сфере ИН явно доминирует межкатегориальное словопроизводство (в особенности взаимопереход в результате словообразовательного процесса полярных частей речи), то область ИС в основном ограничивается внутрикатегориальным словопроизводством. Положение о том, что «чем полярнее части речи, тем большим взаимопроникновением они характеризуются в деривационном отношении» [18], т. е. наиболее продуктивной категориальной моделью словопроизводства является «существительное ↔ глагол», практически не играет

существенной роли в сфере ИС. Напротив, от глаголов не могут быть образованы топонимы, а оттопонимические производные глаголы редки. Категории, конституируемые оттопонимическими производными, однообразны в семантическом отношении и, как правило, лишены стилистического потенциала. Все это обусловлено ничтожно малым числом ассоциативных и структурных связей имен собственных по линии содержания [19]. Индивидуальное значение топонимов оказывает постоянное давление на семантическую структуру соответствующих суффиксальных производных, налагая достаточно жесткие ограничения на развитие их полисемии. Семантико-синтаксическое «развертывание», т. е. семантическая перифраза производных типа *Berliner*, приводит к выявлению следующей предикативной структуры «jmd., der in Berlin wohnt». Таким образом, при объяснении значения оттопонимических производных в конечном счете лингвист обращается к топониму, который, будучи индивидуальным ономасиологическим признаком, сужает смысловой объем соответствующих производных. Каждое существительное, образованное от апеллятивов, как пишет Е. С. Кубрякова, подразумевает собой относящийся к имени предикат [20], а внутренний синтаксис таких производных имплицирует большое количество различных предикативных структур. Характер приписываемых мотивирующему имени предикатов служит способом выявления омонимии словообразовательных моделей, например, *телятник* — «помещение для телят» (предикат *помещать в*, *содержать в*) и одновременно — «человек, который за ними ухаживает» (предикат — *ухаживать*, *следить за*) [20]. В отличие от этого внутренний синтаксис оттопонимических производных, например, обозначений лица при категориальной однородности объектов топонимов эксплицируется, как правило, в виде предиката «*живет в*» (например, *Berliner* → jmd., der in Berlin wohnt; Einwohner Berlins). Иначе говоря, значения оттопонимических моделей могут быть предсказаны с несравненно большей степенью вероятности, чем значения производных от апеллятивов. Такая специфика оттопонимических обозначений лица обусловливает тенденцию выделить этнонимы в особую группу, класс существительных. Отметим, что А. А. Белецкий подверг сомнению правомерность включения этнонимов в класс ИС и ИН [21].

В процессе словопроизводства топонимы в качестве производящих основ претерпевают значительные изменения как в плане выражения, так и в семантическом отношении. Присоединение суффикса к топооснове вызывает значительные морфонологические деформации ее исхода или ее компонентов, если топооснова является составной или сложной. Топонимы в качестве производящих основ сочетаются со значительным числом суффиксов, большинство из которых представляет собой иноязычные словообразовательные форманты, обнаруживающие разную степень продуктивности и частотности. Среди них можно выделить суффиксы, сочетающиеся только с топоосновами (таковы, например, расширенные за счет латино-романских элементов варианты суф. *-er*: *-iner*. *-iter*, *-ener*, *-eser*, *-enser*, *-ienser*, *-itaner*, *-azenser*: *Hondurener*, *Moskowiter*, *Capreser*, *Jenenser*, *Neapolitaner* и т.п.).

Словообразовательная активность топооснов обнаруживает тесную связь с социальной значимостью денотатов топонимов. Максимальной продуктивностью обладают названия крупных физико-географических и и политико-административных единиц. Минимальная словообразовательная активность характерна для названий мелких и относительно мелких населенных пунктов, недостаточно крупных гор и местностей. Богатым набором производных и сложных слов представлены гнезда топооснов — названий частей света, стран, крупных городов, что обусловлено их большой ролью в общественной (политической, экономической, культурной) жизни, важностью и актуальностью тех или иных ситуаций и событий, происходящих в отдельных частях земного шара, в отдельных странах и т.д. Такие топоосновы, как *Afrika*, *Amerika*, *Europa* и т.п., создают наиболее разветвленные, практически открытые гнезда (ср., например, класс существительных с топоосновой *Europa*: *Europäer*, *Europatum*,

Europäismus, *europäid*, *Europide*, *Europoide*, *Europäide*, *europäisch*, *europäisieren*, *europid*, *Europium*, *Eurasien*, *Euratom*, *europamüde*, *Europapokal*, *Europarat*, *Europameister* и т. п.). Положение В. Бланара о том, что словообразовательные гнезда в системе антропонимов богаче, чем в системе топонимов [22], относится, по-видимому, к эндоцентрическому словообразованию, т. е. к способности антропонимов создавать значительное число кратких и гипокористических форм.

В реализации словообразовательных потенций топооснов существенную роль играет также их структура, а именно: является ли топоним лексически однокомпонентным или наряду с наличием его общепринятой краткой формы существует составное, т. е. поликомпонентное официальное название (например, государства или другого географического и политико-административного единства). Ср., например, в связи с этим словообразовательные возможности простого топонима *Amerika* (аббревиатуры *die USA*) и составного названия — *die Vereinigten Staaten von Amerika*. Топоним *Amerika* продуктивен в словопроизводстве, *die USA* — в словосложении, а словообразовательная потенция составного топонима равна нулю.

Топоним в качестве определяющего компонента входит в состав сложных апеллятивов, например, *Rheinfall*, *Oder-Neiße-Friedensgrenze*, *UdSSR-Initiative*, *USA-Politik*, *DDR-Mannschaft*, *BRD-Anmaßung*. Гибридные существительные, созданные по модели «топоним + апеллятив», обладают большой продуктивностью и высокой частотностью в прессе, материалы которой изобилуют композитами-окказионализмами, созданными «для данного случая» (ad hoc-Bildungen). Такие композиты служат, как отмечает В. М. Павлов, «семантическому лаконизму, структурной спаянности синтаксической группы» [23]. Это свойство гибридных композитов обусловливает их частое использование в качестве заголовков газетных статей, особенно в сообщениях из области спортивной жизни, ср.: *DDR-Elf hielt zeitweise gut mit*, *DDR-Schwimmer kamen zu vier Siegen in Toronto*, *DDR-Trio gab den Ton an*, *Zum Auftakt der DDR-Hallenrunde der Tennisspieler* и т. п.

Продуктивность оттопонимических моделей с тем или иным суффиксом зависит от территориальных факторов. Так, при образовании обозначений лица от исконно немецких топонимов, т. е. названий географических объектов, находящихся на территории ГДР и ФРГ, никогда не используется суффикс романского происхождения *-ese*, в то время как обозначения лица от названий ряда государств, городов и областей других стран образуются путем присоединения к топооснове именно данного суффикса, ср.: *Berliner*, *Hamburger*, *Karl-Marx-Städter*, но: *Bolognese*, *Kalabrese*, *Milanese*, *Sudanese*, *Vietnamese*, *Veronese* и т. п. Наиболее универсальным и высокопродуктивным суффиксом, посредством которого от топооснов образуются существительные — обозначения лиц, является суф. *-er*.

Проанализируем с точки зрения словообразовательной структуры производные существительные — обозначения лиц от названий государств. Из 156 названий государств 103 образуют обозначения лица с помощью суф. *-er* (*Ägypter*, *Albaner*, *Algerier*, *Australier*, *Äthiopier*), с помощью иноязычного суф. *-ese* образовано 11 обозначений лица (*Burmese*, *Chinese*, *Kongolese*, *Nepalese* и т. д.), обозначения представителей 16 государств оканчиваются на *-e*, морфемный статус которого является спорным (*Afgane*, *Brite*, *Bulgare*, *Däne*, *Grieche*, *Finne* и т. п.), 10 существительных образовано с помощью лексемы *Bürger*: *DDR-Bürger* «гражданин ГДР», *BRD-Bürger* «гражданин ФРГ», *Sowjetbürger* «советский гражданин, гражданин СССР» и др., 5 обозначений лица образованы с помощью единичных суффиксов по различным моделям (*Chile* — *Chilene*, *Israel* — *Israeli*, *Frankreich* — *Französe*, *Guatemala* — *Guatemalteke*, *Malta* — *Malteser*). От названия 9 государств невозможно образовать обозначения лица в сочетании с суффиксами: *Elfenbeinküste*, *Guinea-Bissau*, *die Komoren*, *Papua-Neuguinea*, *São Tome und Principe* и др. Существование модели с лексемой *Bürger* может быть объяснено сугубо социаль-

но-политическими причинами. Во-первых, некоторые единые в прошлом государства оказались в силу тех или иных исторических событий разделенными на два самостоятельных государства с разным общественно-политическим строем, например: *die DDR* (*Deutsche Demokratische Republik*) и *DDR-Bürger*, *BRD* (*Bundesrepublik Deutschland*) и *BRD-Bürger*, *KVDR* (*Koreanische Volksdemokratische Republik*) и *KVDR-Bürger*, *Südkorea* (соответствующее обозначение лица отсутствует), *JAR* (*Jemenitische Arabische Republik*) и *JAR-Bürger*, *VDRJ* (*Volksdemokratische Republik Jemen*) и *VDRJ-Bürger*.

Если государство представляет собой федерацию или союз народов разных национальностей или автономных единиц, то обозначение лиц — гражцан данного государства образуется с помощью лексемы *Bürger*: *die Sowjetunion*, *die UdSSR* (*Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken*) и *Sowjetbürger*, *die USA* (*Vereinigte Staaten von Amerika*) и *USA-Bürger* или *US-Amerikaner*.

Являющийся наиболее продуктивным при образовании оттопонимических обозначений лица суф. *-er* присоединяется как к собственно немецким топоосновам, так и к топонимам иноязычным. Взаимодействие суф. *-er* со своими расширенными вариантами, с одной стороны, и с иноязычными суффиксами, с другой, приводит к их столкновению, конкуренции при одних и тех же производящих основах, что обусловливает сосуществование словообразовательных дублетов, находящихся в отношении свободного варьирования. При этом наиболее «экспансивным» конкурентом по отношению к другим суффиксам выступает суф. *-er*, например: *Athener — Athenienser*, *Albaner — Albanier*, *Bolivier — Bolivianer*, *Burmane — Burmese*, *Bremer — Bremenser*, *Jener — Jenenser*, *Kalabrier — Kalabrese*, *Kanaaniter — Kanaanär*, *Katalane — Katalonier*, *Zyprer — Zypriot*, *Kairoer — Kairene — Kairiner*, *Tokioer — Tokiaer — Tokioter*, *Sofiaer — Sofiote*. Как явствует из примеров, обилие вариантов характерно прежде всего для производных, образованных от иноязычных топонимов.

Присоединение суффикса к топооснове может вызвать определенные модификации ее финали. Такие модификации обязательны не для всех производных основ. Они зависят от характера самого исхода топооснoвы и от фонетической структуры словообразовательного форманта (суффикса). К морфонологическим модификациям топооснов в процессе словопроизводства можно отнести усечение, изменения в акцентологической структуре (мена ударения), интерфиксацию чередование гласных и согласных. В акте словопроизводства разного рода модификациям могут быть подвергнуты и корневые основы или их компоненты (при сложных и составных основах). К такого рода модификациям относятся чередование корневого гласного по умлауту, опущение одного или более компонентов сложных и составных топонимов в процессе их универбации.

Усечение. Производящая основа нередко сохраняет свой морфонологический облик полностью, и суффикс присоединяется к ней автоматически: *Bhutan-er*, *Benin-er*, *Berlin-er*, *Moskau-er*, *Vietnam-ese*, *Aragon-it*, *Vesuv-it*. Как правило, усечению подвергается ономастический суф. *-en* и его расширенный вариант *-ien*: *Ägypter*, *Argentinier*, *Australier*, *Inder*, *Lybier*, *Spanier*, *Sibirier*, *Göttinger*, *Solinger*, *Zyprer*, *Burghauser*. При образовании некоторых оттопонимических существительных усечение *-en* является факультативным, а в отдельных случаях оно вообще не усекается, ср.: *Nordhausen-Nordhauser-Nordhäuser-Nordhausener*, *Saarbrükken-Saarbrückener-Saarbrücker*, *Dresdener*, *Neukirchner*, *Bautzener*. Усечению подвергаются иногда конечные *-a*, *-i*, *-o*, *-u*, *-on*, *-as*, *-os*: *Gayana—Gayaner*, *Lesotho — Lesother*, *Libanon — Libanese*, *Bahamas — Bahamer*.

Интерфиксация. Усечение нередко сочетается с интерфиксацией, т. е. появлением фонемы или комплекса фонем на стыке между производящей основой и суффиксом. Однако интерфиксация может выступать и самостоятельно, без сопутствующего усечения: *Andorra-n-er*, *Angola-n-er*, *Brasil-ian-er*, *Equador-ian-er*, *Fidschi-an-er*, *Hondur-an-er*, *Jamaika-n-er*, *Kongo-l-ese*, *Marokk-an-er*.

Умлаут. Чередованию по умлауту подвергается, как правило,

корневое *a*, иногда *o* и дифтонг *au*, а гласный *u* такой перегласовке не подвержен: *Engländer*, *Karl-Marx-Städter*, *Isländer*, *Nordhäuser*, но: *Greifswalder*, *Frankfurter*, *Weimarer* и т. д.

Ударение. Словообразовательный процесс вызывает иногда изменение акцентологической структуры слова. В оттопонимических образованиях ударение перемещается с корневой морфемы на словообразовательный формант. Перемещение ударения имеет место прежде всего в том случае, если производящая основа — иноязычного происхождения; при немецких топоосновах перемещение ударения наблюдается в тех случаях, когда к топоосновам присоединяются расширенные варианты суффиксов с интерфиксами *-an-*, *-ian-*, *-ens-*, *-it-*, а также суф. *-ese-*, *-aise-*, *-it*, *-iade* и т. д., ср.: *Jamaika-Jamaikaner*, *Panama—Panamaer*, *Japan—Japaner*, *Katar — Katarer*, *Italien — Italiener*, *Chile — Chilene*, *Kongo — Kongolese*, *Jena — Jenenser*.

В процессе словообразования некоторые топоосновы претерпевают уникальные, непредсказуемые изменения: *Monaco — Monegasse*, *Madagaskar — Madagasse*, *Guatemala — Guatemalteke*.

Универбация. Образование апеллятивных существительных от составных топонимов путем суффиксации сопровождается существенными изменениями в структуре производящих основ. Прежде всего, компоненты составных топонимов лишаются своей формальной раздельнооформленности, т. е. имеет место компрессия их в однословные, цельнооформленные названия. Укажем на следующие виды универбации: 1) все компоненты составного топонима входят в цельнооформленную и пишущуюся слитно основу производного апеллятива: *San Marino — Sanmarinese*, *Sierra Leone — Sierraleoner*, *Sri Lanka — Srilanker*; 2) один из компонентов составного топонима опускается: *El Salvador — Salvadorianer*, *Trinidad und Tobago — Trinidader*; 3) путем опущения апеллятивного компонента составного топонима: *Dominikanische Republik — Dominikaner*, *Zentralafrikanisches Kaiserreich — Zentralafrikaner*, *Bad Blankenburg — Blankenburger*, *Bad Freienwald* (округ Франкфурт на Одере) — *Freienwalder*, *Bad Kissingen — Kissinger*, *Bad Lauchstädt — Lauchstädter*, *Bad Sülze* (округ Росток) — *Sulzer*, *Burg Stargard* (округ Нейбранденбург) — *Stargarder*, *Krakow am See* (округ Шверин) — *Krakower*. Может опускаться также антропонимический компонент: *Wilhelm-Pieck-Stadt Guben — Gubiner*; 4) универбация имени существительного может быть достигнута путем опущения одной из частей какого-либо сложного компонента составного топонима: *Rhode Island* (североамериканский штат) — *Rhodeländer*.

В ряде случаев ранее самостоятельные близко расположенные друг к другу и соответственно имевшие свои собственные названия города соединились и образовали один, более крупный город. Имя нового административно-территориального единства вбирает в себя названия этих двух городов. Таким образом образуются сложные топонимы, характеризующиеся орфографически дефисным написанием, например, *Annaberg-Buchholz*, *Ribnitz-Damgarten*. При этом жители, проживающие в той части города, которая называлась *Annaberg*, называют себя *Annaberger*, между тем как жители другой части города называют себя соответственно *Buchholzer*, ср. далее: *Ribnitz-Damgarten*, но: *Ribnitzer* и *Damgartner*.

Имеется ряд простых, сложных и составных топонимов (названий государств, островов, городов и других населенных пунктов), которые не участвуют в суффиксальном словопроизводстве в качестве производящих основ, например: *die Komoren*, *São Tome und Principe*, *die Seychellen*, *Singapur*, *Aue* (округ Карл-Маркс-Штадт), *Glashütte*, *Königs Wusterhausen*, *Leuna*, *Kaltwasser* (округ Дрезден), *Salzgitter*, *Schwarze Pumpe* (округ Котбус), *Weiswasser* (округ Котбус), *Meerane* и т. п. В этих случаях значение «житель населенного пункта X» или «гражданин государства X» выражается описательно с помощью модели *Ich bin aus X* (*Ich bin aus Aue*, *Glashütte*, *Königs Wusterhausen*, *Schwarze Pumpe* и т. п.).

В рамках оттопонимических существительных можно вычленить следующие семантические разряды:

1) Обозначения лиц — представителей национальностей, жителей го-

сударств, городов, населенных пунктов, островов и других географических районов. Среди них особую продуктивность обнаруживают обозначения лиц по национальной, государственной принадлежности, а также по их месту жительства. Наиболее универсальным словообразовательным средством для образования обозначений лица от топооснов является суф. *-er*. Внутренняя валентность суф. *-er* при топоосновах теоретически не имеет ограничений, в то время как при апеллятивных основах, несмотря на его большую продуктивность и высокую частотность, на него налагается ряд существенных запретов, частично обусловленных наличием значительного количества иноязычных суффиксов (ср.: *-ist*, *-ant*, *-ent*, *-loge*, *-or*, *-eur* и т. д.), конкурирующих с ним и с его расширенными вариантами, например, с *-er*: *Argentinier*, *Brasilier*, *Berliner*, *Engländer*, *Iraker*, *Iraner*, *Italiener*, *Japaner*, *Leipziger*, *Leningrader*, *Moskauer*, *Norweger*, *Schweizer* и др.; с *-ner*: *Afrikaner*, *Jamaikaner*, *Javaner*, *Koreaner*, *Kubaner*, *Trojaner*; с *-aner*: *Bolivianer*, *Brasilianer*, *Hannoveraner*, *Kolumbianer*, *Neapolitaner*, *Peruaner*, *Tibetaner* и т. д.; с *-ener*, *-iner*, *-eser*, *-iter*, *-enser*: *Anhaltiner*, *Damaszener*, *Florentiner*, *Hondurener*, *Hallenser*, *Jenenser*, *Kanaaniter*, *Malteser*, *Samariter* и т. д. В образовании оттопонимических обозначений лица участвуют также некоторые иноязычные суффиксы, например, *-eke*, *-ene*, *-ese*, *-ote*: *Guatemalteke*, *Ceylonese*, *Genuese*, *Javanese*, *Bolognese*, *Chinese*, *Chilene*, *Kairene*, *Milanese*, *Sudanese*, *Sofiote*, *Tokioter*, *Vietnamese*, *Korfiot(e)* «житель (острова) Корфу» и др.

2) Обозначения лиц по роду занятий, специальности, увлечениям: *Ägyptologe*, *Japanologe*, *Sinologe*, *Syrologe*, *Alpinist*, *Amerikanist*, *Iranist* и др.

3) Обозначения лиц по склонностям, отрицательным свойствам: *Abderit* «глупый, ограниченный, косный человек (подобный жителям города Абдеры, отличавшимся, по преданию, этими качествами)», *Böotier* «наивный (простодушный, несообразительный) человек; простофиля», *Lesbierin* «лесбийка, лесбиянка». Сюда же относится *Römling* (пренебр.) «папист».

4) Обозначения лиц по их принадлежности к научным течениям, религиозным обществам, сектам, орденам: *Albigenser* «альбигоец (член французской религиозной секты XVIII в.)», *Kluniazenser* «член монашеского ордена (по названию французского монастыря Cluny)».

5) Обозначения лиц по их расовой принадлежности: *Austroloide* «австролоид, человек австролоидной расы», *Europoide* «представитель европеоидной расы».

6) Обозначения отраслей знаний, социальных и религиозных течений и учений: *Ägyptologie*, *Amerikanistik*, *Anglistik*, *Byzantinistik*, *Gallikanismus*, *Iranistik*, *Sinologie*, *Niederlandistik* и т. д.

7) Обозначения абстрактных понятий, качеств, состояний, черт характера людей: *Amerikanismus* «(пренебр.) подражание всему американскому; (лингв.) американизм», *Austriazismus* «(лингв.) австриацизм (особенность, присущая немецкому языку в Австрии)», *Anglizismus* (лингв.) «англицизм», *Byzantinismus* «низкопоклонство, раболепие», *Gaskognade* «хвастовство, бахвальство», *Lakonismus* «лаконизм, лаконическое выражение» и т. д.

8) Обозначения машин, инструментов, технических приспособлений, а также других предметов: *Bajonett* «(воен.) штык (по названию города *Bayonna* во Франции)», *Berliner* m., *Berline* f. «берлин (старинная карета)», *Grönländer* «(спорт.) одноместная байдарка; каяк», *Holländer* «цел. ролл; педальная тележка (детская)», *Holländerin* «(голландская) сигара», *Kanadier*» «(спорт.) канадское каноэ; (австр.) мягкое кресло», *Norweger* «норвежские коньки», *Römer* «бокал (суживающийся кверху)» и т. д.

9) Обозначения видов пищи: *der Amerikaner* «сахарное печенье», *der Bosniak(e)* «(австр.) хлеб из темной муки», *Debreziner* (pl.) «(австр.) пикантные сосиски», *der Edamer* «эдамский сыр (по городу Эдам)», *die Frankfurter* «полукопченая сосиска», *der Hamburger* «бифштекс по-гамбургски», *der Roux* «растопленное масло, масляная подливка», *der Kameruner* «камерунское (сорт печенья)», *die Mayonnaise*, *Mayonäse* «(кул.) майонез (по названию местности на Балеарских островах)» и т. п.

10) Названия различных видов напитков (вин, соков), производи-

мых в той или иной местности, растений (кофе, табака), фруктов: *der Burgunder* «бургундское вино (от названия исторической провинции во Франции Burgund», *der Champagner* «шампанское (от названия исторической провинции во Франции), *der Falerner* «фалернское вино (от названия города в Италии)», *der Gravensteiner* «яблоко сорта Гравенштейн», *die Grenadille* «гренадилла (фрукт)», *der Kachetiner* «кахетинское вино», *der Kartäuser* «шартрез (ликер) — по названию монастыря», *das Pilsener*, «пильзенское пиво», *das Radeberger* «радебергское пиво», *der Tokajer* «токай, токайское вино (по названию венгерского города)» и др.

11) Обозначения животных (пород лошадей, собак и других представителей животного мира): *Ardenner* «арден (порода тяжеловозных лошадей)», *Belgier* «лошадь бельгийской породы», *Bernhardiner* «сенбернар», *Bologneser* «болонка», *Dalmatiner* «далматинец (порода сторожевых собак)», *Hannoveraner* «ганноверская лошадь», *Neufundländer* «водолаз», *Pekinese* «китайский мопс, пекинос», *Spaniel* «спаниель», *Tarantel* «(зоол.) тарантул (по названию города Taranto в Италии)», ср. далее: *Abessinier*, *Barnvelder*, *Berkshire*, *Andalusier*, *Briard*, *Lipizzaner*, *Graditzer*, *Groninger*, *Malinois*, *Malteser*, *Münsteraner*, *Tereker* и т. д.

12) Названия песен и танцев: *Bergamesca* (от *Bergamo*), *Habanera* (от *Habana*), *Krakowiak* (от *Krakow*,), *Mazurka* (от *Mazuren*), *Moldavanesca* (от *Moldau*), *Polonaise*, *Tarantella*, *Tirolienne*, *Warschawjanka* и др.

13) Названия ковров, тканей, видов одежды и других изделий: *die Grenadine* «гренадин (плательная и подкладочная ткань)», *der Kalabreser* «калабрийская шляпа (фетровая с широкими полями)», *die Levantine* «левантин (шелковая ткань)», *die Napolitaine* «шерстяная фланель», *die Parisienne* «шелковая ткань», *der Perser* «персидский ковер» и др.

14) Названия денежных единиц: *Afgani*, *Boliviano*.

15) Существительные со значением собирательности: *Acheulien* «(археол.) ашельская культура», *Alpinum* «сад с альпийской растительностью, альпийская горка, альпинарий», *Auversien* «оверский ярус (по г. Овер, Франция)», *Clactonien* «клэктон, клэктонская культура (по местн. Клэктон, Эссекс, Англия)», *Etroeungien* «этренские слои, этрен (по г. Этрен, Франция)» и др.

16) Названия геологических пород и химических элементов: *Andesit* «андезит (по названию горной цепи Анды)», *Aragonit* «арагонит (по области Арагон на северо-востоке Испании)», *Bauxit* «боксит (по дер. Бо, Прованс, Франция)», *Camptonit* «кемптонит (по сел. Кемптон, Англия)», *Liparit* «липарит (по Липарским островам)», *Karagandit* «карагандит (по г. Караганда, СССР)».

Многие из семантических разрядов, выявленных на материале немецкого языка, характерны также для оттопонимических производных существительных в других индоевропейских языках. Ср., например, англ. *Ceylonese* «цейлонец; цейлонка», *Egyptologer*, *Egyptologist* «египтолог», *Grecism* «грецизм; элементы подражания греческому стилю (в искусстве)», *Panazonian* «(амер.) гражданин США, живущий в зоне Панамского канала», *Japonism* «характерное японское выражение, японское художественное изделие», *Grecian* «эллинист», *Bolognan*, *-gnian* и *Bolognese* «уроженец или житель г. Болоньи», *Dalmatian* «далматский дог», *Waler* «уэльсец (австралийская порода лошадей)» и др.

Интересно проследить влияние топонима *Hamburg* и образованного от него апеллятива *hamburger* на развитие целого ряда названий видов кушаний в английском языке [24]. Существительные *Hamburg* и *hamburger* в английском языке имеют значение «бифштекс по-гамбургски; булочка с рубленым бифштексом». Компонент *-burger* присоединяется далее к многим другим обозначениям продуктов, и при этом *-burger* приобретает обобщенное значение бутерброда, а корневое слово обозначает обычно начинку бутерброда. Так возникли в американском варианте английского языка слова, употребительные в разговорной речи: *cheesburger* «бутерброд с сыром», *shrimpburger* [(*shrimp* «мелкая креветка») «бутерброд с креветками»]; ср. далее: *beef-burger*, *catfish-burger*, *chicken-burger*, *mutton-burger* и т. д.

Семантическая характеристика оттопонимических существительных не исчерпывается приведенными выше разрядами. Для определенного количества существительных характерна многозначность. Прежде всего это относится к производным с суф. *-er*. Можно указать на следующие наиболее распространенные семантические модели (виды) многозначности:

1) Обозначения лица по месту жительства, национальной и государственной принадлежности + обозначение лица по роду занятий или по чертам характера: *Älpler* «альпийский горец; пастух (скотовод) на высокогорном (альпийском) пастбище»; *Böotier* «беотиец, житель Беотии»; (перен.) «наивный (простодушный, несообразительный) человек; простофиля»; *Gaskogner* «гасконец; хвастун, бахвал»; *Schildburger* «(ист., лит.) гражданин города Шильды; обыватель, мещанин; простофиля, простак, дуралей»; *Schweizer* «швейцарец; дояр, скотник; швейцар; привратник (в католической церкви)».

2) Обозначения лиц по национальной, государственной принадлежности и месту жительства + обозначения инструментов, средств передвижения и других предметов и явлений, изобретенных, производимых или используемых в данной стране, населенном пункте, местности: *Alexandriner* «житель Александрии; (лит.) александрийский стих»; *Berliner* «берлинец, житель Берлина; (н.-нем.)пончик (с начинкой); берлин (старинная карета); дорожный узелок, сверток»; *Engländer* «англичанин; разводной, гаечный ключ»; *Grönländer* «гренландец; (спорт.) одноместная байдарка; каяк»; *Holländer* «голландец; голландский сыр; педальная тележка (детская); голландский шаг (коньки)»; *Holländerin* «голландка; (голландская) сигара»; *Kanadier* «канадец, житель Канады; (спорт.) канадское каноэ; (австр.) мягкое кресло»; *Niederländer* «нидерландец, голландец; (иск.) картина (полотно) художника голландской школы»; *Norweger* «норвежец; (pl.) норвежские коньки»; *Schwede* «швед; (pl.) (шведские) спички».

3) Обозначения лиц по месту жительства + обозначения пород животных: *Abessinier* «абиссинец; абиссинская порода кошки»; *Belgier* «бельгиец (житель Бельгии); лошадь бельгийской породы»; *Hannoveraner* «житель Ганновера; ганноверская лошадь»; *Malteser* «мальтиец, житель Мальты; мальтийская порода собак»; *Neufundländer* «житель Ньюфаундленда; водолаз (порода собак)»; *Pekinese* «житель Пекина; пекинос (порода собак)».

4) Обозначения лиц — жителей населенных пунктов и по этнической или государственной принадлежности + названия видов пищи: *Amerikaner* «американец; сахарное печенье»; *Bosniak(e)* «житель Боснии; (австр.) хлеб из темной муки»; *Debreziner* «житель г. Дебрецена; (pl. австр.) пикантные сосиски»; *der Frankfurter* «житель г. Франкфурта»; *die Frankfurter* «полукопченая сосиска»; *Hamburger* «житель г. Гамбурга, гамбуржец; бифштекс по-гамбургски»; *Kameruner* «житель Камеруна; камерунское (сорт печенья)».

5) Обозначения лиц + обозначения тканей, одежды: *Milanese* «миланец, житель Милана; сорт ткани»; *Perser* «перс; персидский ковер».

6) Обозначения единичных предметов, явлений или одушевленных существ: *Andalusier* «андалусская порода лошади; андалусская порода кур»; *Grenadine* «гренадин (плательная и подкладочная ткань); сок граната (по названию города в Испании)»; *Kartäuser* «шартрез (ликер); порода кошек», *Parisienne* «(полигр.) мелкий (жемчужный) шрифт; шелковая ткань», *Rheinländer* «житель Рейнской области, рейнлендер, рейнская (баварская) полька (народный танец)».

Многозначность оттопонимических существительных имеет место и в других языках. Ср.: англ. *Egyptian* «египтянин; египтянка; (амер.) житель южной части штата Иллинойс; (pl. разг.) египетские папиросы; (разг.) египетский хлопок»; *Grecism* «(лингв.) грецизм; элементы подражания греческому стилю (в искусстве)»; *Hamburg* «гамбургский мускат; гамбургская порода мелких кур-несушек, бифштекс по-гамбургски»; *Holländer* «голландец; голландка; голландское судно; (тех.) голландер, голлендер; (стр.) клинкер»; *Belgian* «бельгиец; бельгийка, бельгийский кролик; бельгийская лошадь».

Топонимы могут служить производящей основой не только имен су-

ществительных, но и глаголов. Глаголы, образованные от названий городов, областей, гор и т. п., относительно немногочисленны: *alpen* «[(швейц.) содержать скот на горных (альпийских) пастбищах, заниматься отгонным скотоводством (на горных альпийских пастбищах)]»; *berlinern* «говорить на берлинском диалекте»; *coventrieren* «разбомбить, стереть с лица земли (от названия английского города Ковентри, уничтоженного немецко-фашистской авиацией»); *hamburgern* «говорить на гамбургском диалекте (наречии)»; *sächseln* «говорить на саксонском диалекте (с саксонским акцентом)»; *damaszieren* (*den Stahl damaszieren*) «изготовлять дамасскую сталь».

Глаголы, образованные от названий частей света, государств, нередко имеют социально-политическую коннотацию. Если глагол образован от названия государства, стремящегося к освобождению от колониализма или неоколониализма и добивающегося независимости в политической, экономической и культурной областях, то он характеризуется положительной коннотацией, ср.: *малагасизация экономики*. Глаголы, образованные от названий государств, проводящих по отношению к другим странам и народам политику неоколониализма, агрессии и аннексий, осуждаемую прогрессивной мировой общественностью, имеют негативную социально-политическую коннотацию.

Итак, топонимы обнаруживают ряд деривационных особенностей, отличающих их от деривационных характеристик апеллятивов как в структурном (акцентологическом, морфологическом и морфонологическом), так и в семантико-стилистическом отношениях. Внутренняя структура топонимов характеризуется диффузностью отношений между их НС, выражающейся нередко в отрицательной членимости основ при достаточно четкой выделимости топоформантов. Топонимы в силу своей природы, т. е. территориальной «привязки», а также в силу своей непереводимости с одного языка на другой носят интернациональный характер. Как правило, отнесенность оттопонимических апеллятивов к тому или иному семантическому разряду оказывается обусловленной социальными, культурно-историческими и экономическими факторами.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Серебренников Б. А.* О методах изучения топонимических названий.— ВЯ, 1959, № 6.
2. *Никонов В. А.* Имя и общество. М., 1974, с. 6.
3. *Мурзаев Э. М.* Очерки топонимики. М., 1974.
4. *Бондалетов В. Д.* Русская ономастика. М., 1983.
5. *Суперанская А. В.* Общая теория имени собственного. М., 1973.
6. *Уфимцева А. А.* Лексическая номинация (первичная нейтральная).— В кн.: Языковая номинация. Виды наименований. М., 1977, с. 42.
7. *Панфилов В. З.* Философские проблемы языкознания. М., 1977, с. 58.
8. *Топоров В. Н.* Из области теоретической ономастики.— ВЯ, 1962, № 6, с. 7.
9. *Fleischer W.* Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig, 1976.
10. *Пауль Г.* Принципы истории языка. М., 1960.
11. *Слюсарева Н. А.* О типах терминов (на материале грамматики).— ВЯ, 1983, № 3.
12. *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики.— ВЯ, 1982, 4, с. 10.
13. *Кубрякова Е. С.* Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1981.
14. *Eichler E. et al.* Namenforschung heute. Ihre Aufgaben und Ergebnisse in der Deutschen Demokratischen Republik. Berlin, 1971, S. 90.
15. *Степанова М. Д.* Словообразование современного немецкого языка. М., 1953.
16. Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Bd. 6. Hrsg. von Klappenbach R. und Steinitz W. Berlin, 1978.
17. *Курилович Е.* Очерки по лингвистике. М., 1962, с. 256.
18. *Мурясов Р. З.* Словопроизводство и грамматические категории.— ВЯ, 1979, № 3.
19. *Уфимцева А. А.* Лексика.— В кн.: Общее языкознание. Внутренняя структура. М., 1972, с. 448.
20. *Кубрякова Е. С.* Теория номинации и словообразование.—В кн.: Языковая номинация. Виды наименований. М., 1977, с. 234.
21. *Белецкий А. А.* Лексикология и теория языкознания (ономастика). Киев, 1972.
22. *Blanar V.* Das spezifisch Onomastische.— In: Der Name in Sprache und Gesellschaft. Beiträge zur Theorie der Onomastik. Berlin, 1973, S. 44.
23. *Павлов В. М.* Семантика имен собственных и их роль в словосложении в современном немецком языке.— Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1960, т. 217, с. 137.
24. *Wentworth H., Flexner St.* Dictionary of American slang. New York, 1967.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1986

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

АСИНОВСКИЙ А. С., КУЗНЕЦОВА Е. Ж., ЛЮБЛИНСКАЯ М. Д., ЧЕРНЫШЕВА Л. В., ШЕВЧЕНКО Т. В.

К ВОПРОСУ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Создание автоматизированных информационных систем, т. е. систем, предназначенных для накопления, хранения, обработки и выдачи разнообразной текстовой информации, связано с кругом проблем технического, программного, математического и лингвистического обеспечения [1, с. 5]. Этим обусловлена необходимость союза лингвистов с программистами и математиками, союза, в котором заинтересованы обе стороны. Принципиальная возможность дальнейшего развития вычислительной техники и, прежде всего, «общения» с нею предполагает создание диалоговых систем, построенных на основе лингвистической информации. Создание ЭВМ с речевым вводом, организация передачи и хранения информации в ЭВМ по принципам естественного языка — это задачи, которые не могут быть решены специалистами по прикладной математике и вычислительной технике без помощи лингвиста. С другой стороны, идея применения ЭВМ для анализа текста привела к разработке методов математической и прикладной лингвистики, основанных на формализации задач и материала. За 30 лет развития вычислительной техники конструкция и возможности машин сильно изменились. Но только когда возникла возможность обработки литерных строк, т. е. ввод и вывод цепочек литер, а не цифр, ЭВМ стала доступна сравнительно широкому кругу лингвистов.

Существует представление, что если лингвист не занимается проблемами диалога с ЭВМ и не пользуется методами математической лингвистики, то вряд ли целесообразно, если вообще возможно, обращение к ЭВМ в его работе. Конечно, проблемы автоматического распознавания слуховых образов, автоматического перевода и реферирования, поиска информации не могут решаться без машины. Но ЭВМ может оказать большую помощь и при «традиционном» исследовании языка. При этом не существует принципиальных ограничений, связанных с методами исследования, языковыми уровнями, типами языков и степенью их изученности.

Само по себе обращение к ЭВМ не может дать решения ни одного лингвистического вопроса. Наряду с магнитофоном, спектрографом и т. п. ЭВМ — инструмент, предоставляющий огромные возможности для работы с материалом. С ее помощью исследование может быть автоматизировано. Безусловно, «ручная работа» при лингвистическом исследовании необходима и может дать очень много. Но часто бывают нужны сведения, получение которых требует неоправданно больших затрат времени. Например, лингвисту необходим словник, представленный в обратном алфавитном порядке. Для русиста такой проблемы нет — создан «Грамматический словарь русского языка» [2]. Но исследователям других, менее изученных языков, например палеоазиатских, приходится самим вручную создавать обратные и другие словари. Вот тут на помощь могла бы прийти ЭВМ, обладающая большим объемом памяти и скоростью выполнения операций: для обработки массива в 100 тыс. слов ей требуются не часы, а несколько минут. ЭВМ целесообразно применять для легко формализуемой обработки больших массивов информации — для создания различных справочников и указателей по текстам, обратных, частотных, словообразовательных, морфемных и других словарей. В этих случаях память машины заменяет картотеку.

Для решения многих задач необходима сортировка различных единиц накопленного языкового материала по определенным параметрам. В этом случае элементы различных уровней языковой структуры рассматриваются лишь с точки зрения их сходства или различия. Так, проведение исследований на графемно-фонемном уровне дает ценный материал для типологических исследований [3]; на морфемном уровне проводится статистико-дистрибутивное описание морфем [4]. Большие возможности дает ЭВМ лексикографам. На уровне слов и словосочетаний ведутся работы по составлению частотных словарей [6], словоуказателей и конкордансов, наиболее фундаментальные из которых описаны в обзорах [7, 8], причем словоуказатели могут быть получены традиционным образом на карточках [9].

Для того чтобы лингвист использовал ЭВМ как средство автоматизации, необходимо создавать банки лингвистических данных. Банк данных (БД) должен содержать языковой материал — тексты, словари, грамматики и алгоритмы их обработки. Эта информация записывается на перфокартах, перфолентах, магнитных лентах и дисках, т. е. внешних носителях машинной памяти.

Решение вопроса, на основе какого материала должен строиться БД, иногда сводится к выбору между словарем и текстом. Альтернативный подход в этом случае малоплодотворен. Для многих задач хранение словаря в памяти машины является предпосылкой автоматической обработки текстов, хотя лексикографу, безусловно, прежде всего важна работа с текстами, а фонолог и морфолог заинтересованы в анализе словарей.

Вводимая информация должна иметь по возможности универсальный характер, т. е. обеспечивать исследование в области звукового строя, морфемики, словообразования, грамматической и лексической семантики. Обеспечить это не просто, поскольку подготовка информации и запись ее в ЭВМ — весьма трудоемкое дело. Но только легко дополняемый и корректируемый БД, доступный многим исследователям для решения самых разных типов задач, обеспечит осмысленное применение ЭВМ, сохранение сил и времени лингвиста.

Форма ввода информации определяется целями лингвистического исследования. Данные могут быть представлены в виде списков элементов, упорядоченных по заданным параметрам, таблиц, графиков, деревьев и т. д. Результаты проведенной обработки материала могут в свою очередь добавляться в БД или служить основанием коррекции уже записанного материала. Полученные результаты могут быть не сразу выведены на печатающее устройство, а извлекаться из памяти машины порциями, по мере необходимости, что делает возможной их поэтапную обработку.

Языковой материал в БД организуется различными способами. При этом какая-либо одна из форм представления материала обычно считается основной, а все остальные получаются с помощью сортировок и других операций. Одной из таких форм организации материала может служить базовый морфемный словарь, т. е. словарь исследуемого языка, представляющий каждый элемент в виде последовательности морфем. Элементами в таком словаре являются слова и словосочетания. На этой основе исследователь может получать списки слов, разделенных на морфемы, гнездовой словарь, набор словообразовательных формантов, набор аффиксальных морфем, идиоматические выражения с заданными словами или структурой и т. д. — материал для дальнейшего ручного или автоматического анализа. Базовый морфемный словарь пригоден для работы с лингвистическим материалом любого уровня языка. При исследовании звукового строя можно получить данные фоностатистического характера, а также исследовать фономорфологию на материале словника. Организация словаря позволяет получать также морфотактическую информацию. Наконец, если исследователь работает со словами или словосочетаниями, а не с морфемами, то он получит сведения, касающиеся основной словарной единицы как целого.

Обратимся к вопросу о том, как должна быть организована лингвистическая информация в базовом морфемном словаре и какие задачи с его

помощью можно решать. Морфемный словарь представляет собой списки индексированных корневых и аффиксальных морфем. Индекс каждой морфемы указывает на возможные сочетания ее с другими элементами слова ря и позволяет получать правильные словоформы с данной морфемой. Для корня такие ссылки формируют словообразовательное гнездо. Для аффикса ссылочный аппарат содержит информацию о том, в каких позициях и в каком аффиксальном окружении данный аффикс встречается в анализируемом словнике. Помимо этих служебных данных для каждого элемента можно указать грамматическую информацию (лексико-грамматическое значение, транспонирующую функцию, значение по согласовательным категориям и т. д.). Назовем некоторые параметры, по которым могут упорядочиваться списки морфем:

1. Фонетический облик и модель алломорфного варьирования. В упорядоченном по этому параметру списке фонетически сходные элементы будут находиться рядом (ср., например, русские корневые морфемы *волок-* и *ворот-*). Этот параметр связан прежде всего с кругом фономорфологических задач.

2. Позиционная морфотактическая характеристика морфемы, которая служит обеспечению исследований морфемной структуры слова.

3. Семантическая характеристика морфемы — система индексации, показывающая соотнесенность элементов списка с тем или иным выделенным семантическим классом.

Приведем примеры форм получения выходной информации: 1) словарь, организованный по алфавиту,— канонический вид с традиционными лексикографическими пометами и толкованием; 2) обратный словарь словарных форм слова, словоформ, основ; 3) гнездовой словарь; 4) словарь служебных морфем, характеризуемых по частоте встречаемости, позициям внутри слова, фонетической структуре, содержательным свойствам и т. д.; 5) сопоставительный словарь, в котором приведены указанные формы выхода информации параллельно для нескольких родственных языков.

Как уже отмечалось, каждая форма выхода является результатом переорганизации базового морфемного словаря. Возникает вопрос, какая лингвистическая информация необходима для создания такого словаря. Важно сразу же отделить задачи лингвистической работы от проблем, решаемых программистами и математиками при введении такого словаря в память ЭВМ. Представить тот или иной словник в виде морфем, т. е. задать списки,— задача лингвистическая. Как показывает практика, автоматическое членение слов на морфемы требует дальнейшей коррекции и доработки. Сама задача разделения слов на морфемы сложна и для многих языков является моментом первичного описания. Однако предметом машинного исследования могут быть результаты даже предварительного морфемного анализа. Автоматическая обработка позволяет легко выявить как основные закономерности, так и списки исключений, помогая проверить правильность проведенного морфемного членения. Что может дать такой предварительный словарь? Он позволяет получить исчерпывающую характеристику каждого элемента списка по заданным параметрам, а это — основа для коррекции словаря, исследовательский материал, который предоставляет лингвисту ЭВМ. В качестве примера такого рода работы можно сослаться на создание на базе «Русского словообразовательного словаря» [10] морфемного словаря распознавания в Лаборатории экспериментальной фонетики им. Щербы ЛГУ совместно с Институтом математики СО АН СССР [11].

Создание многоцелевой автоматизированной словарной системы осуществляется в настоящее время в сотрудничестве ЛО Института языкознания и Ленинградского Научно-исследовательского вычислительного центра АН СССР. Эта система должна предоставить возможность для разнообразного анализа обрабатываемого материала — текстов и словарей — в интерактивном (диалоговом) режиме [12]. Для ввода текстов используются перфоленты типографского фотонаборного устройства. Существующие программы дают возможность получать алфавитно-частотные и об-

ратные словоуказатели с выводом их на АЦПУ и накоплением в архиве системы. Алфавитно-частотный словоуказатель, записанный в архив системы, служит исходным материалом для создания карточек, на которых собраны все формы данного слова. При этом учитывается общая частота словоформ данного слова. На основе анализа полученного на ЭВМ словоуказателя к «Лирике» Вяземского и Сводного словника словарей, составленного в Большой картотеке словарного сектора ЛО Института языкознания [13], выявлено около 50 слов, не зафиксированных в современных толковых словарях.

Наиболее характерной чертой современного этапа развития автоматизации лингвистических исследований является создание автоматизированных систем обработки естественного языка [14—16]. Это направление применения ЭВМ связано с использованием развитого логического аппарата, что позволяет обратиться к решению системных и прикладных проблем различных уровней языка. При этом в машинных программах используются результаты чисто лингвистических исследований.

Перспективы использования ЭВМ как средства автоматизации лингвистических исследований представляются тесно связанными с развитием таких направлений, как автоматическое распознавание речи и машинный перевод [17]. Однако лингвист может надеяться на помощь ЭВМ при решении гораздо более широкого круга вопросов. Но оправдание таких надежд скорее всего возможно при использовании уже имеющихся результатов для задач традиционного языкознания и не в единичных случаях. В большой мере это может относиться к исследованиям малоизученных языков народов СССР, например, палеоазиатских или самодийских.

Таким образом, в процессе использования ЭВМ как средства автоматизации работы лингвиста выделяются три стадии: 1) подготовительная — введение в ЭВМ имеющейся в распоряжении исследователя информации о том, как устроено слово того или иного языка, какими содержательными характеристиками оно обладает; 2) основная — процесс исследования каждой языковой единицы с помощью ЭВМ по заданным лингвистом параметрам (по отношению ко всему объему записанного в памяти материала); 3) конечная — удовлетворительное обеспечение процесса познания языкового материала.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Белоногов Г. Г., Кузнецов Б. А.* Языковые средства автоматизированных информационных систем. М., 1983.
2. *Зализняк А. А.* Грамматический словарь русского языка. М., 1977.
3. *Бектаев К. Б., Ризаев С. У.* О частотных списках графемно-фонемных сочетаний.— В кн.: Статистика казахского текста. Алма-Ата, 1973.
4. *Якубайтис Т. А.* Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях.— ВЯ, 1979, № 3.
5. *Оливериус З. Ф.* Морфемы русского языка. Частотный словарь. Praha, 1976.
6. *Алексеев П. М.* Семантические частотные словари.—В кн.: Статистика речи и автоматический анализ текста. Л., 1977.
7. *Караулов Ю. Н., Молчанов В. И., Афанасьев В. А., Михалев Н. В.* Анализ метаязыка словаря с помощью ЭВМ. М., 1982.
8. *Герд А. С., Богданов В. В., Азарова И. В., Аверина С. А., Зубова Л. В.* Автоматизация в лексикографии и словари-конкордансы.— ФН, 1980, № 1.
9. *Вертель В.А., Вертель Е. В., Рогожникова Р. П.* К вопросу об автоматизации лингвистических работ.— ВЯ, 1978, № 2.
10. *Worth D. S., Kozak A. S., Johnson D. B.* Russian derivational dictionary. New York, 1970.
11. *Бондарко Л. В., Величко В. М., Загоруйко Н. Г.* Словообразовательный словарь и его использование для автоматического распознавания речи.—В кн.: Тезисы докладов и сообщений 12-го Всесоюзного семинара АРСО. Киев, 1982.
12. *Рогожникова Р. П., Чернышева Л. В.* Возможности использования автоматизированной системы в лексикографической работе.— В кн.: Информационно-вычислительные проблемы автоматизации научных исследований. М., 1983.
13. *Рогожникова Р. П.* Редкие слова в произведениях авторов XIX в.— ВЯ, 1982, № 1.
14. Computers in the humanities. Ed. by Mitchell J. Z. Edinburg, 1974.
15. *Попов Э. В.* Общение с ЭВМ на естественном языке. М., 1982.
16. *Ершов А. П.* Методологические предпосылки продуктивного диалога с ЭВМ на естественном языке.— ВФ, 1981, № 8.
17. *Апресян Ю. Д., Богуславский И. М., Иомдин Л. Л., Крысин Л. П., Лазурский А. В., Перцов Н. В., Санников В. З.* Лингвистическое обеспечение в системе автоматического перевода третьего поколения. М., 1978.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1986

ГОРЕЛОВ И. Н.

ЭНАНТИОСЕМИЯ КАК СТОЛКНОВЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ

1. Конспектируя предисловие ко второму изданию «Науки логики» Гегеля, В. И. Ленин специально отметил лингвистическое наблюдение автора в своем частичном переводе: «В немецком языке иногда слова имеют „противоположное значение"... (не только „различные", но и противоположные)» [1]. Внимание Ленина к этой части гегелевского текста объясняется, как мы полагаем, тем, что в ней затрагиваются проблемы соотношения формы и содержания, актуальные и для современной лингвистики.

В контексте гегелевского предисловия указанное наблюдение выглядит как подчеркивание особых свойств немецкого языка: «... немецкий язык обладает... многими преимуществами перед другими новыми языками; некоторые из его слов отличаются от слов других языков даже тем, что могут иметь не только различные, но и противоположные значения, так что за ними нельзя не признать умозрительности самого духа языка: встреча с такими словами доставляет радость мышлению...» ([2, с. 20]; перевод и разрядка наши.— *Г. И.*) [1].

Суждение великого диалектика о «преимуществах» немецкого языка объясняется, конечно, тем, что свой собственный язык он знал лучше других языков. Но само наблюдение тем более интересно, что явление энантиосемии со времен Гегеля более или менее полно не описано ни по одному языку, хотя, разумеется, привлекает внимание специалистов [3, 4]. Мы также не претендуем на исчерпывающую полноту, ограничившись лишь выяснением места рассматриваемого языкового явления в аспекте «значение — форма» в качестве артефакта [2].

Термин «энантиосемия» иногда приравнивается к «антифразису» или даже «эвфемизму» (в одном из значений последнего); «антифразис» же толкуется как «троп, состоящий в употреблении слов в противоположном смысле (в сочетании с особым интонационным контуром)» [6, с. 49]. Там же пример: «Какая прелесть! Обмануть человека, а потом притворяться ангелом!» [6, с. 49]. В такой интерпретации «антифразис» и «энантиосемия» выглядят как способы достижения иронического или саркастического эффектов, причем через интонацию, но тогда нет смысла говорить об энантиосемии как о «поляризации значения» [6, с. 339, с. 526] на языковом уровне. Ведь не только слово или словосочетание, но предложения и тексты в определенных речевых (интонационных) и коммуникативно-ситуативных условиях могут быть полярно амбивалентны. Гегель же имел в виду именно поляризацию значений одного и того же слова вне указанных условий. Поэтому нас интересует не способ достижения иронического эффекта, а напротив, энантиосемия как языковой результат, получаемый, в частности, также и из иронического словоупотребления

[1] Ср. в оригинале: «...die deutsche Sprache hat... viele Vorzüge vor den anderen modernen Sprachen; sogar sind manche ihrer Wörter von den weitern Eigenschaft, verschiedene Bedeutungen nicht nur, sondern entgegengesetzte zu haben, so daß darin selbst ein spekulativer Geist der Sprache nicht zu verkennen ist; es kann dem Denken eine Freude gewähren, auf solche Wörter zu stoßen...» [2, с. 20].

[2] Артефакт (artefactum) понимается здесь как эффект, противоречащий регулярным (содержательным и функциональным) характеристикам какого-либо явления. В данном случае артефактом названа энантиосемия как «омонимичная антонимия». О термине «артефакт» см. [5].

в речи. Гипотетически такой результат был получен — по мнению Л. П. Крысина — из иронического, шутливого использования слова *честить* (в значении «воздавать честь»), в котором «развилось энантиосемическое значение „ругать, бранить, поносить". Это второе, производное значение живо и сейчас, а первоначальное забылось» [7]. В этом же источнике показано, что не только ирония порождает энантиосемию: в слове *лихой* выражалось только отрицательное значение («плохой, дурной»), когда оно использовалось в книжном языке. Но в «народном языке... стало развиваться и положительное (значение.— *Г. И.*) — „удалой, смелый"» [7].

Ныне, как известно, *лихой* имеет положительное значение в сочетаниях типа *лихой казак*, но отрицательное в реликте *лиха беда начало* и в *шофер-лихач*, *лихачество*. *Бесценный* как «имеющий очень высокую цену» сегодня встречается реже, чем прежде (*дар бесценный*), а *бесценок* имеет (как и *обесцененный*) значение «не имеющий никакой или почти никакой цены». *Блаженный* — либо «больной, несчастный», либо «в высшей степени счастливый», причем второе явно доминирует. Если ограничиться этими примерами, может создаться впечатление, что энантиосемия, во-первых, наблюдается чаще в диахронии, а во-вторых, что поляризация значения приводит к устареванию или исчезновению лишь значения со знаком «минус».

Можно показать, однако, что в современных языках энантиосемия не представляет особого раритета, обнаруживая даже определенную прогрессивную тенденцию. Приведем примеры из русского языка:

вырезать — «С *вырезанным* узором рукоятка выглядела лучше, чем прежде. Я могу тебе *вырезать* так же» (здесь речь идет о с о з д а н и и у з о р а там, где его раньше не было). «*Вырезали* аппендикс? Без него будет легче жить» (здесь речь идет об у д а л е н и и того, что было). Обратим внимание на использование предлогов *с* и *без*, подчеркивающих «плюс» и «минус» в значениях глаголов;

выработать — «...и выработано много сверхплановой продукции» (т. е. продукции п р и б а в и л о с ь). «Шахту *выработали*, и поселок постепенно захирел» [т. е. продукция (уголь) и с ч е з л а]. «Плюс» в первом случае, как и «минус» во втором, очевидны;

выбить — «Видишь, один глаз я уже успел *выбить*, но он мне не нравится» [3] (и здесь, как и в случае с узором, речь идет о п р и б а в л е н и и детали к имевшемуся целому). «Все стекла оказались *выбитыми*» (т. е. у д а л е н н ы м и, о т н я т ы м и от целого, от окна, от дома);

разбить — «Дом оказался совершенно *разбитым* бомбой» (целое н а р у ш е н о, явный «минус»). «На месте пустыря *разбили* клумбы» (с о з д а л и то, чего раньше не было);

задуть — «Домну *задули* в торжественной обстановке» (р а з о ж г л и, «плюс»). «Даша *задула* свечу. Стало совсем темно» (п о г а с и л а огонь, «минус»).

Приведем аналогичные примеры из немецкого языка.

Глагол	«плюс»-значение	«минус»-значение
abbinden	«наложить повязку»	«отвязать что-либо»
abdachen	«покрыть крышей»	«снять крышу»
abdichten	«уплотнить»	«разуплотнить»
abdecken	«покрыть»	«снять покрытие»
abheften	«подшить к делу»	«вынуть из скоросшивателя»
abfeuern	«открыть огонь» (воен.)	«прекратить огонь» (воен.)
abhängen	«повесить трубку (телефона)»	«снять (с вешалки)»
abfedern	«снабдить рессорами»	«снять рессоры», «ощипать»
abfischen	«ловить рыбу»	«прекратить ловлю рыбы»
abdielen	«настлать полы»	«содрать старые полы»
ablücken	«задраить люки» (морск.)	«отдраить люки» (морск.)
abfetten	«пропитать жиром»	«очистить от жира»
abputzen	«оштукатурить заново»	«отбить старую штукатурку»
abpfählen	«огородить кольями; поставить вехи»	«убрать колья (вехи)»

[3] Запись реплики скульптора об алебастровом портрете.

Поскольку в этом ряду мы видим отделяемый компонент *ab-*, семантически близкий русской приставке *от-* (интересно отметить параллельно наблюдаемое в обоих языках ослабление «изначальной» семантики данных элементов в пользу поляризации значений в одной и той же форме), то можно предположить, как нам представляется, наличие стадии десемантизации, предшествующей стадии энантиосемии, которая появляется позднее. Кстати, в только что употребленном нами глаголе *отметить* префикс *от-* лишился семантики, противопоставлявшей его префиксу *при-* (ср.: *приметить*, *заметить*, *отметить* могут быть взаимозаменяемыми в одних и тех же контекстах). Мы говорим *отбелить* в значении «белить, придавать белизну»; *оштукатурить* в значении «оштукатурить, нанести слой штукатурки», а не «удалить» ее; *отстроить* дом (отнюдь не в смысле «разрушить, разобрать»); *отделать* ч.-л. бронзой, «под мрамор», лепниной, кружевами (ср. *отделаться* от ч.-л.). Немецкие лингвисты пишут о сходном (если не тождественном) явлении: «Современному носителю языка кажется уже недостаточным использование формы: *kassieren*, *senken*, *sichern*, *schirmen*. Он хочет быть точным, пользуясь формами *abkassieren*, *absichern*, *absenken*, *abschirmen*» [8, с. 272]. Указывая на некие «тонкие нюансы» (feine Nuancen), которые как бы прибавляют к беспрефиксальным «дублерам» нечто уточняющее, авторы не приводят никаких доказательств своей правоты, а все подобные «пары» продолжают пока что функционировать совершенно равноправно — как полные синонимы. К сожалению, беспрефиксальные единицы, легко переводимые на русский язык [соответственно: *кассировать*, *оседать* (*понижаться*), *страховать*, *заслонять*], становятся едва ли переводимыми в префиксальной модификации как-то иначе, с учетом «тонких нюансов». Можно только искусственно создать «эквиваленты» типа: *откассировать*, *полностью понизить*, *полностью закрыть* (*заслонить*), *завершить страхование до конца* и т. п. Но как с префиксами, так и без них носители немецкого языка используют указанные глаголы с дополнительными лексическими маркерами, указывающими на предельность действия.

Если авторы цитаты сами используют «тонкие нюансы», то им можно было бы возразить; например, вышедшее в том же издательстве пособие указывает, что *Nuance* «нюанс» означает «тонкое различие, тонкий переход (feiner Unterschied), тонкое изменение (feine Wendung), тонкость (Feinheit)», отчего «нюансирование, нюансировать» (nuancieren) «почти незаметно изменять (*fast unmerklich ändern*)» [9]. Следовательно, и русские «тонкие нюансы» наводят на мысль о десемантизации иноязычного составляющего в новой среде обитания. Подобно тому, как все больше распространяется *служба сервиса* или *прейскурант цен* [при этом игнорируется, что *служба* и *service* однозначимы, как и *Preis* и *цена*; первая иноязычная единица восходит к лат. *servus* «раб, слуга»; вторая вошла в русский язык до дифтонгизации корневого долгого гласного в виде «приза» (премии)].

Таким образом, мы считаем явлениями сходного порядка (десемантизацией, лежащей в основе возможных будущих поляризаций значений) использование в качестве синонимов *придется белить* и *придется отбеливать*, а также настойчиво поддерживаемое прессой и телевидением сочетание типа *стартовал финиш*. Таким образом, вполне вероятно появление и *финиширующего старта*. Разница лишь в том, что в одном случае речь идет о семантических сдвигах и поляризации значений элементов слова и самих слов родного языка, а в других — о приблизительном (неточном, даже искаженном) осмыслении элементов и слов языка чужого. Вероятно, наиболее яркой иллюстрацией последнего механизма (недопонимания значений элементов неродного языка) может служить ставшее узуальным *для проформы*, где лат. *pro* и есть *для*, что не осознается говорящими, а делать ч.-л. *про форма* или *проформа* (*pro forma*) синтаксически чуждо русскому языку.

Возвращаясь к немецким глаголам с *ab-*, составляющим значительную, весьма продуктивную группу (более 500 единиц), отметим, что словари не успевают фиксировать новые образования и что более 200 глаголов ис-

пользуются одинаково или почти одинаково с префиксами и без них. Как указывалось выше, префикс *ab-* сам по себе не предписывает говорящему (пишущему) учитывать «оттенок завершенности», «предельности», и лексический маркер этих качеств постоянно присутствует при наличии *ab-* или может отсутствовать при отсутствии *ab-*. Так, например, употребляются пары *ändern — abändern*, *biegen — abbiegen*, *borgen — abborgen*, *bohren — abbohren*, *bügeln — abbügeln* и др.

В сочетании *abzuackern beginnen ab-* парадоксальным образом используется при наличии «глагола зачина», а глаголы *abtrensen*, *abgattern* не имеют вообще беспрефиксальных «предшественников» (нет *trensen*, *gattern*). Причудливость некоторых аналогий, по которым *ab-* либо обнаруживается, либо нет, хотя и «ожидается», видна, например, в *blättern*, *abblättern*. Оба глагола означают «обрывать листву» или «осыпаться» (о листве), и *blättern* означает также «листать» (книгу). Можно было бы ожидать наличие *abblättern* в значении «пролистать книгу», но его нет. В то же время *abblätern* (без *blättern*) стало медицинским и минералогическим термином («шелушиться» — о коже) и («отслаиваться» — о слюде, сланце и др.).

В современной технике фотографии и полиграфии уже редки приемы «снятия», «стягивания» отпечатка с негатива или матрицы (при фотонаборе, например), но глагол *abziehen* функционирует, как и прежде, что не мешает носителям языка «хотеть быть точными в выражении» (см. цитату выше со ссылкой на [8]).

Вряд ли можно с достоверностью установить причину, в силу которой глагол *отказать* в русском языке, имея первоначальное значение «распорядиться о даре, наследстве (передать их к.-л.)», стал ныне общеупотребительным в противоположном по смыслу значении («отказать в наследстве, даре, премии, помощи» и т. п.). Использование глагола в прежнем значении чрезвычайно редко, воспринимается как архаизм (например: «Незадолго перед кончиной он написал завещание, *отказав* одиннадцать тысяч фунтов стерлингов в пользу душевнобольных». Ю. Семенов. Приказано выжить). И если вначале *шабашить* означало «кончать работу; отправляться после работы на отдых», то трудно (если возможно вообще) мотивировать нынешнее значение глагола («работать» и даже «интенсивно работать») в сочетаниях типа: *Шабашили на славу*, *до седьмого пота*.

Энантиосемия охватывает, конечно, не только глаголы [4], как это может показаться; нашими примерами вообще далеко не исчерпывается глубина и распространенность этого, чрезвычайно интересного, малоисследованного способа «скрещения омонимии и антонимии». Существительное *собака*, например, явно обнаруживает склонность к энантиосемии: *Собака — друг человека* («плюс»); *Собаке — собачья смерть* («минус»).

Англ. *puddle* энантиосемично, если сопоставить значения «лужа» и «водонепроницаемая обклейка, обшивка». Русск. *половина* («равная из двух частей») используется в значении «неравенства» — «большая половина», «меньшая половина». Англ. прилагательное и производное наречие *apparent/apparently* означают полярные понятийные содержания (соответственно *явный/явно* и *кажущийся/вероятно*). Англ. местоимение *either* в этом значении объединяет («оба, тот и другой»), а в другом — разделяет («один из двух, каждый»).

Специальное изучение фразеологии в интересующем нас плане может дать неожиданные результаты, своеобразные «энантиосемантические окказионализмы». Если, например, сопоставить две пословицы — *Сытое брюхо к учению глухо* и *Голодное брюхо к учению глухо* (*ушей не имеет*), то в антонимичных сочетаниях *сытое брюхо* и *голодное брюхо* второй компонент всякий раз тождествен, как тождествен и предикат при каждом именном сочетании. Формально-логически безупречно выводится равенство *голодный = сытый* — при данном предикате [5]. В действительности (по ее диа-

---

[4] В других языках смотри аналогично: лат. *adeo*, *adīre* а) «просить о помощи» и б) «нападать, идти против»; англ. *to hat* а) «снимать шляпу» и б) «надевать шляпу».

[5] Аналогичному анализу поддаются и другие пары: русск. *Умный учится, дурак учит — Учи других — сам поймешь*; *Женский ум лучше всяких дум — У бабы ум короток, волос долог*; *За свой грош везде хорош — Не в деньгах счастье*; нем. *Geld macht*

лектической сущности) такого равенства, разумеется, нет, но на таких и подобных примерах иллюстрируется главная причина, источник противоречивости «знакового поведения» — противоречивость объекта познания и противоречивость процесса познания объекта, включая и способы его номинации.

2. Исследование проблемы «языковое значение — языковая форма» в любом случае опирается на ту или иную интерпрерацию философского положения относительно связи «содержание — форма». Аристотель был убежден в том, что «связывание и разъединение находятся в мысли, но не в вещах» [10, с. 186], и этот же тезис, на первый взгляд, подтверждается примером В. М. Жирмунского. Он показывает, что функционирующие в Гессене (на совсем небольшой площади вокруг г. Вецлар) 35 синонимов со значением «божья коровка» (энтом. Coccinela septempunktata) никак не укладываются в так называемые «связи вещей», но констатируют как раз «связывание в мысли», точнее — мысленные отражения фантастических связей фантастических же представлений [11]. Собственно говоря, и научный термин лишь во второй своей части отражает реальные «связи вещей» («семь точек» на крылышках насекомого). Парадоксальным образом древний философ, столь внимательно наблюдавший за фактами родного языка, пришел к абсолютно априорному суждению: «совершенно очевидно, что определение есть обозначение сути бытия вещей...» [10, с. 195]. Аристотель полагал, несомненно, что «несущностные» определения аномальны для языка человека в той же мере, в какой аномален для него ход мыслей, направленных на «случайные свойства объекта..., вносящие незначительный вклад в наше знание об объекте или не вносящие ничего...» [12, с. 134]. Отметив особую живучесть аристотелевой концепции мышления и языка, У. Лабов формулирует нетривиальное положение: «...мы не поймем, каким образом конструируются границы между категориями или как дискретные категории накладываются на непрерывную действительность, до тех пор, пока не научимся исследовать эти границы с аналитических позиций. А это означает преимущественное внимание к пограничным случаям, которые не могут быть с уверенностью помещены по ту или другую сторону рассматриваемой границы» ([12, с. 134]; разрядка наша.— *Г. И.*).

Мы еще вернемся к методам исследования значения У. Лабовым, к тому, что именно следует считать «пограничными случаями».

Конкретные исследовательские задачи всякий раз заставляют различно описывать связь «значение — форма». Различия в методах и результатах лингвистических описаний бывают принципиальными, но расхождения объясняются, как правило (в отечественном языкознании), не методологическими ошибками, а, во-первых, особой сложностью объекта рассмотрения (язык, речевая деятельность), во-вторых, объективной диалектичностью (в смысле единства противоречий) самой сущности отношений «содержание — форма», в-третьих, нечеткостью, неразработанностью метаязыка описания.

Судя по чрезвычайно разноообразным и многочисленным текстам лингвистических описаний по данной теме (здесь невозможно даже простое перечисление самых основательных работ), тезис о неразрывном единстве содержания и формы усвоен всеми (и полностью) лучше всего остального. Но им, этим тезисом, отнюдь не исчерпывается реальное положение вещей. В самом деле, если прочитать, что «отношение содержания и формы характеризуется единством, доходящим до их перехода друг в друга.» ([13, с. 621—622]; разрядка наша.— *Г. И.*), то можно ли назвать лингвистическую работу с исследованием языковых фактов таких переходов? «Содержательность формы» — привычное искусствоведческое понятие. Но в языкознании оно слишком часто превращалось в инструмент отождествления мышления и языка, языковой формы и языкового значения. Между тем, именно различные способы звуко-

---

den Mann «Деньги делают мужчину»; *Lieber hab' ich viel Kind, als viel Gold* «Лучше много детей, чем много золота»; *Gold und Geld sind gut, aber Hold und Held — besser* «Хороши золото да деньги, но герой(ство) и душевность лучше».

символизма, идеофоники — от прямых звукоподражаний до аллитераций — и представляют в сфере человеческого языка указанные переходы содержания и формы друг в друга. Имеющиеся работы по фоносемантике [14, 15], конечно, значительны и интересны, но их мало.

Далее, указанное «единство (содержания и формы.— *Г. И.*) является относительным. Во взаимоотношении содержания и формы содержание представляет подвижную, динамичную сторону целого, а форма охватывает систему устойчивых связей предмета... Возникшее в ходе развития несоответствие формы и содержания в конечном счете разрешается „сбрасыванием" старой и возникновением новой формы, адекватной развившемуся содержанию» [13, с. 621—622].

Но необычайная сложность проблемы заключается, в частности, и в том, что имеют место как объективные (физический мир, например), так и субъективные (индивидуальное сознание, например) факторы, влияющие решающим образом на «разрешение несоответствий». В одних случаях качественные изменения всякий раз закономерно (во времени и в пространстве) сопровождаются «сбрасыванием» неадекватной формы. В других, например, в языке, «сбрасывание» формы затягивается. Поэтому К. Маркс указывал на необходимость «генетически вывести различные формы» [16, с. 526], на необходимость понимания «... действительного процесса формообразования в его различных фазах...» ([16, с. 526]; разрядка наша.— *Г. И.*), а В. И. Ленин — также вполне определенно — на то, что новое содержание «... может *и должно* проявить себя в любой форме, и новой и старой, может и должно переродить, победить, подчинить себе все формы...» [17]. Таким образом, характеризуя весь спектр отношений в единстве составляющих «содержание — форма», мы обязаны считаться со всеми тремя тенденциями: 1) к «сбрасыванию» устаревшей формы, 2) к сохранению устаревшей формы, 3) к переходу (взаимному) содержания и формы. Эти три тенденции в полной мере сохраняются как сущности диалектического целого в языке, определяют факты его существования и развития.

3. В статье «Лингвистические постулаты» А. Е. Кибрика имеется вступительная часть с авторскими самокритично-упреждающими замечаниями, согласно которым излагаемое в его статье наделяется свойствами «неоригинальности», «крайней дискуссионности», «спекулятивности» и «фрагментарности» [18, с. 24—25], поскольку он, автор, осознает, что его идеи «вступают в противоречие со стереотипом устоявшегося взгляда на лингвистику» [18, с. 24—25]. Не выступая здесь в роли рецензента статьи А. Е. Кибрика, выразим все же уверенность, что эта статья — в высшей степени интересная и полезная, на наш взгляд,— еще вызовет отклики.

Один из постулатов — «О единственности значения» разъясняется так: «Каждая форма имеет, как правило, одно значение» [18, с. 36]. И далее: «Постулат „О единственности значения" не утверждает, что обнаружение значения языковой формы есть тривиальная операция, он предполагает, что при этом должны быть „вычтены" из различных употреблений данной формы те „приращения", которые возникают в тех или иных контекстах» [18, с. 36]. Вводное «как правило» в нашем рассмотрении мы опустим, так как никто еще не пробовал доказать на материале хотя бы одного (любого) языка, что существуют «правила однозначности» или «неоднозначности» и как широко они простираются. Интуитивно ясно (т. е. и до всеобъемлющих, абсолютно точных доказательств) всем, включая А. Е. Кибрика, что наличествуют «приращения», приводящие к полисемии. Но следует ли понимать постулат в том смысле, что «изначально» единица как форма существования коммуникативного элемента языка имела одно-единственное значение, к которому затем (в ходе ее использования) «прирастились» некоторые семантические «прибавки»? Или же, скажем, «единственность значения» предполагает наличие основного значения, которое «просвечивает» в любой системе полисемии «при единице»?

Что именно мы найдем через «вычитание приращений» — «изначальное» значение или же «основное», пережившее все и всяческие диахрони-

ческие кризисы, включая и самые причудливые «переносы» по случайным аналогиям?

Этимологические исследования не могут привести нас — из-за известных ограничений в материале — к «изначальным» формам и значениям какого бы то ни было языка. Но если мы имеем представление об общих закономерностях знакообразования и функционирования знаков, то мы знаем, что́ в принципе может, а что́ — не может иметь места. Именно вопреки упомянутой аристотелевской концепции «связь вещей» существует, как существуют и их многообразные сущности в непрерывности всего объективного. Но язык — как система коммуникации через посредство номенклатуры знако-номинаций — всегда беднее мира, непрерывно познаваемого, но не исчерпаемого в процессе познания. Языковой знак в с е г д а существует в дискретной форме, несравненно более «узкой», чем «означаемое».

В моменте первичной номинации (т. е. в ситуации, когда некое явление еще не названо, но воспринято как отличное от других) есть, несомненно, стадия существования явления «вне имени». Та или иная сторона явления оказалась познанной, явление «готово быть названным». В момент присвоения ему имени последнее п р и п и с а н о, причем отраженное мысленное содержание явления, конечно, находится в психике того, кто его открыл и собирается дать ему имя. Но в дальнейшем в памяти «открывателя» уже хранится образовавшаяся связь «явление — образ явления — имя», первая часть которого (само объективное явление) остается, конечно, вне «открывателя», но через образ и через имя можно узнать другое явление того же класса, сформировать отношение к нему, воздействовать на него. Далее наступает «период обращения имени» — если «открыватель» сообщает другим о том, что́ он открыл. С помощью остенсивного (его еще называют «остенсиональным») определения, т. е. через наглядную семантизацию [6] связь «образ явления — имя» становится общим достоянием, ф у н к ц и о н и р у ю щ и м з н а к о м я з ы к а. Более или менее идентичные «образы явления» оказываются уже в памяти носителей «имени его», что обеспечивает коммуникативную пригодность знака. Ясно, что эта пригодность предполагает и более или менее сохраняемую идентичность «имени» как формы «хранения образа» в коммуникации.

Представим себе, что некий открыватель, индоевропеец, обратил внимание на многолетнее полукустарниковое растение, которое не было известно ему раньше, не имело имени. Он назвал его *рута*, и мы вправе предполагать, что этот знак не был «примарно мотивирован». Возможно, что подбирая имя, открыватель заботился либо о том, чтобы оно отличалось от названий других (похожих) растений, либо, напротив, о том, чтобы новое имя напоминало другие имена других предметов, символизируя их; возможно, что — нам это совершенно неизвестно — новое имя было просто производным от ранее известного. Так или иначе, но впоследствии Ruta graveolens стала ботаническим и лекарственным термином. В славянской среде определенные культурные факторы превратили это душистое растение в символ девичества и призыва к избраннику (ср.: «Пущу рутвянъ на́воду») [19, с. 115], и само слово *рута* выступает, конечно, с «приращением» семантического порядка, как и сам предмет. Гораздо позднее мы видим этот корень в заимствованном из немецкого *шпицрутен*. В самом немецком корневая морфема уже успела к тому времени обрасти разными «приращениями»: *Spießrute* — как «ивовая ветвь», как «шпицрутен»; *Weidenrute* — как «материал для плетения корзин»; *Besenrute* «материал для вязки веников»; *Angelrute* — как «удочка»; *Wünschelrute* — как «указатель подземной воды» и т. д. [20].

Но еще во времена В. И. Даля *рута* имела разговорный синоним с ярко выраженным отрицательно-экспрессивным значением, которое мы здесь позволим себе не приводить [19, с. 115]. Данный пример, отнюдь не самый разительный в истории слов, охватывает лишь известные нам «приращe-

---

[6] Так мы пытаемся описать частный случай; в других случаях определение «нового» проходит, естественно, средствами уже сформированной системы других знаков.

ния», некие диахронические «вехи», результаты, а не процесс. Вместе с тем, как видим, существовали и существуют еще для каждого подобного случая самые неожиданные пути для реализации самых неожиданных потенций, заключенных в связи «языковое значение — языковая форма». «Уже самый простой разговор одного человека с другим,— пишет А. Ф. Лосев,— возможен только потому, что каждое слово и каждый языковой элемент заряжен бесконечным количеством разного рода смысловых оттенков, и мы даже сами не замечаем, какое огромное количество этих оттенков выступает в наших словах и какое огромное количество этих оттенков должно заключаться в наших словах, чтобы мог состояться самый обыкновенный разговор» [21, с. 141]. Внимательно вчитавшись в статью А. Е. Кибрика, невозможно себе представить, чтобы автор, говоря о «единственности значения» [18, с. 36], имел в виду некое изначальное специализированное значение. «Единственность значения» следует понимать как основное значение, но не как «статическую категорию» (определение в отрицательном смысле дано А. Ф. Лосевым, см. [21, с. 139]). В качестве искомого — согласимся с этим — надо назвать валентность, которая «указывает не только на подвижный смысловой характер слова, но, несомненно, также и на смысловую динамику валентности» [21, с. 139]. В отличии от полисемии, обнаруживающей статику ряда, только валентность в состоянии дать общую картину своей «порождающей силы», механизм «приращений» и реализации «разносторонней и даже трудно исчислимой семантической потенции», которой наделяется функционирующий знак языка [21, с. 139]. Особая трудность указанного «исчисления» не может быть, на наш взгляд, преодолена исключительно теми методами, которыми чаще всего пользуется традиционная лингвистика. Но мы хотели бы отметить работы М. М. Маковского [22, 23], чья теория лексической аттракции направлена не только и не столько на упорядочение этимологических изысканий, сколько на вскрытие закономерностей «семантических сдвигов» в микросистемных элементах. Показано, причем, на наш взгляд, весьма убедительно, на большом материале, каким образом такие сдвиги приходят во взаимодействие с аналогичными в других микросистемах, как образуется «общая результирующая» в макросистеме. Представляется полезным в будущем экспериментально поддержать теорию лексической аттракции, исследовать закономерности ошибок и оговорок всякого рода в речевой продукции, например, контаминации. В онтогенезе речи также множество «самодельных» аттракций.

Уже упомянутый в начале статьи У. Лабов анализирует структуру денотативных значений, опираясь на ряд экспериментов 40—70-х годов. Статья У. Лабова появилась в переводе в 1983 г., т. е. спустя пять лет после ее публикации в оригинале [24]. В переводе она, к сожалению, сокращена почти на треть, но именно сокращенные части содержат интересные для нас данные по самой ранней стадии речевого развития ребенка, становления значений первых его слов. В статье освещается процесс распада денотативной структуры, приспособление лингвистической и экстралингвистической информации к формальным моделям слова и словосочетания. У. Лабов констатирует (вслед за своими предшественниками) наличие в речевом развитии ребенка стадии, на которой особая ограниченность словаря заставляет ребенка, желающего общения, невольно «расширять значения» слов, которыми он оперирует. По сути дела, в раннем онтогенезе уже наличествуют многочисленные и своеобразные (но универсально-закономерные!) «приращения» значений к первоначальным, пришедшим к ребенку вместе с первой формой. В ходе «разложения» и «переразложения» различных денотативных структур, «прилаживания» их к получаемым новым готовым формам ребенок обнаруживает вполне «взрослые закономерности» обращения со знаком; здесь мы имеем дело с моделью знакового функционирования со всеми ее стадиями. Наконец, описывая собственные эксперименты в сфере проблемы обозначения, У. Лабов указывает на размытость, подвижность границ между теми различными (казалось бы!) мысленными содержаниями, которые ребенок и взрослый носитель языка вкладывают в различные же словесные

формы типа *cup*, *bowl*, *glass*; ранее (другими экспериментаторами) исследовались границы значений между словами: *chair*, *sofa*, *bench*, *child*, *adult*, *youth*, *man* [12, с. 148] и т. д. (какими их видят, эти границы, носители данного языка) [7]. Все эти эксперименты (как и методы статистической обработки и построения кривых и графов) требуют, конечно, соответствующей подготовки, экспериментального (нелингвистического) материала и т. д. и т. п. Но направлены они в конечном счете и на совершенствование лексикографического дела (об этом пишет сам У. Лабов там же), на измерение значения единиц языка, на выявление путей, по которым развиваются значения «на воле», в естественных условиях.

«Невозможность полного описания значений всех слов толковыми словарями,— пишет В. Ф. Петренко,— заставила использовать ряд значений в виде изображений» [25, с. 7]. Поэтому в качестве одной из важнейших составных своей работы автор видит «исследование невербальных форм фиксации значения в системе визуальных образов» [25, с. 7]. Прибегая к лингвистическим аналогиям, автор рассматривает наиболее универсальные формы общения — как в образах, так и в вербальных средствах выражения. Здесь мы тоже встречаемся со специфической экспериментальной базой, с несобственно лингвистическими способами измерения значения. Но служат эти способы более всего именно лингвистике.

В постулате А. Е. Кибрика «О единственности значения» скрывается, как поясняет сам автор, идея о «незначительной роли омонимии в системе языка» [18, с. 36], о ее непредсказуемости, казусности «типа того, что Пушкина и Грибоедова звали каждого Александром Сергеевичем» [18, с. 36].

По мнению других, например, А. Ф. Лосева, «все языки переполнены омонимами» [21, с. 143]. Можно, конечно, утверждать, что в арабском (и во всех семитских языках) омонимов практически почти нет, а во французском, скажем, очень много. Стало быть, языки не «переполнены», а «по-разному наполнены» омонимами. Соглашаясь с А. Е. Кибриком в том, что появление омонимов в принципе предсказать невозможно, зададимся вопросом: только ли омонимия не поддается предсказаниям? Кто бы мог предположить, что, например, от древнейшего корня *волок* произойдет сначала обозначение негативного *волокита*, а потом и жаргонно-поощрительный глагол *волокти* («Он у нас в лингвистике здорово *волокёт*!»).

Ограниченные возможности человеческой памяти в значительной степени определяют ограниченность словаря. Для каждого значения, теоретически рассуждая, можно было бы создавать особый термин. Но кто бы мог овладеть такой массой словарных единиц? Даже в сфере собственно терминологии стихия (закономерная!) так сильна, что специалисты вынуждены всякий раз «договариваться о терминах», пытаясь преодолеть полисемию и омонимию. «Но «приращения» неумолимы, а сами термины — уже в других значениях — выступают в «смежных» и «несмежных» областях; так получилось и с «валентностью», попавшей в лингвистику из химии, подобное будет происходить и впредь. Можно лишь сказать, что подлинная (историческая) омонимия встречается далеко не так часто, как всеобъемлющая полисемия, но все же гораздо чаще, чем энантиосемия. Но и полисемия, и омонимия, и энантиосемия — как бы ни были они (в определенных смыслах) неудобны — существуют как факты тенденции сохранения уже знакомой, традиционно используемой формы. Стихийно (не смешивать со «случайно») и сознательно сохраняемая,эта тенденция полна сил и целесообразности. По-видимому, энантиосемия — один из крайних случаев противоречивого взаимодействия систем антонимии и омонимии, «точка пересечения двух явлений», отражающая «точку пересечения» трех (отмеченных

---

[7] «Ситуация энантиосемии» возникает, когда испытуемые решают дилемму: можно ли приписать одно и то же имя двум различающимся образам (рисункам). Поскольку в «пограничных случаях» такое имя приписывается в ряде случаев (когда семантический признак одного предмета ослабевает, а другого — усиливается), можно достоверно измерить «степень размытости» противопоставляемых значений.

выше) более широких тенденций в аспекте «содержание — форма». Что касается другого постулата А. Е. Кибрика (постулат «О различительности формы»: «Различие в формах связано, как правило, с различием в значениях» [18, с. 37]), то его противопоставление «тезису о распространенности и принципиальной важности явления синонимии» [18, с. 37] совершенно ясно, как и его непосредственная связь с рассмотренным постулатом о «единственности значения». Показав эффектный список контекстуальных синонимов (из текста «Мастера и Маргариты» М. Булгакова), А. Е. Кибрик говорит, что «вне данного конкретного текста тождество денотативного значения» таких единиц, как *владелец портсигара* и *первый человек*, не может быть «никоим образом предсказано» [18, с. 37]. Верно. Но есть ведь и неконтекстуальные синонимы внутри ряда, показанного А. Е. Кибриком: *сумасшедший*, *полоумный*, *больной*; *иностранец* и *заграничный гость* [18, с. 37]. Не так уж трудно найти тексты, которые докажут тождество денотативного значения этих единиц. В тех (весьма немногих, впрочем) случаях, где по всем параметрам синонимы могут быть признаны полными, т. е. всегда взаимозаменяемыми, можно и нужно говорить о лексической избыточности. Синонимия — традиция любого развитого языка, обеспечивающая свободу выбора (ограниченную, разумеется, социальными нормами), позволяющую поддерживать лексическую систему в состоянии потенциальных и реальных выразительных возможностей. Традиция эта непосредственно выражает тенденцию к образованию новых форм, взаимодействующую с тенденцией «сохранения старых форм». Одновременно развитие синонимии идет явно в направлении обособления близких, но не тождественных значений — через присвоение различных имен результатам семантических «приращений».

Если *маршировать* — не то, что *ковылять*, то только потому, что некий (возможно, первичный) «универсальный» глагол со значением «идти пешком; передвигать ногами» «оброс» разными — по необходимости уточнений — формами и значениями: «идти в военном строю» не то, что «передвигаться, опираясь на костыли, палку; идти, хромая».

Непрерывная творимость (ранее сотворенного) языка — это не метафора (в отличие от метафорического «саморазвития языковой системы»), а реальность, определяемая деятельностью множества людей на протяжении громадных промежутков времени. В процессе сотворения языка обеспечивается рождение и сохранение в нем логичного, аналогичного и алогичного, регулярного и частого, редкого и частного. Любой артефакт может быть поддержан, если не вступит в полное противоречие с уже существующими и коллективно принятыми тенденциями развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ленин В. И.* Конспект книги Гегеля «Наука логика».— Полн. собр. соч., т. 29, с. 81.
2. *Hegel G. W. F.* Wissenschaft der Logik. I. Buch. Leipzig, 1973.
3. *Шерцль В. И.* О словах с противоположными значениями (или о так называемой энантиосемии).— Филологические записки. Вып. V—VI. Воронеж, 1883.
4. *Давыдов М. В.* Звуковые парадоксы английского языка и их функциональная специфика. М., 1984, с. 5—29.
5. Психологический словарь. Под ред. Давыдова В. В. и др. М., 1983.
6. *Ахманова О. С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
7. *Крысин Л. П.* Энантиосемия.— В кн.: Энциклопедический словарь юного филолога. М., 1984.
8. Die deutsche Sprache: Kieine Enzyklopädie. Bd. I. Leipzig, 1969, S. 272.
9. Fremdwörterbuch. Leipzig, 1966, S. 481.
10. *Аристотель.* Метафизика. Соч.: В 4-х т. М., 1976, т. 1.
11. *Жирмунский В. М.* Немецкая диалектология. М.—Л., 1956, с. 107.
12. *Лабов У.* Структура денотативных значений.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIV. М., 1983.
13. *Кураев В. И.* Содержание и форма.— В кн.: Философская энциклопедия. М., 1983, с. 621—622.
14. *Журавлев А. П.* Фонетическое значение. Л., 1974.
15. *Воронин С. В.* Основы фоносемантики. Л., 1982.
16. *Маркс К.* Существенное различие между классической и вульгарной политической экономией.— *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 26.

17. *Ленин В. И.* Детская болезнь «левизны» в коммунизме.— Полн. собр. соч., т. 41, с. 89.
18. *Кибрик А. Е.* Лингвистические постулаты.— Уч. зап. Тартуского ун-та, 1983, вып. 621.
19. *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М., 1955.
20. *Klappenbach R.*, *Steinitz W.* Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Bd. 4. Berlin, 1981.
21. *Лосев А. Ф.* Языковая структура. М., 1983.
22. *Маковский М. М.* Теория лексической аттракции. М., 1971.
23. *Маковский М. М.* Системность и асистемность в языке. М., 1980.
24. *Labov W.* Denotational structure.— In: Papers from the parasession on the lexicon. Chicago, 1978.
25. *Петренко В. Ф.* Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм репрезентации в обыденном сознании. М., 1983.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1986

СМОЛИНА К. П.

КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ В ИСТОРИИ СЛОВ

Перед историком-лексикологом постоянно встает один и тот же вопрос: как выявить объективные критерии для наиболее точного и полного описания лексического значения? Лексическое значение слова в каждый конкретный период развития языка — это определенным образом организованный комплекс семантических компонентов — сем [1]. На это не раз указывали лингвисты [2]. Однако специфика семантического компонента (семы) до сих пор остается недостаточно изученной. И прежде всего ее структурная организация.

Под семантическим компонентом (семой) нами понимается минимальная семантическая единица лексического значения, отражающая тот или иной конкретный признак предмета, явления или понятия, с которыми соотнесено данное лексическое значение [3].

Остановимся несколько подробнее на второй части этого определения: каждая сема лексического значения детерминируется конкретным признаком того или иного предмета, понятия или явления, с которым соотнесено данное лексическое значение. Таким образом, количественный состав сем в пределах лексического значения легко обозрим. В некоторых работах мы встречаемся с противоположной точкой зрения: «Членение семемы (т. е. лексического значения.— *С. К.*) на семы теоретически бесконечно, его предел обусловлен мерой человеческого знания о денотате, обозначенном словом» (разрядка наша.— *С. К.*). Однако далее читаем: «Но в практических целях членение семемы на семы выполняется в ограниченных пределах в зависимости от поставленных задач» [5, с. 38]. С этим высказыванием вряд ли можно согласиться. И в теоретическом и в практическом плане членение лексического значения на семы не может быть безграничным, точно так же, как не могут быть безграничными и признаки предметов, явлений, с которыми соотносится лексическое значение. Именно объем лексического значения детерминирует конечный состав сем. Вот почему, на наш взгляд, в цитированной выше работе [5] неправомерно выделены у слова *учитель* такие, например, се-

[1] В работах, в основном использующих метод компонентного анализа, для обозначения семантического компонента употребляется целый ряд терминов: «сема», «фигура плана содержания», «семантический множитель», «семантические составляющие», «семантический различитель», «элементарная частица смысла», «элементарные смыслы слова», «сущность», «значимость», «дифференциальный признак», «семантический маркер», «семантический примитив», «семантический признак». Нам представляется целесообразным использование терминов «семантический компонент» или «сема» (термин «сема» был впервые введен В. Скаличкой), которые нашли самое широкое применение в лингвистической литературе.

[2] Ср. высказывание Д. Н. Шмелева: «Исследование семантических изменений, происходящих в лексике, подтверждает, что в семантической структуре слова объективно могут быть выделены отдельные элементы, которые и составляют в совокупности лексическое значение слова» [1, с. 219]. Об использовании семантических компонентов в описании лексических значений пишет и Ю. Н. Караулов: «Значение... можно представить как некоторое множество дифференциальных семантических признаков, или компонентов значения» [2, с. 106]; см. также [3, с. 4].

[3] Исходя из такого понимания семантического компонента значения, правомерно, по-видимому, соотнесение значения с пучком признаков, как это делает, например, Р. Клаппенбах [4]. Существует и иная трактовка компонента значения: применительно к толкующей части словаря компонент значения понимается некоторыми исследователями как каждое отдельное слово в толковании (см., например [2, с. 140]).

мы, как «строгий», «культурный», «любит детей». Данные признаки не формируют лексическое значение существительного *учитель*.

Следует несколько слов сказать о семантическом статусе семы. Отражая конкретный признак денотата и, таким образом, объективно существуя в лексическом значении, отдельная сема лексического значения в отличие от него самого не обладает самостоятельным семантическим статусом. Не обладая им, сема тем не менее является полноправной единицей семантического описания, что особенно отчетливо выявляется в тех случаях, когда она становится инвариантом того или иного лексического множества или является дифференцирующим признаком членов его составляющих. Семантический инвариант и дифференцирующая сема определяют характер лексических группировок и принципы их организации. Лексическое значение же характеризуется самостоятельным семантическим статусом, который и составляет его онтологическую сущность. Именно лексическое значение слова в неразрывном единстве с его формой и создает такой уникальный языковой знак, как слово. Препарация же лексического значения на семы — это один из исследовательских приемов, необходимый для определенного рода семантического анализа.

Лексическое значение — это комплекс сем, имеющий как более простое, так и более сложное семантическое строение. Это зависит от различного характера соотношения словесного знака с денотативной, предметной сферой. У одних слов денотат связан с представлением о конкретных предметах, явлениях действительности. В таком случае семантические компоненты в лексическом значении слова выступают рельефно и отчетливо. Для других характерна объективация более обобщенных понятий, в которых находят отражение более сложные явления реальной действительности. Именно в таких обобщенных понятиях заложены определенные потенциальные возможности для развития в сигнификативной сфере лексического значения [4] не какого-то одного релевантного признака объекта, а целого ряда различительных, определяющих признаков. Это, бесспорно, усложняет семантическое строение слова, выявляя в нем добавочные смысловые элементы, нередко представленные имплицитно и являющиеся, таким образом, для исследователя более скрытыми.

В русском языке, в период с XI по XVII вв., существовала обширная группа слов, связанная с обозначением имущества, собственности. Понятие имущества, собственности в исследуемый исторический период было довольно сложным и включало в себя не какой-то один, а целое множество различных признаков. Сложность понятия предопределяет и сложность семантического строения слов, их многосемность. Препарируя лексические значения слов имущественной сферы, можно вычленить целый ряд сем как более обобщенных, так и более конкретных. Семантический инвариант, цементирующий всю лексико-семантическую группу, — обобщенная сема: «совокупность материальных ценностей как предметов обладания, имущество, собственность вообще». Более конкретная сема обозначает определенный вид имущества (например, движимое имущество). Следующая ступень конкретизации — семы, связанные с обозначением «предметов, вещей, употребляемых в конкретном обиходе». Для многих слов имущественной сферы характерна и сема «принадлежности». Определить же их становится особенно важным при историческом изучении лексической семантики. С этой точки зрения представляет особый интерес изучение конфигураций сем в значениях слов в конкретный или конкретные периоды развития языка, исследование изменения семного состава в дальнейшей их истории: выявление сем устойчивых и неустойчивых, изучение их перераспределения в значении (приглушение одних и индуцирование других, актуализация периферийных и угасание ядерных сем). Все эти вопросы особенно актуальны при историческом изучении семантики как отдельного слова, когда необходимо установить этапы его смысло-

---

[4] «Сигнификат и денотат, находящиеся друг с другом в отношениях как содержание понятия к объему понятия, составляют основу значения словесного знака» [6].

вого развития, так и целых лексико-семантических разрядов слов [5], когда выявление семантических компонентов (сем) в значениях семантически близких слов помогает определить различные типы смысловых связей между ними в определенные исторические периоды и на основе этого установить динамику изменений этих связей в последующие периоды развития языка.

Существует несколько методов выделения семантических компонентов в лексическом значении и их проверки. Семантические компоненты слова выявляются: 1) методом эксперимента [6], 2) методом компонентного анализа [7], 3) с помощью словарных дефиниций [13], 4) методом дистрибутивного анализа [14, 15].

Эффективность того или иного метода оценивается исследователями поразному. Так, к опросу информантов как к методу изучения смысловой структуры слова некоторые лингвисты относятся весьма скептически. Й. Коржинек (представитель Пражского лингвистического кружка) еще в 1936 г. по этому поводу писал: «...Осознание языковой структуры наивным носителем языка, так называемое „чувство языка", чаще всего оказывается очень примитивным по сравнению с языковым чутьем лингвиста... Поэтому языковое чутье наивного информанта неправильно расценивать— а это присуще некоторым лингвистам — как критерий, важный также и для лингвистики» [16].

Нет единого мнения и по поводу словарных дефиниций как объективного метода выделения в слове семантических компонентов. Одни исследователи рассматривают словарные дефиниции как один из возможных способов выявления семантических компонентов в словарном значении. Другие — словарные дефиниции в силу их «статичности» не считают надежным объектом для обнаружения семантических компонентов в лексическом значении.

Но так или иначе и информант, и специалист-исследователь современной лексики как носители языка «ощущают» (разумеется, по-разному) внутренние закономерности его лексико-семантической системы, что позволяет с меньшей или большей полнотой все же проникнуть в смысловую структуру слова. Данные современных словарей, где лексикографическая обработка смыслового содержания слова основывается на серьезном исследовании в области теории его лексического значения, сколько бы мы ни говорили о недостатках в его толковании, для семасиолога в его конкретных исследованиях, бесспорно, важны.

[5] Именно в этом видит перспективу исследования исторической лексической семантики славянских языков чешский лингвист Й. Филипец, который в ответах на вопросы по славянскому языкознанию к IX Международному съезду славистов писал: «Лексическая единица в своем значении отражает определенный класс фактов, — речь идет об отношении денотации, референции, экстенсии. Эти отношения, однако, предполагают интенсиональное ограничение объема значения прежде всего с точки зрения родственных слов (частная система). Если нам нужно что-либо обозначить словами *pahorek* „пригорок", *vrch* „холм", *kopec* „горка", *hora* „гора", у нас для этого должны быть определенные критерии. Лексическая семантика вследствие этого не может ограничиться выявлением денотации, она обязана определять значение лексической единицы в связи с ее манифестациями (тем, что будет общим для репертуара их употребления в контекстуальных сочетаниях), в парадигматических связях...» [7].

[6] Метод эксперимента включает в себя два направления: первое заключается в том, что информацию о слове, о семантических компонентах его лексического значения дают сами информанты (см., например, работу Э. Бендикса [8]). Второе направление рассматривает данные, полученные от информантов, как процедуру проверки правильности выделения в слове семантических компонентов, проведенной самим исследователем (см., например, работы О. Н. Селиверстовой). «Принципиальная возможность проверки результатов семантического описания определяется тем,— пишет О. Н. Селиверстова, — что люди, владеющие данным языком, знают значение слова. Поэтому процедуры проверки должны выявить соответствие полученных результатов той информации, которую действительно получает слушатель и передает говорящий... Мы предложили следующие типы проверки смысловых признаков: прямой опрос информантов о том, действительно ли получают они выделенные исследователем сведения...» [9, с. 7]; см. также [10].

[7] Методу компонентного анализа в лексике посвящены многочисленные работы как у нас в стране, так и за рубежом: например, работы О. Н. Селиверстовой, М. Д. Степановой, Э. М. Медниковой, А. М. Кузнецова и др. О направлениях в разработке метода компонентного анализа применительно к лексическому материалу см. [11], а также [12].

Иначе обстоит дело при изучении исторической семантики слова. Метод эксперимента, связанный с опросом информантов, в данном случае явно не срабатывает, т. к. ни информант, ни исследователь не являются носителями языка более ранних эпох. Симптоматичны в этом плане данные, приведенные в статье Л. В. Капорулиной «Историческая изменчивость семантики отдельного слова». Был приведен следующий эксперимент. Студентов III и IV курсов филологического факультета ЛГУ им. А. А. Жданова просили определить значение существительного *начетчик*. «Ни один из опрошенных (их было 15) вне контекста не смог определить, кто такой начетчик...» [17, с. 122], хотя «начетчик в русском языке — сравнительно молодое слово. Первая его словарная фиксация принадлежит САР (1814)» [17, с. 124].

Несомненно, что для историка-семасиолога данные исторических словарей, материалы которых дают исследователю возможность решать целый ряд как конкретных, так и общетеоретических лексико-семасиологических проблем, чрезвычайно важны. Однако, когда важно выявить семантические компоненты в лексическом значении слова в тот или иной исторический период развития языка и установить его семантическую эволюцию, не всегда можно полностью опереться на данные словарей, т. к. картотеки словарей характеризуют, естественно, не все случаи употребления слова, что порождает неточное описание его смысловой организации, а в некоторых случаях нужное для исследователя слово оказывается в картотеке не зафиксированным.

Одним из объективных инструментов в определении семантических компонентов в лексическом значении слова в истории языка является изучение его синтагматических и парадигматических связей.

Интеграция в слове связей синтагматического и парадигматического характера и делает его основной единицей лексико-семантической системы языка. Это важнейшее теоретическое положение не раз подчеркивалось исследователями. Ср., например, высказывание И. Вахека: «Слово принадлежит двум зонам или двум уровням языка: уровню номинации... и уровню синтаксиса» [18]. А. А. Уфимцева пишет, что «...оно (т. е. слово.— *С. К.*), как никакой другой элемент языка, находится на пересечении двух основных языковых координат — парадигматической и синтагматической» [19, с. 47] [8].

Проблема «парадигматического» и «синтагматического» в словесном знаке рассматривается во многих работах прежде всего как общетеоретическая проблема, связанная с разграничением смысловых потенций слова в языке как в системе и в речи как конкретной реализации этой системы. Между тем анализ парадигматических и синтагматических связей слов чрезвычайно важен при его конкретных историко-семантических исследованиях, и прежде всего в плане изучения лексического значения слова, и тесно связан с изучением его контекстного окружения.

Анализ контекста при исследовании различных аспектов языка занял довольно прочное место как в советской, так и в зарубежной лингвистике. Для лексикологов и семасиологов важность анализа контекста при исследовании лексического значения слова в настоящее время является бесспорной и всеми признанной. В этом заслуга трудов В. В. Виноградова, и прежде всего его работ, поднимающих важные теоретические вопросы, связанные с изучением смысловой структуры слова. В статье «Основные типы лексических значений слова» В. В. Виноградов прямо соотносит анализ значения слова с изучением его контекстного окружения: «Значение слова определяется не только соответствием его тому понятию, которое выражается с помощью этого слова...; оно зависит... от общественно осознанных и отстоявшихся контекстов его употребления, от конкретных лек-

---

[8] Ср. также высказывание Д. Н. Шмелева: «Закономерности чередования (парадигматические отношения) и закономерности сочетания (синтагматические отношения) взаимообусловлены... Каждое значение слова характеризуется особыми парадигматическими отношениями, точно так же как и особенностями сочетаемости с другими словами, что и находит отражение в семантической структуре данного слова» [1, с. 156].

сических связей его с другими словами, обусловленных присущими данному языку законами сочетания словесных значений...» [20].

Эти общие указания В. В. Виноградова, необычайно перспективные при изучении исторической семантики слова, стимулируют дальнейший углубленный анализ контекстного окружения слова. Так, Н. Г. Михайловская, изучая системные связи в лексике древнерусского языка, широко использует анализ контекстуальных условий употребления слова, потому что «именно в конкретных условиях текста осуществляется реализация значения» [21, с. 7] (см. об этом же [22, 23]).

Попытаемся показать важность изучения текстологических связей слова для выявления семного состава его лексического значения и установления на этой основе общего семантического инварианта для совокупности слов, связанных с обозначением имущества, собственности и дифференцирующих сем в их значениях.

В лингвистической литературе последних десятилетий существует многообразие определений текстов (или контекстов) [9]. Одни исследователи понимают его узко (ср. следующее определение: «... контекстом надо называть не окружение вообще, а релевантные признаки окружения» [28]), другие — более широко. В данной статье в определении термина «контекст» мы идем вслед за Н. Ю. Шведовой, И. Р. Гальпериным, Г. В. Колшанским, понимающими его достаточно широко. Н. Ю. Шведова вкладывает в понятие «контекста» содержание, «соответствующее как тому, что называется указательным минимумом, так и тому, что служит языковым окружением, языковой обстановкой вообще» [24, с. 144]. И. Р. Гальперин определял «контекст» как «лингвистическую ситуацию», в которой «наблюдаются, анализируются и конкретизируются особенности языковых факторов, являющихся объектом исследования» [29]. Г. В. Колшанский говорил о «контексте» как о грамматически организованном единстве, в котором реализуется семантика единиц всех уровней [30], см. также [31].

Итак, контекстное окружение — один из объективных критериев в определении семантических компонентов в значениях слов. Особая роль в контекстном окружении принадлежит парадигматическим и синтагматическим связям слова, которые становятся релевантными в определенной контекстной позиции слова [10].

Под контекстной позицией слова понимается такое его место в контекстном окружении, которое отчетливо репрезентирует семный состав его лексического значения. Только тщательный анализ контекстных позиций слов, детальное изучение их синтагматических и парадигматических связей дает объективную картину формирования и развития их лексических значений. Остановимся на этом более подробно. Выявление и классификация семантических компонентов происходят в разных типах контекстных позиций. Первый тип контекстной позиции определяется местом слова в таком контекстном окружении, которое реализует конкретный семантический компонент в синтагматических связях. Синтагматические связи характеризуются разной структурной организацией, выявляющей отличия количественного и качественного порядка [11]. Для них характерна разная степень (меньшая или большая) линейной развернутости. Реализация семантических компонентов в лексических значениях или появление новых семантических значимостей в смысловой структуре слова происходит в разных типах синтагматических связей: релевантна может быть семантика контактных, дистантных

---

[9] О различных видах (типах) контекстов см. [24, с. 144; 19, с. 259—260; 25]. Понятие контекста находит свое теоретическое обоснование и в ряде зарубежных лингвистических работ (см., например [26, 27]).

[10] Чрезвычайно плодотворным для нас явилось положение Д. Н. Шмелева о позиционной обусловленности значения [1, с. 156, 161].

[11] О том, какие параметры актуализируются в понятии лексической синтагматики, см. [19, с. 200—228].

слов, синтаксические конструкции с их определенным лексическим наполнением [12].

Второй тип контекстной позиции слова определяется местом слова в контекстном окружении, выявляющем определенные смысловые оппозиции парадигматически соотнесенных слов.

В качестве примера первого типа контекстной позиции рассмотрим синтагматические связи существительного *казна* в древнерусском языке. Письменные памятники древнерусского языка фиксируют необычайно широкое употребление этого существительного. Первая его фиксация относится приблизительно к XIV в. Ср. пример, приведенный в «Материалах» И. Срезневского» (т. I, стлб. 1176): А что наши данщикы сберутъ въ городѣ, и въ станѣхъ, и въ варехъ, тому ити *в* мою *казну* (Дог. гр. Дм. Ив. 1389). Как отмечают этимологические словари русского языка, существительное *казна* — заимствование из тюркских языков. В русском языке XI—XVII вв. оно характеризовалось емкой смысловой структурой. Лексические значения этого слова состояли как из обобщенных семантических компонентов (сем), так и более конкретных. Анализ источников показывает, что существительное *казна* на протяжении всего этого периода широко функционировало в своем наиболее обобщенном значении «совокупность материальных ценностей в виде движимого имущества, составляющего собственность князей, духовенства, бояр в период феодальной раздробленности на Руси и собственность государя и государства в период образования феодального государства».

Это значение имеет четырехсемный состав. Первая сема, являющаяся инвариантом для всей лексико-семантической группы, обозначающей имущество, собственность: «то, что находится во владении, распоряжении кого-л., имущество». Вторая сема качественно характеризует имущество: «совокупность материальных ценностей». Третья сема квалифицирует определенный вид собственности, имущества: «движимое имущество». Четвертая сема обозначает принадлежность: «наименование субъекта владения — преимущественно не частного лица». Все эти семы отчетливо проецируются на синтагматическом уровне существительного *казна*, в типах связи, которые для него характерны: определяемое — определяющее; имя — глагол; конструктивно обусловленные сочетания. Исключительно важное значение приобретает во всех типах связи их лексическое наполнение.

Приведем примеры. Семы, обозначающие «совокупность материальных ценностей» и определенный вид имущества: «движимое имущество» выявляются в сочетаниях существительного *казна* с глаголами *вывозить*, *взять*, *поимать*, употребляющихся в значении «брать с собой» — *Взяша казну* ея [царевны] на своя подводы у наших подвозчиков (Псков. I л. 6981 г.); А изъ тѣхъ городовъ неприятельских люди выбѣжали и *казну вывезли* (Зап. Желяб., 1695, с. 58); И въѣха Юрьи въ Москву и сѣде на княженѣи, а князя Василья Васильевича, братана своего, все княженіе и *казну поима* (Псков. I л. 6942 г.).

Отчетливо проявляет синтагматика слова *казна* сему «принадлежности». На «принадлежность» указывают как согласованные, так и несогласованные определения. По отношению к существительному *казна* они могут занимать как положение препозиции, так и постпозиции. Ср. следующие примеры, приведенные в «Материалах» И. Срезневского: А что наши данщикы сберутъ въ городѣ, и въ станѣхъ, и въ варяхъ, тому *ити въ мою казну*... (Дог. гр. Дм. 1389); А дань *даетъ ко казнѣ великого князя* по уроку (Дух. гр. Вл. Андр. 1410 г.); *Давали* дань и ямъ *въ* мою казну (Дог. гр. Дм. к вел. кн. Вас. Вас. 1433); *Дано изъ государевы изъ* отписной *казны*... бархат бурскои (Расходн. кн. 1584—1585 г.); И ему Семену то... все на немъ Михаилѣ *взять въ государеву казну* (Баг. Мат. XXXV с. 149, 1688—ДРС)[13].

---

[12] Изучение данного типа контекстной позиции по существу смыкается с анализом дистрибутивных связей слов, который прочно вошел в изучение семантики слова. О сущности и надежности дистрибутивного метода в семантике см. [32—34].

[13] Здесь и далее в материалах, извлеченных из картотеки Словаря русского языка XI—XVII вв., ставятся буквы — ДРС. Сокращение картотеки не раскрывается.

В исследуемых памятниках регулярно встречаются сочетания существительного *казна* с прилагательными, представляющими собой открытый ряд и манифестирующими связи реального мира. Эти сочетания конкретизируют сему «движимое имущество» в «определенный вид движимого имущества, конкретных запасов чего-л». Таким образом, существительное *казна* имеет и другое, более узкое значение: «определенный вид движимого имущества, конкретные запасы чего-л.». Ср. сочетания: *денежная казна* (и мн. ч. *денежные казны*) «денежные запасы», *соболиная казна* «мех соболя», *мягкая казна* «пушнина», *хлебная казна*, *аптекарская казна*, *седельная казна*, *санная казна*, *постельная казна*, *платяная казна*, *судовая казна*, *серебряная казна*, *медная казна*, *оловянная казна*, *ризная казна*.

Приведем ряд примеров. *Денежная казна*: А ныне станичники ваши атаманъ Дементей Гавриловъ съ товарыщи съ Москвы на Воронежъ отпущено *съ* нашею *денежною казною* (Цар. Грам. Донск. Войску 1641, Дон. д. II, с. 92 — ДРС); *Соболиная казна*: Въ прошломъ 128 году послана въ Вязьму къ воеводамъ... государева *соболиная казна* на городовое дѣло и на хлѣбную покупку... (АМГ I. Наказ воеводам, 1621, с. 162 — ДРС); *Мягкая казна*: Было послано *мяхгие казны* на десять тысящь (в «Материалах» И. Срезневского, т. I. стлб. 1177); *Хлебная казна*: И тое государевы *хлѣбные казны* чинитца уторъ и мышеѣдство болшое потому, бываеть та твоя государева *хлѣбная казна* за всякимъ цѣловалникомъ многіе лѣта (ДАИ V, 1665—66, с. 24 — ДРС); ср. варьирующееся с ним синонимическое сочетание *хлебные запасы*: А что по ево Семенову счету на Михайлѣ Сусловь государевы денежные казны и *хлебныхъ запасовъ* или инова чево начтено будетъ и ему Семену то все на немъ Михайлъ взять въ государеву казну (Баг. Мат. XXXVI, 1688, с. 143 — ДРС); *Книжная казна*: В томъ кляшторе есть книжное сокровище всякихъ премудрыхъ философскихъ и богословскихъ книгъ, во всей Германіи такой *книжной казны* нѣт (Косм. 1670, с. 50 — ДРС).

С рядом прилагательных существительное *казна* составляет терминированные сочетания. Ср. сочетания *холщевая казна*, *белая казна*, соотносящиеся с обозначением определенного рода материи: Взято Лопатного ряду у торгового человѣка у Михайла Павлова въ Посольской приказъ *къ холщевой казнѣ*, что посылать на Донъ съ казаками, двадцать пять рогожъ долгихъ полуторы сажени, цена за рогожу по четыре копейки. (Дон. д. II, с. 781 — ДРС); И тое государеву *белую казну* велети делавицам двойных и тройных полотен ткати часто и гладко, и убрусы брати чисто и гладко... (Асташ. Кадаш. сл. 1630, с. 55 — ДРС).

Сочетания *оружейная казна*, *пушечная казна*, *зелейная казна*, *свинцовая казна*, *пороховая казна* обозначают «запасы разного рода боеприпасов и вооружения»: Та де королевнина *оружейная казна* у меня въ приказе, и язъ де тѣмъ оружьемъ и дарю (Пам. дипл. снош. МГ с Англиею, II, 1582, с. 39 — ДРС); Бояринъ и воевода Иван Богдановичъ Милославской... *пороховую* и *свинцовую казну* запечатал тою печатью... (Ворон. а. 1671, с. 262 — ДРС).

Ряд конструкций реализует еще одно конкретное значение: «место хранения разного рода имущества, запасов». Ср. конструкции: *положить в казну*, *лежать в казне* — Сорок рублей денег *положил в* большую *казну*... (Кн. прих.-расх. Ант. м. № 1, 1589, л. 273 об — ДРС); А тѣ ядра *лежатъ в казнѣ* (ДАИ, IX, 1681, с. 181 — ДРС). Ср. также сочетания с глаголами, обозначающими «быть расположенным, находиться где-л.»: А противъ каменные полаты, гдѣ *стоитъ* наша великого государя *зелейная* и *пушешная казна*, осыпалось сажени на четыре и болши.. (АЮБ I с. 293 — ДРС).

Итак, приведенный здесь анализ синтагматических связей существительного *казна* показывает, что только тщательное изучение их в тексте дает возможность исследователю с достаточной глубиной проникнуть в смысловую структуру слова и определить его семантический статус в самые отдаленные периоды его исторического развития. Недооценка этих факторов может привести к неточному пониманию значения слова. Именно так произошло в Энциклопедическом словаре Русского Библио-

графического Института «Гранат», где существительное *казна* соотносится только с конкретным видом движимого имущества — домашним имуществом, что является неверным. Ср. определение слова *казна* в этом словаре: «Казна (араб.) в первоначальном словоупотреблении — разные виды домашнего имущества. Теперь К обозначаются имущественные средства государства, а в переносном смысле и само государство, как субъект имущественных прав» [35].

Рассмотрим второй тип контекстной позиции слова, который определяется местом слова в контекстном окружении, выявляющем определенные смысловые оппозиции парадигматически соотнесенных слов. В качестве примера приведем одно из значений существительного *животы* (ед. ч. *живот*), связанное с наименованием имущества, собственности. Это значение конструируется двумя семами: обобщенной «материальные ценности как целое» и более конкретной «движимое имущество». Эта конкретная сема отчетливо выступает в контекстном окружении, выявляющем определенные смысловые корреляции парадигматически связанных слов: «И по смерти своей отписываю въ домъ Вознесенію Христову и Введенію пречистой Богородицы по купчей своей *землю* въ Студименскомъ ...А досталь *живота* моего, скотъ и платье, и сребряное, и мѣдное, и желѣзное, и всякой житейской запасъ, и хлѣбъ дѣтям моимъ... (Список с духовной Цыварева 1614, апр. 4, с. 20); ... а *помѣстья* его и *вотчины*, и *животы* взяти на государя (Ул. Ал. Мих. 1649 г., с. 61 — ДРС); ... которые стрельцы будутъ побиты, и тѣхъ *живот* и *вотчины* продавать (Зап. Желяб., 1683, с. 13); У них *дворы* и *животы* погорели (Арх. Он. Кн. власт. указ. 1688 — ДРС).

В данных примерах дихотомия движимость /недвижимость реализуется в смысловом сопоставлении слова *животы* (*живот*) словом *земля*, *дворы*, *поместья*, *вотчины*.

Итак, изучение контекстных позиций слов, реализующих их парадигматические и синтагматические связи для выявления семантических компонентов в их лексических значениях, представляется чрезвычайно важным. Это позволяет, во-первых, установить семантический потенциал слов в определенные периоды их развития; во-вторых, обнаружить как устойчивые, так и неустойчивые смысловые элементы в значениях, что дает возможность достаточно четко восстанавливать семантичаские контуры слов на том или ином этапе их смыслового развития и установить определенные тенденции в развитии их лексических значений, а это особенно важно для исторической семасиологии; в-третьих, при изучении не отдельного слова, а групп слов в историческом аспекте наиболее точно определить семантический инвариант — некий общий признак, заключенный в смысловой структуре слов определенных групп и объединяющий эти слова в лексические множества, определить дифференциальные признаки, так как наличие общего признака предполагает одновременно и существование отдельного, частного дифференциального признака, и на основе этого установить характер лексических группировок, а внутри них типы системных отношений между их членами.

ИСТОЧНИКИ

Псков I л. — Псковская I летопись.— В кн.: Псковские летописи. Вып. I. М.—Л., 1941.

Зап. Желяб.— Записки Желябужского с 1682 по 2 июля 1709 г. СПБ., 1840.

Список с духовной Цыварева — Акты Холмогорской и Устюжской Епархии. Ч. II. СПб., 1894.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Шмелев Д. Н.* Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.
2. *Караулов Ю. Н.* Общая и русская идеография. М., 1976.
3. *Караулов Ю. Н.* Частотный словарь семантических множителей русского языка. М., 1981.
4. *Клаппенбах Р.* Словарь современного немецкого языка.— В кн.: Актуальные проблемы языкознания ГДР. Язык — идеология общества. М., 1979, с. 283.
5. *Попова З. Д., Стернин И. А.* Лексическая система языка. Воронеж, 1984.

6. *Уфимцева А. А.* Типы словесных знаков. М., 1974, с. 44.
7. *Филипец Й.*— ВЯ, № 4, 1983, с. 51.— Ответ на вопрос № 21.
8. *Bendix E. H.* Componential analysis of general vocabulary: The semantic structure of a set of verbs in English, Hindi and Japanese. Bloomington, 1966.
9. *Селиверстова О. Н.* Семантический анализ слов типа *все*, *all* и типа *кто-нибудь*, *some* в русском и английском языках: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1965, с. 7.
10. *Селиверстова О. Н.* Компонентный анализ многозначных слов. (На материале некоторых русских глаголов). М., 1975.
11. *Долгих Н. Г.* О трех направлениях в разработке метода компонентного анализа применительно к лексическому материалу.— ФН, 1971, № 12.
12. *Вейнрейх У.* О семантической структуре языка.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. V. М., 1976.
13. *Уфимцева А. А.* К вопросу о так называемом дефиниционального методе описания лексического значения слов.— В кн.: Слово в грамматике и словаре. М., 1984.
14. *Михневич А. Е.* Некоторые вопросы системной организации лексики и принципов ее описания.— В кн.: Беларуская лексікалогія і этымалогія: Праграмма і тэзісы докладаў міжрэспубліканскай канферэнцыі па беларускай лексікалогіі і этымалогіі. 19—23 лютата 1968. Мінск, 1968.
15. *Долгих Н. С.* Семантическое поле глаголов эмоций в современном английском языке. Тбилиси, 1970.
16. *Коржинек Й. М.* К вопросу о языке и речи.— В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967, с. 318—319.
17. *Капорулина Л. В.* Историческая изменчивость семантики отдельного слова.— В кн.: Русская историческая лексикология и лексикография. Вып. 3. Л., 1983.
18. *Вахек И.* Лингвистический словарь пражской школы. М., 1964, с. 202.
19. *Уфимцева А. А.* Слово в лексико-семантической системе языка. М., 1968.
20. *Виноградов В. В.* Основные типы лексических значений слова.— В кн.: *Виноградов В. В.* Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977, с. 165.
21. *Михайловская Н. Г.* Системные связи в лексике древнерусского книжно-письменного языка XI—XIV вв. Нормативный аспект. М., 1980, с. 7.
22. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974, с. 349.
23. *Маковский М. М.* Системность и асистемность в языке. М., 1980, с. 40.
24. *Шведова Н. Ю.* Типы контекстов, конструирующих многоаспектное описание слова.— В кн.: Русский язык. Текст как целое и компоненты текста (Виноградовские чтения. XI). М., 1982.
25. *Кодухов В. И.* Контекст как лингвистическое понятие.— В кн.: Языковые единицы и контекст. Л., 1973, с. 18.
26. *Ullmann S.* The principles of semantics. Glasgow, 1951, p. 65.
27. *Meyer P. M.* Die militärischen Titel.— Zeitschrift für deutsche Wortforschung, 1910, Bd. 12.
28. *Литвинов В. П.* О выходе грамматики в систему текста.— В кн.: Лингвистика текста: Материалы научной конференции. Ч. I. М., 1974, с. 175.
29. *Гальперин И. Г.* О понятии — «текст».— В кн.: Лингвистика текста: Материалы научной конференции. Ч. I. М., 1974, с. 67.
30. *Колшанский Г. В.* О понятии контекстной семантики.— В кн.: Теория языка. Англистика. Кельтология. М., Наука, 1976.
31. *Колшанский Г. В.* О природе контекста.— ВЯ, № 4, 1959.
32. *Кузнецова А. И.* Структурные методы анализа языка на семантическом уровне.— В кн.: Актуальные проблемы лексикологии: Тезисы докладов лингвистической конференции. Новосибирск, 1967.
33. *Раевский М. В.* Дистрибутивный анализ в исследовании лексических синонимов.— В кн.: Тезисы докладов межвузовской конференции по применению структурных и стилистических методов исследования словарного состава языка. М., 1961.
34. *Перебейнос В. И.* Опыт использования структурных методов для разграничения многозначного глагола.— В кн.: Тезисы докладов межвузовской конференции по применению структурных и стилистических методов исследования словарного состава языка. М., 1961.
35. Энциклопедический словарь Русского Библиографического Института «Гранат». М., б. г. т. 23, стлб. 142.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1986

СТАРИЧЕНОК В. Д.

О ГИПОНИМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ В СТРУКТУРЕ ПОЛИСЕМАНТА

(На материале белорусских говоров)

Семантическая структура слова представляет собой единство взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов. Эти элементы связываются между собой самыми разнообразными отношениями (эпидигматическими, параллельными, гипонимическими). Гипонимические (гипо-гиперонимические, родо-видовые, категориально-спецификационные, эксклюзивно-инклюзивные [1, 2]) отношения, широко представленные в народных говорах, еще недостаточно полно освещены в лингвистической литературе. Чаще всего они рассматриваются при анализе определений лексических значений в толковых словарях, используются как способ организации материала при построении тезаурусов и информационно-поисковых систем, приводятся в качестве иллюстраций определенного типа системных отношений в лексике, анализируются в связи с другими проблемами (чаще в синонимическом ряду или в сопоставлении с антонимией и синонимией [3—11]) и почти не рассматриваются в рамках семантической структуры полисеманта.

В предлагаемой статье анализу подвергаются гипонимические отношения, обнаруживаемые между лексико-семантическими вариантами (ЛСВ) в структуре полисеманта, так называемые внутренние гипонимические отношения (в противоположность внешней гипонимии, проявляемой между различными лексическими единицами), которые представляют собой одну из типологических разновидностей полисемии. Исследование проводится как в относительно небольших диалектных континуумах, так и в рамках диалектного языка — полисистемы, которая включает в себя множество частных диалектных систем, не сводимых в итоге к их сумме, и объединяет общенародные элементы с локализмами различного происхождения и различных временных срезов [12—17]. Моделирование диалектного языка представляется реальным в силу действия на всей исследуемой территории общих тенденций семантического развития, обусловленных структурой и генетической близостью частных диалектных систем, общностью их исторического развития и функционирования в условиях взаимодействия друг с другом и литературным языком, интеграционными процессами в экстралингвистической реальности и другими причинами [12, 15—16, 18—20]. Материалом для исследования послужили данные множества словарей белорусской диалектной лексики, картотеки Лексического атласа белорусских народных говоров и собственных записей, сделанных во время диалектологических экспедиций 1977—1983 гг.

Гипонимическая связь между ЛСВ основывается на включении, подчинении вида роду, частного общему, низшего высшему (при эпидигматическом и параллельном развитии ЛСВ на первый план выдвигаются производность, зависимость или же равноправность вторичного и исходного ЛСВ). Структуры полисемантов с гипонимическими отношениями в народных говорах чаще всего бивариантны, в диалектном языке — это, как правило, поливариантная единица. Один из ингредиентов таких структур имеет более обобщенное (родовое, инклюзивное, гиперонимическое), другой (или другие) — более узкое (специальное, видовое, эксклюзивное, гипонимическое) значение. Схематически этот вид отношений был бы изображен в виде кругов, включенных один в другой (включенной дистри-

буции), или в виде разновидностей формулы $(R + V) \supset R$, $R + (V_1 + V_2) \supset R$, $R + (V_1 + V_2 + V_3) \supset R$, где R — семантическое содержание родового ЛСВ (гиперонима), V — дополнительное семантическое содержание видового ЛСВ (гипонима), $\supset$ — знак включения [21; 5, с. 8].

Существенно не отличаясь квалитативными характеристиками, эти формулы в большей степени различаются квантитативно, что обусловлено шириной диапазона денотативной соотнесенности единиц, включающихся в гипонимические отношения, а также принадлежностью этой единицы к определенной тематической группе. Квалитативные же различия касаются не формулы в целом, а отношений, возникающих внутри формулы между отдельными гипонимами. Эти отношения могут дополняться семантическими связями по сходству формы, объему, функции и пр., что усиливает прочность их сцепления в структуре слова [22], или же могут быть эквиполентными (равноправными) и касаться частичной денотативной вариативности (сами гипонимы в этом случае называются эквонимами [23; 5, с. 8] или же согипонимами [11, с. 81]). Формула эквиполентных отношений получит следующее выражение: $(R + V_1) \cap (R + V_2) \cap (R + V_3)$, где знак $\cap$ выражает перекрещивание, пересечение, частичное совмещение. Изобразив эквиполентные (resp. эквонимические, согипонимические) отношения схематически, можно построить геометрическую модель в виде нескольких пересекающихся кругов, вписанных в комбинации треугольников (интерпретация этой модели последовательно изложена в книге А. К. Алекперова [24]).

В ряде случаев гипонимическая модель представляет собой многоступенчатую (или цепочную) структуру. Один ее ингредиент (гипероним) является родовым по отношению к гипониму, который в свою очередь включает менее объемные единицы (гипонимы второй степени). Такое соотношение ЛСВ дает реальную возможность последовательного детализирования классов и подклассов лексических единиц и подробной классификации [11, с. 81].

Смысловые преобразования по гипонимической формуле обнаруживаются, как правило, в пределах одной и той же тематической группы, что является почти обязательным условием при такого рода отношениях. Состав тематических групп, довольно пестрый и разнообразный, более наглядно мог бы быть представлен в виде таблицы, отражающей гиперонимические и гипонимические ЛСВ и характер их дополнительного соотношения. Из-за ограничения объема статьи приведем лишь некоторые примеры такой таблицы:

1. Посуда, емкости: гродн., мог. *сýдзіна* «деревянная посудина; большая кадка из клепок; кадка для зерна» (Стец., III; Бельк.), гродн. *пля́шка* «бутылка; плоская посудина для питья» (Стец., III), полоц., брест., гродн. *барэ́лка* «бочка; бочка с двумя днами» (СП);

2. Помещения: гродн., брест., вит., мог. *бýда* «помещение вообще (обычно временное); будка для собаки; шалаш; крытый возок; крытый кузов телеги; будка, где хранится картофель» (Стешк.; Касп.; СП; Янк., II; Стец., III), мог. *пакóі* «вообще большой богатый дом с множеством комнат; панский дом» (Янк., II);

3. Одежда: гродн., брест., мин., полоц. *плáцце* «общее название одежды; белье; платье» (СП; МС; Бельк.; Стешк.; ЛП; Юрч., I), мин. *капóта* «одежда вообще; верхняя женская одежда свободного покроя» (ММГ, I), полес. *спаднíца* «общее название для юбки; нижняя плотная юбка» (ЛП), гродн. *адзéнне* «одежда; белье» (СП);

4. Человек: мин., гом. *чалавéк* «человек; муж» (Шат.; Бельк.), мог. *цётка* «женщина; сестра отца или матери» (Бельк.), мог. *дзя́дзька* «старший, более взрослый мужчина; брат отца или матери» (Бельк.), мин., гродн., полоц. *дзéўка* «девушка; служанка» (СП), гродн., полоц. *дзяцю́к* «парень вообще; старый холостяк» (СП; Касп.);

5. Животные: гом. *тавáр* «скот (вообще); корова» (ЗНС), гродн. *живíна* «живое существо; животное» (ЖС; СП);

6. Грибы: гом., мог., полоц., гродн. *казля́к* «общее название грибов, кроме боровика; масленок» (СП; ЖС; МС), гом. *соўя́к* «общее название гри-

бов, кроме боровика; подосиновик» (ЖС), мин. *добры грыб* «общее название съедобных грибов; боровик» (НСл.), мин. *пля́ха* «общее название старых грибов; очень большой боровик» (НСл.), мин. *жаўця́к* 'общее название старых сушеных грибов желтоватого цвета; желтый боровик; моховик» (НСл.);

7. Транспортные средства: общ. *воз* «телега (вообще); телега для перевозки бревен, леса; телега для перевозки сена, соломы; телега с ящиком», общ. *сані* «сани вообще; сани-розвальни; выездные сани»;

8. Пища: мин., полоц. *стра́ва* «вареная пища; разновидность кушаний» (СП), полес. *борщ* «общее название жидкого кушанья; жидкое кушанье из капусты и свеклы; жидкое кушанье из свеклы или ботвы» (ЛП), полес. *варёнки* «общее название супа; картофельный суп» (ЛП);

9. Зерно: мог., мин., гродн., брест. *пашня́* «общее название зерновых культур (зерно); вид (сорт) зерновых культур» (СП; НС) и др.

Отношения между ЛСВ в структуре полисеманта, как это видно из примеров, основываются на самых разнообразных противопоставлениях. В тематической группе «посуда, емкости» гиперонимическим ЛСВ является наименование посуды вообще без указания каких-либо ее дифференциальных и отличительных признаков. Гипонимические же ЛСВ как раз и выдвигают на передний план эти отличительные признаки (формы, материала изготовления, конструкции, назначения), акцентируя на них внимание и наслаивая их на гиперонимический ЛСВ. Благодаря целостности семантики гиперонимического ЛСВ, его высокому уровню обобщения (об обобщающей функции слова здесь мы только упоминаем) не наблюдается разрыва семантического единства слова. Возникают гипо-гиперонимические отношения, допускающие параллельное сосуществование общего и частного в единой структуре слова. Подобного рода отношения наблюдаются, как правило, у полисемантов с предметной (референтной), реже — понятийной (сигнификативной) соотнесенностью. Так, для тематических групп «помещения», «транспортные средства», «одежда» признаками, противопоставляющими ЛСВ, служат специализация, назначение, строение, вид, конструктивные особенности реалии. В группе «человек» дифференциальными семантическими признаками противопоставления являются положение человека в обществе, его профессия, возраст, пол, родственные отношения, семейное положение, в группе «грибы» — качество гриба, его размер, цвет, в группе «пища» — качество пищи, ее консистенция и разновидности, зависящие от входящих в нее компонентов.

Довольно многочисленную группу составляют полисеманты, характеризующиеся широкой сетью гипонимических ЛСВ (они соотносятся с большим количеством денотатов, нижний предел которых, по существу, является открытым), их экспансией, притяжением в сферу действия других тематических групп, осложнением квалитативно-квантитативными, пространственными, цветовыми и другого рода отношениями. Содержательные связи ЛСВ в этом случае выходят за пределы гипонимии, включаясь в преобразовательный процесс специализации (детализации) и становясь, таким образом, синкретическими. Например, полоц., гродн., мин. *ля́ска* «кий, палка; вертикальная палка в плетне; горизонтальная жердь ограды; планка в кузове телеги; планка в верше» (СП), брест. *во́локы* «все, что цепляется за ноги при ходьбе; остатки зерновых на поле, которые цепляются за ноги жнице» (ЗНС), мог. *жыга́ла* «все, что печет, колется; жало» (Мат. мог.), полоц., мин., гродн. *гра́нка* «про множество чего-либо, расположенного кучно; гроздь; куст лука, картофеля; соты» (НЛ; СП; Шатал.), мог. *пло́йма* «множество, большое количество; детвора» (Бельк.), гродн. *зелянíна* «зелень (вообще); ветви кустов» (СП), мин. *со́пуха* «про что-либо очень черное; сажа» (НСл.) и мн. др.

Такого рода широкая денотативная соотнесенность обусловлена абстрагированным, максимально обобщенным характером гиперонимического ЛСВ, благодаря чему слово становится полиденотативным. Суть полиденотативности заключается не в количестве обозначаемых полисемантом денотатов (в таком случае это явление было бы тождественно полисемии), а в отсутствии нижней границы денотативной вариативности, в не-

замкнутости, открытости системы и общности сигнификативной основы. Полиденотативность близка эврисемии (или широкозначности), развивающейся в результате абстрагирования, отвлечения от конкретных свойств первичных денотатов и получающей конкретизацию, известное сужение (но не изменение или элиминацию) в контексте (отличительной синтагматической особенностью ее является полифункциональность) [25—31].

Одним из проявлений эврисемии является фиксация в дефиниции словарной статьи при гиперонимическом ЛСВ пояснений и уточнений типа «общее название», «вообще» (см. ниже «помещение вообще», «общее название одежды», «одежда вообще», «общее название съедобных грибов», «общее название старых грибов», «общее название жидкого кушанья», «общее название зерновых культур»). Значительно реже такого рода уточнения употребляются при гипонимическом ЛСВ (см. «вид (сорт) зерновых культур», «разновидность кушаний»). Соотношение гипонимического и гиперонимического ЛСВ в таких случаях является ярко выраженным, материализованным. Гиперонимический ЛСВ в структуре полисеманта может не фиксироваться вообще. Формально не выражаясь, такой ЛСВ присутствует в структуре полисеманта лишь имплицитно, что обусловлено характером подачи материала в словарях, их типом и объемом, особенностями лексикографического метаязыка, способами и приемами описания семантической структуры слова. В этом случае гипонимические отношения затмеваются, становясь нечеткими, невыразительными. Яркая выраженность гипонимических отношений или их имплицитность в каждом диалектном континууме проявляется по-разному: носителям говора могут быть известны все ЛСВ или только какая-то их часть (в последнем случае гипонимические отношения вообще утрачиваются); один из ЛСВ может восприниматься со стилистической или коннотативной окраской, второй — нейтрально; различия могут касаться диахронического среза, стратификационной вариативности, интерференционных процессов и пр.

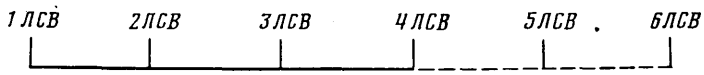
Развитие гипонимических отношений может осуществляться в двух направлениях: от гипонима к гипероним и наоборот. Обязательным условием первого направления является широкое контекстное употребление гипонима, постепенное расширение его семантического объема и превращение частной денотативной соотнесенности в общую, абстрагирование, отвлечение от индивидуальных особенностей денотата, их нейтрализация и, как результат этого, преобладание сигнификативного содержания над денотативным (конечным пределом такого развития является возникновение понятия). Второе направление — это развитие эксклюзивной связи, сужение (свертывание) семантики гиперонимического ЛСВ, его конкретизация (детализация), которая осуществляется в зависимости от конкретного употребления лексической единицы, ее сочетаемости и контекстных условий. Конкретизация — это не появление качественно новой единицы, не разрыв семантических связей с исходным ЛСВ, а одно из применений (употреблений) гиперонимического ЛСВ, его конкретная реализация, приспособленная к коммуникативным функциям. При конкретизации на передний план выдвигаются разнообразные признаки денотата. Актуализироваться же в говорах могут как существенные, так и несущественные признаки, что в общем-то нерелевантно для гипонимического противопоставления (это более важно при анализе эквонимических отношений). В отдельных случаях гипонимический ЛСВ может становиться терминологически закрепленным. Процесс детализации (специализации) ЛСВ обусловлен и спецификой диалектной лексики, прежде всего действием в говорах тенденции к лексической (resp. семантической) дифференциации, которая на современном этапе развития диалектных систем начинает уступать место тенденции к интеграции (а это способствует развитию гиперонимического ЛСВ).

Пространственный фактор, осложняющий гипонимические отношения, вносит заметные коррективы в семантическую структуру полисеманта. В различных координатах лингвистического пространства могут наблюдаться различные результаты гипонимической вариативности (вплоть до ее аннулирования), что в свою очередь свидетельствует о различии (или

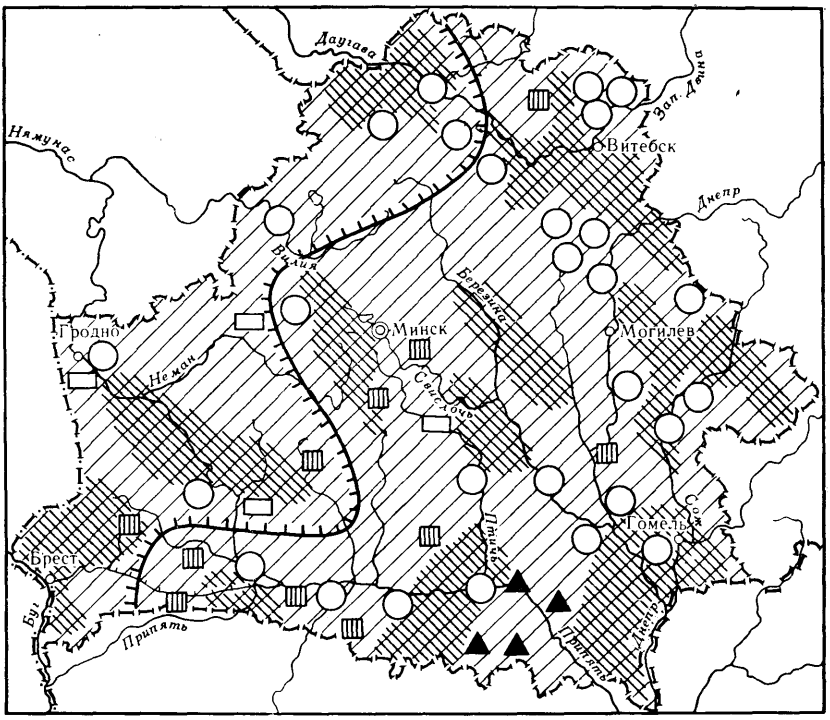
близости) диалектных континуумов. Статус ЛСВ (гипонимического или гиперонимического) может не совпадать не только в различных говорах, но и у разных носителей одного говора. В некоторых случаях гиперонимический ЛСВ присутствует лишь имплицитно, формально не выражаясь, а то и вообще отсутствует. Пропуск отдельного звена гипонимического развития в определенном говоре обусловлен присутствием в нем другой лексической единицы, заменяющей родовой ЛСВ. Отсутствие одного из компонентов гипонимического противопоставления в отдельном говоре способствует преобразованию полной гипонимии в неполную (усеченную) или ее утрате. Гипонимические отношения в таком случае реализуются в широком лингвистическом ареале или диалектном языке вообще (гиперонимический и гипонимический ЛСВ фиксируются в различных, часто территориально не связанных говорах).

Гипонимические отношения в структуре диалектного языка и частных диалектных системах изоморфны по своему устройству, универсальны по характеру проявления. Различия, обусловленные территориальным фактором, касаются в основном квантитативных характеристик и возникающих при этом квалитативных вариаций эквонимических ЛСВ (ведь каждый ЛСВ характеризуется своего рода уникальностью и неповторимостью, ибо он отражает объективный мир, где практически отсутствует абсолютная дублетность и повторяемость).

Наиболее же распространенной эксплицитной формой гипонимии в диалектном языке является структура полисеманта, гиперонимический ЛСВ которой охватывает всю исследуемую территорию, а гипонимические ЛСВ локализуются в различных ее участках. Гипероним является как бы общим фоном, в различных ареалах которого происходит специализация (конкретизация) его семантики. Сам процесс семантического преобразования гиперонима в отдельных континуумах первоначально осуществляется в рамках относительно небольшого количества носителей говоров, где только намечаются отдельные семантические сдвиги. На дальнейшее развитие потенциональных возможностей ЛСВ оказывают влияние прежде всего частота его употребления, контекст, дистрибутивные свойства и различного рода экстралингвистические факторы. Постепенно расширяется сфера употребления специализированного ЛСВ, он закрепляется в узусе и получает широкие возможности для дальнейших семантических трансформаций и пространственного развития. Специфичность преломления гиперонимического ЛСВ в различных координатах лингвистического пространства, заключающаяся в преобразованиях прежде всего квалитативного характера (изменении денотативной основы, приобретении ЛСВ коннотативного содержания, совмещении различных временных срезов, наличии культурно-этнического компонента), ведет к росту ЛСВ, увеличивает семантическую парадигму слова. Шкала этой парадигмы, расположение на ней ЛСВ (периферийное, центральное или срединное), их статус, ареальная проекция, структура, характер взаимообусловленности при общей зависимости от гиперонимического ЛСВ отражают семантическую эволюцию слова, амплитуду его семантических колебаний. Например, на шкале семантической парадигмы полисеманта *луг* располагается 6 ЛСВ, исключая гиперонимический ЛСВ «луг вообще», присутствующий реально или потенциально в каждом из участков шкалы (она обозначена непрерывной линией):



Первый ЛСВ «суходольный луг» занимает крайнее левое положение в общей цепи семантического развития. Его же пространственная проекция свидетельствует о наиболее широкой распространенности (см. карту). Второй ЛСВ «заливной луг, затапливаемый в весеннее время и высыхаемый летом» распространен на значительной территории говоров (более компактные ареалы сосредоточены в восточной части белорусских гово-



Условные обозначения: 1 — луг вообще; 2 — суходольный луг; 3 — заливной луг; 4 — мокрый луг; 5 — низкое заболоченное место с кустами; 6 — болото; 7 — небольшой природный водоем.

ров), являясь как бы связующим звеном между первым и третьим ЛСВ. Одна из его семных частей — «высыхаемость» — присутствует в первом ЛСВ, вторая часть — «затапливаемость» — в третьем ЛСВ. Третий ЛСВ «мокрый луг» занимает относительно небольшой ареал в гомельских говорах. В четвертом ЛСВ «низкое заболоченное место с кустами» наблюдается усложнение его семантической части, приводимое к качественному изменению денотативной основы и затмеванию гипонимических отношений, которые уже перестают ощущаться в пятом ЛСВ «болото». Последний ЛСВ «небольшой природный водоем» является пределом семантического развития слова, его нижней границей. Он максимально удален от первого ЛСВ, связан с ним через посредничество пятого ЛСВ, хотя распространен на значительной территории западных белорусских говоров. Точка четвертого ЛСВ на этой шкале рассматривается в качестве условной границы действия гипонимических отношений; последующие точки указывают на протяженность и непрерывность семантического развития.

Направление пространственного развития семантики слова обусловлено характером преломления гиперонимического ЛСВ в каждом континууме и общественными условиями, в которых происходит это преломление, географией дистрибуции ЛСВ, его семантической нагрузкой и частотой употребления, своеобразием лексической системы говоров, наличием в них контактных зон (для белорусских говоров это белорусско-польская, белорусско-литовская, белорусско-латышская, белорусско-русская, белорусско-украинская), полилингвальных регионов, влиянием литературного языка, дескриптивностью полисеманта и его ЛСВ, изменением состава носителей говоров и другими причинами. В зависимости от преобладания той или иной причины в диалектном языке наблюдается, с одной стороны, большое количество сложных структур, распределяющих свои элементы в разной степени по различным диалектным континуумам, с другой, — не менее численное количество бивариантных структур, ха-

рактеризующихся локальной прикрепленностью и эксплицитностью гипонимических отношений. Лингвистическая карта проявляет такие структуры нечеткими по конфигурации, расплывчатыми ареалами (часто они характеризуются прерванностью и ненаполненностью), а также множеством дробных, локально ограниченных ареалов (причем они редко совпадают с границами диалектного членения по лексическим, фонетическим и морфологическим признакам), что в целом усложняет лингвистический ландшафт исследуемой территории (см. карту).

Таким образом, внутренняя гипонимия является одним из универсальных типов семантических отношений в лексике и связана в целом с логикой человеческого мышления [32—33], его обобщающей и классифицирующей функцией. Движущей силой развития внутренней гипонимии является тенденция к преодолению асимметричности языка, заключающейся в отсутствии в определенных говорах родового обозначения для видовых понятий (эта лакуна восполняется не появлением новой лексической единицы, а совмещением в одном слове гипонимического и гиперонимического значений) [33]. Являясь результатом закономерного семантического развития, регулируемого общественными потребностями, и характеризуясь универсальностью своего проявления, гипонимические отношения по-разному преломляются в каждом диалектном континууме и в разных лексико-тематических группах. Пространственная проекция показывает многообразие существующих в говорах преобразований гипонимической формулы, ее специфичность в различных координатах исследуемой территории, эксплицитность или имплицитность гипонимических отношений, направление квалитативного развития и квантитативного роста ЛСВ, амплитуду их колебаний, соотношение ЛСВ в структуре слова, их подвижность и характер взаимодействия в системе диалектного языка, что обусловлено целым комплексом причин как экстралингвистического (денотативной соотнесенностью, стратификационной вариативностью, изменением социального состава носителей говоров, идиоэтническим показателем, общественно-социальным контекстом), так и интралингвистического (специфичностью лексической системы отдельных говоров, влиянием литературного языка, дистрибутивными свойствами) характера.

ИСТОЧНИКИ

Бельк.— *Бялькевіч І. К.* Краёвы слоўнік усходняй Магілёўшчыны. Мінск, 1970.
ЖС — Жывое слова. Мінск, 1978.
ЗНС — З народнага слоўніка. Мінск, 1975.
Касп.— *Каспяровіч М. І.* Віцебскі краёвы слоўнік. Віцебск, 1927.
ЛП — Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря. М., 1968.
Мат. мог.— Матэрыялы да абласнога слоўніка. Магілёўшчыны. Мінск, 1981.
ММГ, I — Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак. Мінск, 1970.
МС — Матэрыялы для слоўніка народна-дыялектнай мовы. Мінск, 1960.
НЛ — Народная лексіка. Мінск, 1977.
НС — Народнае слова. Мінск, 1976.
НСл.— Народная словатворчасць. Мінск, 1979.
СП — Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Т. I — IV. Мінск, 1979—1984.
Стец., III — *Сцяцко П. У.* Народная лексіка і словаўтварэнне. Мінск, 1972.
Стешк.— *Сцяшковіч Т. Ф.* Матэрыялы да слоўніка Гродзенская вобласці. Мінск, 1972.
Шат.— *Шатэрнік Н.* Краёвы слоўнік Чэрвеньшчыны. Мінск, 1929.
Шатал.— *Шаталава Л. Ф.* Беларускае дыялектнае слова. Мінск, 1975.
Юрч., I — *Юрчанка Г. Ф.* Дыялектны слоўнік (З гаворак Мсціслаўшчыны). Мінск, 1966.
Янк., II — *Янкоўскі Ф. М.* Дыялектны слоўнік, II. Мінск, 1960.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Никитин М. В.* Лексическое значение слова (структура и комбинаторика). М., 1983, с. 29.
2. *Никитин М. В.* О содержательных связях значений в семантической структуре слова.— Уч. зап. Владимирск. госпедин-та, 1971, т. 36, вып. 6, с. 43.
3. *Матлина Г. А.* К вопросу о гипонимической группе.—В кн.: Семантика языковых единиц. Л., 1975.

4. *Лебедева Л. Б.* Типы семантических связей в современном английском языке (антонимия, синонимия, гипонимия): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1977.
5. *Дяченко Л. Д.* Гипонимия в системе английского глагола: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1976.
6. *Банина Н. В., Шеремет Л. Г.* Гипонимия как отражение системности в лексике.— В кн.: Слово в парадигматике и синтагматике (на материале германских языков). Саранск, 1984.
7. *Макарова Л. И.* О типологическом изучении гиперонимии в лексике.— В кн.: Тыпалогія славянскіх моў і ўзаемадзеянне славянскіх літаратур. Минск, 1977.
8. *Новиков Л. А.* Семантика русского языка. М., 1982, с. 138, 241—242.
9. *Денисов П. Н.* Лексика русского языка и принципы ее описания. М., 1980, с. 103—105, 115.
10. *Уфимцева А. А.* Лексика.— В кн.: Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972, с. 414.
11. *Лысякова М. В.* Гипонимия как выражение родо-видовых отношений в лексике русского языка.— РЯШ, 1984. № 6.
12. *Филин Ф. П.* О так называемом «диалектном языке». ВЯ, 1981, № 2.
13. *Калнынь Л. Э.* Опыт моделирования системы украинского диалектного языка. М., 1973.
14. *Оссовецкий И. А.* Лексика современных русских народных говоров. М., 1982, с. 3—5.
15. *Сороколетов Ф. П.* К вопросу о системных отношениях в лексике народных говоров.— В кн.: Диалектная лексика. 1975. Л., 1978, с. 18—21.
16. *Сороколетов Ф. П.* Семантическая структура слова в диалектных словарях.— В кн.: Вопросы изучения лексики русских народных говоров. Л., 1972.
17. *Назарова Т. В.* Из наблюдений над междиалектными контактами (к понятию сопротивления системы).— В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и сообщения. 1973, М., 1975, с. 98.
18. Вопросы теории лингвистической географии. М., 1962, с. 3—11.
19. *Горшкова К. В., Калнынь Л. Э.* О некоторых вопросах теории диалектологии.— Вестник МГУ, сер. 9, 1984, № 6.
20. *Клепикова Г. П.* Изучение лексико-семантических явлений в единичной языковой системе и в совокупности языковых систем.— В кн.: Теоретические проблемы семантики и ее отражение в одноязычных словарях. Кишинев, 1982.
21. *Кондаков Н. И.* Логический словарь-справочник. М., 1975, с. 89, 438—439.
22. *Корованенко Т. А.* Семантические основы выделения многозначных слов и омонимов в диалектном словаре (на материале Словаря брянских говоров).— В кн.: Исследования по исторической семантике. Калининград, 1980, с. 17.
23. *Никитин М. В.* Лексическое значение в слове и словосочетании. Владимир, 1974, с. 39.
24. *Алекперов А. К.* Лексическая семантика простых глаголов в современном азербайджанском языке. Баку, 1983, с. 46—50.
25. *Плоткин В. Я., Гросул Л. Я.* Широкозначность как лексико-семантическая категория.— В кн.: Теоретические проблемы семантики и ее отражение в одноязычных словарях. Кишинев, 1982.
26. *Лебедева Л. Б.* Функциональные особенности имен существительных широкой семантики.— В кн.: Теоретические проблемы семантики и ее отражение в одноязычных словарях. Кишинев, 1982.
27. *Жукова Т. В.* Об оправданности выделения широкого значения как особого типа лексических значений слова.— В кн.: Исследования по семантике русского языка. Уфа, 1979.
28. *Колобаев В. К.* О некоторых смежных явлениях в области лексики (К вопросу о соотношении полисемии и широкозначности).— ИЯШ, 1983, № 1.
29. *Дианова Е. М.* Взаимодействие лексико-семантических вариантов в семантической структуре слова (на примере английских существительных с широкой понятийной основой): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1979.
30. *Джоламанова Б. Д.* Имя существительное с широким значением в лексической системе современного английского языка: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1978.
31. *Феоактистова Н. Ф.* Формирование семантической структуры слова (На материале древнеанглийских отвлеченных имен): Автореф. дис. на соискание уч. ст. док. филол. наук. Л., 1984, с. 11—14.
32. Общее языкознание. Минск, 1983, с. 192—194.
33. Русский язык и советское общество (социолого-лингвистические исследования). Лексика современного русского литературного языка. М., 1968, с. 126.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1986

РАЗИНКИНА Н. М.

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ

К настоящему времени накопилась довольно обширная лингвистическая литература по вопросу о функциональных стилях (художественном, научном, деловом, газетном, публицистическом). При этом функциональные стили определяются как устойчивые системы, способные регулировать отбор языковых средств в своих конкретных текстовых проявлениях. Факту устойчивости придается столь большое значение, что он возводится в ранг основополагающих характеристик функционального стиля. По-видимому, это не лишено основания. Действительно, само понятие функционального стиля могло возникнуть только благодаря тому, что исследователи стали обращать внимание на повторяющиеся (рекуррентные) языковые особенности той или иной группы текстов — в первую очередь, научных и деловых.

Поскольку само понятие функционального стиля возникло на основе идеи устойчивости в отборе языковых средств, другая сторона этого понятия, а именно, динамический, подвижный характер устойчивости, не получила столь же широкого освещения. Между тем каждому, кто интересуется данной проблемой, ясно, что языковые особенности функционального стиля определяются взаимодействием двух противоборствующих тенденций: тенденцией, имеющей центростремительный характер и создающий то, что принято называть функциональным стилем, и тенденцией, носящей центробежный характер. Последняя имеет столь же существенное значение, что и первая, поскольку именно центробежная тенденция определяет то, что называют «стилевым варьированием», «диапазоном внутристилевого варьирования», «внутристилевой дифференциацией», «возможными отклонениями от принятых стилевых норм» и т. п. Иначе говоря, центробежные силы, действующие одновременно с центростремительными, создают подвижность в языковом составе конкретных текстов, принадлежащих тому или иному функциональному стилю. Именно они обусловливают постоянную динамику в развитии функционального стиля и позволяют говорить о закономерностях языкового отбора, а не о явлениях, раз и навсегда закрепленных за научными, художественными, деловыми и другими текстами.

Если оценить имеющиеся данные по языковым особенностям функциональных стилей с количественной стороны, то, по-видимому, можно сказать, что мы располагаем несравненно бóльшим числом данных, свидетельствующих о повторяющихся, стабильных признаках научных, газетных и других текстов, и гораздо меньшим числом данных, свидетельствующих о диапазоне возможных различий, вариаций и отклонений.

Возникают следующие вопросы: в каких языковых явлениях этот диапазон велик, в каких он меньше; в функционировании каких языковых фактов наблюдается бóльшая стереотипность и в каких — меньшая, какие явления указывают на большее разнообразие, а какие на меньшее. Ответ на эти и подобные вопросы способен показать, что функциональный стиль, являясь абстракцией высокого порядка, не может создаваться действием только однонаправленных тенденций. Вряд ли правомерно безоговорочно приписывать тому или иному функциональному стилю перечень тех или иных признаков. Вероятно, справедливее говорить о диапазоне возможных вариаций и отклонений, о пределах возможных языковых реализаций.

Представляется, что при таком подходе мы сможем получить представление о функциональном стиле не как о явлении, характеризуемом инвентарным набором признаков, а как о живом, динамичном феномене. Справедливым представляется суждение о том, что само учение о функциональных стилях относится к области изучения языковой вариативности. Не перечисление языковых средств, характерных для того или иного стиля, а комплексное и подробное описание его качеств в их вариативных проявлениях — вот что является в настоящее время основной задачей лингвистов, занимающихся проблемами функциональной стратификации языка [1].

Явление внутристилевого варьирования представляет собой своеобразный тип неустойчивого равновесия; оно характерно для сложных саморегулирующихся систем и состоит в поддержании — в допустимых пределах — параметров, являющихся существенно важными для сохранения той или иной системы. В применении к нашему объекту это связано с рассмотрением ряда фактов, например, таких, как диапазон распространенности тех или иных признаков функционального стиля в различных текстовых проявлениях последнего (имеется в виду степень «освоения» различными текстами определенного языкового явления); выявление так называемых стилистических полюсов, т. е. возможностей экстремального проявления того или иного признака; уяснение тенденций мотивированного выхода за рамки стилевых границ; пределы возможных преобразований так называемых типичных, характерных признаков; целесообразность/нецелесообразность нарушения готовых, т. е. композиционно устойчивых, схем вертикального построения текста и т. д. Исследование данных процессов предполагает выделение параметров, значительные изменения которых способны нарушить нормальное функционирование системы. Так, например, нарушение определенных параметров способно вывести тот или иной текст за рамки функционального стиля научной прозы и отнести этот текст к иному функциональному-стилевому явлению. Кроме того, подобный подход предполагает установление границ допустимого изменения параметров системы под воздействием тех или иных факторов внутрилингвистического и экстралингвистического характера. Естественно, что при таком подходе и сами параметры предстают как существенные в большей или меньшей степени.

С целью рассмотрения этих вопросов обратимся к научным текстам. Какие параметры текстов и, как следствие, функционального стиля научной прозы в целом более устойчивы, какие — менее, сохранение каких создает устойчивость данного функционального стиля, и, напротив, нарушение каких разрушает его целостность и языковую определенность?

Одним из основных признаков функционального стиля научной прозы традиционно считается объективность изложения, возникающая как следствие объективности научного мышления. Однако если подойти к этому вопросу с иной точки зрения, то вряд ли будет целесообразным формулировать это качество научной прозы в столь категорической форме, так как между субъективностью и объективностью научного мышления нет четко обозначенных границ. Так, А. И. Герцен писал о принципиальной взаимосвязи между субъективностью и объективностью в научном мышлении, такой взаимосвязи, при которой ограничение и подчинение субъективности исследования логике исследуемого объекта не означает перечеркивания этой субъективности, но, наоборот, способствует постижению объективности, оказывается как бы необходимым «сосудом истины» [2]. Говоря о взаимосвязи субъективности и объективности, Герцен подчеркивал, что чем безоглядднее ученый отдается поиску истины, тем все более обретает себя, свою личность, свое «я».

Таким образом, правильнее было бы говорить не об объективности как ведущем признаке научного мышления и, соответственно, научного изложения, а о таком сочетании субъективного и объективного, при котором субъективное адаптируется под влиянием свойств изучаемого объекта. Отсюда возникает ряд вопросов относительно функционального стиля научной прозы: взаимодействие каких языковых факторов создает необ-

ходимую для научной прозы «пропорцию» субъективного и объективного, нарушение каких пропорций оставляет текст в рамках функционального стиля научной прозы, а каких — делает его принадлежностью, скажем, научно-популярной или научно-публицистической литературы? Этот вопрос можно сформулировать иначе: в результате отбора каких языковых фактов создается такое динамическое равновесие, при котором субъективное остается «сосудом истины», но не его содержимым? Хотя такое равновесие есть результат многоаспектного процесса, все же и оно поддается моделированию. Последнее, по-видимому, может быть осуществлено с помощью введения такого понятия, как «степень ослабления определенного признака» (в данном случае речь идет о признаке «субъективное/объективное») vs. «степень усиления этого же признака». Само собой разумеется, что при этом исследователь должен располагать параметрами субъективного и объективного.

По-видимому, не будет преувеличением сказать,что такой подход является более адекватным и целесообразным для изучения функционального стиля (и не только научного), нежели априорная констатация преобладания элементов объективного в научном изложении. Кроме того, он поможет дать более четкое и лингвистически мотивированное представление о таких элементах объективного, как отвлеченно-обобщенный характер изложения, его точность, логическая последовательность, абстрактность, рациональный способ подачи информации и т.д.

Другой областью, где можно с успехом использовать аналогичный подход, является исследование личного/неличного в научных, деловых, юридических текстах, с одной стороны, и в текстах художественных — с другой. Если в работах по языку научной и деловой прозы 50—60-х годов этот вопрос решался однозначно (считалось, что для научной прозы характерна неличная форма изложения), то последние работы, в частности, на материале русского и немецкого языков, указывают на динамический подход в решении этой проблемы. Исследователи — представители разных наук — философы, лингвисты, ученые, занятые проблемами науковедения,— подчеркивают, что процесс познания, имея логико-гносеологическую основу, неизбежно включает моменты эмоциональные, интуитивные, которые неотделимы от личности исследователя. В связи с этим возникает проблема личностного аспекта процесса познания.

Проблема изучения связи индивидуальности ученого с его творческой деятельностью до сих пор представляет большие трудности, хотя ее нельзя считать возникшей недавно. Так, еще у Шеллинга (1775—1854) мы находим идею взаимосвязи субъективности и объективности, т. е. такой взаимосвязи, которая заключает в себе полярность, динамичность, единство противоположностей.

Подвижный, динамический характер взаимосвязи субъективного и объективного проявляется на всех ступенях познания, включая и такой его «участок», как отбор определенных языковых средств в научном изложении. Полярность данной взаимосвязи выразилась в наличии двух процессов. С одной стороны, необходимость информационной полноты научных работ, их точности, логической стройности, а также простоты (понимаемой не как доступность, а как реализация возможности выведения всей совокупности идей из минимального числа принципов [3, с. 77—78]) обусловили исчезновение местоимения «я» со страниц современных естественнонаучных монографий и, особенно, журнальных статей.

Следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет не столько об исчезновении самого местоимения «я», сколько о процессах выработки норм логической убедительности аргументации. Именно бессубъектный (неличный) способ изложения привел к использованию оборотов типа: *следует полагать*, *представляется*, *целесообразно считать*, *изучено*, *показано*, *выяснено*, *рассмотрено*, *результаты показали*, *наблюдения приводят к выводу* [4]. С другой стороны, важно иметь в виду, что использование местоименной формы первого лица единственного числа (в частности, в научных трудах гуманитарного профиля, написанных на английском языке,— лингвистических, литературоведческих) не лишает научный

труд его основного качества — логической аргументированности мысли.

Все сказанное позволяет подойти к рассмотрению функционирования грамматической категории личности (выраженной с помощью местоимения «я») в научных текстах с точки зрения, предусматривающей изучение следующих вопросов: анализ фактов, предопределяющих динамический, подвижный характер функционирования данной категории; рассмотрение центробежных и центростремительных сил, оказывающих воздействие на структурный статус данного явления; анализ причин, действие которых способно создать такое динамическое равновесие, при котором использование местоимений первого лица не нарушает параметров, существенно важных для сохранения специфики научного текста. Представляется, что анализ этих достаточно частных вопросов способен пролить некоторый свет на динамические качества функционального стиля в целом.

В научных текстах категория личности получает интересное воплощение, варьируя в широком, хотя и достаточно определенном, диапазоне в зависимости от факторов семантического, стилистического, структурно-текстового и жанрово-стилевого характера. Разные способы представления говорящим субъекта обобщаются в трех категориях — определенности, неопределенности и обобщенности [5]. Остановимся вначале на первой категориальной разновидности — определенности, которая представляет субъект действия, состояния как открыто заявленное лицо. Последнее выступает в таком качестве в произведениях, написанных от первого лица. Эти произведения дифференцированы по жанровому признаку и включают воспоминания, путевые заметки, эпистолярные тексты, сказы. Что касается научных текстов, то в тех случаях, когда сам ход творческой мысли не остается за рамками научного изложения, явно проступает авторское «я». На его появление влияют следующие факторы. Прежде всего упомянутый выше жанрово-стилевой фактор. Известно, например, что в рецензии на научную работу «я» автора довольно свободно вводится как в сферу интеллектуальной, так и в сферу эмоциональной оценки [6]. Во-вторых, лицо автора, как правило, открыто заявлено в определенных частях научного текста. Это имеет место в так называемых предтекстах (введение, предисловие, от автора и проч.), в которых субъект действия представлен как вполне определенное лицо. Являясь факультативным элементом гипертекстовой структуры, состоящей из двух частей — вводного текста и вводимого текста,— предтекст оказывает немалое влияние на восприятие читателем вводимого текста [7]. В частности, тот факт, что предтекст научной монографии, как правило, представляет субъект действия как вполне определенное лицо (автор монографии), не может не влиять на восприятие читателем самого текста монографии, написанного, согласно канонам, установившимся в области естественнонаучных дисциплин, в неличной форме изложения, т. е. в такой форме, когда субъект действия представлен как намеренно устраненный.

На открытый характер представления авторского «я» влияет не только жанрово-стилевой признак и признак структурно-текстового характера, но также авторская индивидуальная манера представления своего «я». Стремление к установлению речевого контакта, воздействие на эмоциональность читательского восприятия, личностные особенности коммуникантов — все это ведет к открытому использованию авторского «я» и создает так называемый прием интимизации изложения, т. е. сближение читательского интереса с авторским.

Следующей разновидностью категории личности, способствующей созданию вариативности языка научной прозы, является неопределенность. Категория неопределенности представляет субъект действия как неопределенно-множественное лицо, неизвестное или намеренно устраненное в связи с его незначительностью для содержания информации. В английских научных текстах эта категориальная разновидность передается с помощью местоимения *we*, в русских — *мы*. Неопределенность этого местоимения объясняется неопределенностью вовлекаемой в коммуникацию аудитории: в суммарном представлении «я и читатель» второй компонент («читатель» или, может быть, «читатели») не имеет вполне определенной

отнесенности, во всяком случае, не является лицом с четко представленной индивидуальностью. Таким образом, здесь мы сталкиваемся с некоторой завуалированностью деятеля. Особенно широко «мы» в таком значении употребляется в текстах по математике и физике, где сама манера изложения построена на привлечении читателя к решению и доказательству рассматриваемых задач. Отсюда формулировки типа «проведем перпендикуляр», «находим, что...» и т.п. Обозначение лица здесь весьма условно, семантически ослаблено [8].

Наконец, третья разновидность категории лица, *проявляемая в научных текстах*, это категория обобщенности. В английском языке она представлена, в частности, обобщенно-личным местоименем *one*. Исследователи семантических особенностей местоимений отмечают, что данное местоимение имеет значение «любой человек вообще», «всякий человек», включая как говорящего, так и адресата. Всякий отдельный индивидуум представлен в этом *one* как человек вообще. Именно этим своим обобщенным, предельно-широким значением обобщенно-личное *one* отличается от неопределенно-личного *we*, которое сохраняет свое индивидуальное значение. В обобщенно-личном *one* снят какой бы то ни было личный момент, оно как бы объективирует личное, представляет субстанцию максимально абстрагированной, и в связи с этим *one* находится в полярно противоположной семантической точке по отношению к личному местоимению 1-го лица единственного числа, которое всегда соотносится с реальным участником данного конкретного речевого акта [9].

Распространение данной разновидности категории лица в современной английской научной прозе объясняется двумя разнородными причинами. Главное — необходимость характеризовать свойства объекта исследования как принадлежащие ему вне зависимости от индивидуальных особенностей познающего субъекта. Вторая причина — требование быть скромным, ненавязчивым в выражении своей точки зрения.

Формы личных местоимений, характер их употребления оказывают значительное влияние на построение научного текста в целом, его членимость и композиционное своеобразие. Достаточно сказать, что использование неопределенно-личных и обобщенно-личных местоимений ведет, как правило, к *большей членимости научного текста*, в то время как использование местоимения 1-го лица единственного числа способствует созданию более монолитного текста, иначе говоря, такого типа текста, который характеризуется как подвижный и лабильный. Использование же неопределенно-личных и обобщенно-личных местоимений, напротив, связано с текстами жесткой структуры, присущими деловым и официальным документам, текстам юридического содержания, научным текстам.

Авторский признак способен настолько четко определить языковую специфику текста, что предлагается сгруппировать тексты на такие, автором которых является ярко выраженная индивидуальность — художественные, публицистические тексты,— и на тексты, автором которых является коллективный субъект: официально-деловые тексты, техническая документация.

Известно, что противопоставление категорий личности/безличности, а в пределах личности — определенного, неопределенного и обобщенного значений — в традиционной грамматике являются исходным пунктом типологии простых предложений. Аналогичным образом можно сказать, что вариативные возможности этой категории могут быть положены в основу одной из типологических характеристик текста.

Таковы *в общих чертах некоторые особенности* реализации средств категории личности/неличности в научных текстах. Стремление к экономии места, к объективности сообщения и последовательности в передаче информации, широкое использование символов, замена словесных описаний знаками, формулами и графическими построениями вытесняют субъективность как таковую. Однако полного вытеснения формы 1-го лица единственного числа не происходит. Имеет место известная вариативность в зависимости от семантических, структурно-текстовых и жанрово-стилевых факторов организации научного сообщения.

Особый интерес представляют так называемые пограничные жанры. Последние возникли и продолжают возникать на стыке художественной и научной прозы — как гуманитарного, так и естественнонаучного профиля. Это — художественный очерк, эссе, мемуары, дневники писателей, их письма, переписка ученых, исторические документальные повести и романы, научно-художественная литература. Все эти жанры можно объединить под одним названием — художественный документализм [10].

К синкретичным жанрам принадлежит также литературная критика, язык которой почти не изучен. Определение лингвистических параметров таких жанров и, как следствие, установление их статуса в рамках (или же вне оных) того или иного функционального стиля требует, как отмечалось выше, анализа возможных пределов языкового варьирования. Здесь, в частности, возникают такие вопросы лексико-синтаксической синтагматики, как стилистическая актуализация лексических единиц в текстах различной жанровой отнесенности, контекстуально-ситуативные условия этой актуализации. Эти и подобные вопросы способны пролить свет и на другую сторону отбора языковых средств, а именно, на характер и языковые способы проявления авторской индивидуальности в различных жанровых разновидностях того или иного функционального стиля.

В заключение отметим следующее: подход к функциональному стилю с точки зрения вариативных процессов, протекающих в нем и одновременно формирующих его, несколько по-иному ставит вопрос об адекватности отбора языковых средств цели высказывания, иными словами, об эффективности выполнения этими средствами определенной задачи. Известно, что каждый функциональный стиль предполагает организующий принцип в отборе и применении элементов языка, придающий ему своеобразие и отличающий его от других стилей. Этот принцип, если его понимать как «предписание» определенного набора языковых средств, дает статичную картину функционального стиля; если же функциональный стиль рассматривать в плане возможностей варьирования, то он предстает в динамическом аспекте. Первый (статичный) подход отличается ретроспективностью, обусловленностью культурно-языковой традицией; второй предполагает максимальный учет возможных конкретных задач высказывания (проспективный аспект) [11]. Объединение ретроспективных и проспективных тенденций дает возможность отойти от трактовки функционального стиля как образования, выделяющегося наличием заранее заданных характерных средств, и подойти к нему как своеобразной целостной системе, чрезвычайно вариабельной в своих конкретных языковых проявлениях.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Наер В. Л.* К описанию функционально-стилевой системы современного английского языка.— В кн.: Лингвостилистические особенности научного текста. М., 1981, с. 3.
2. *Гей Н. К.* Целостность культуры, содружество наук и искусств.— Новый мир, 1981, № 12, с. 228.
3. Природа и функции эстетического. М., 1968, с. 77—78.
4. *Лаптева О. А.* Способы выражения авторского «я» в научной речи.— В кн.: Язык научной литературы: Тезисы докладов и сообщений XX научно-методической конференции. 30 июня — 2 июля 1975 г. М., 1975.
5. *Золотова Г. А.* Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., 1973, с. 162.
6. *Кудасова О. К.* Лингвостилистические особенности рецензии как разновидности научного текста (на материале английского языка): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1982.
7. *Протопопова Е. А.* Виды предтекстов и их структурно-семантические характеристики.— В кн.: Научная литература: язык, стиль, жанры. М., 1984.
8. *Кожина М. Н.* О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми другими. Пермь, 1972, с. 254.
9. *Штелинг Д. А.* Семантика оппозиций в системе местоимений (на материале английского языка).— ИАН СЛЯ, 1983, № 5, с. 444—450.
10. *Гушанская Б. И.* На путях научно-художественного документализма.— В кн.: Научное и художественное творчество. Л., 1972.
11. *Костомаров В. Г.*— ВЯ, 1970, № 3, с. 117.— Рец. на кн.: *Кожина М. Н.* К основаниям функциональной стилистики. Пермь, 1968.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1986

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ДАНИЛЕНКО В. П.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРОЛОГИЯ В КОНЦЕПЦИИ В. МАТЕЗИУСА

Термин «характерология» употребляется в современной лингвистической литературе довольно широко, однако статус дисциплины, которую он обозначает, определяется многими исследователями по-разному. Ю. В. Рождественский, например, выразил сомнение в типологическом статусе лингвистической характерологии [1]. Дж. Буранов, напротив, склонен сближать ее с типологией языков [2]. Решению вопроса о научном статусе лингвистической характерологии может способствовать, на наш взгляд, изучение научного наследия известного чешского языковеда В. Матезиуса (1882—1945), которого Й. Вахек относил к числу основателей современной характерологии языка [3].

Термин «лингвистическая характерология» (lingvistická charakterologie) В. Матезиус впервые употребил в работе [4]. Рассмотрению вопроса о научном статусе лингвистической характерологии В. Матезиус посвятил специальные статьи — [5] и [6]. Методологическое обоснование лингвистической характерологии проводилось В. Матезиусом в двух планах — историко-научном и теоретическом. Рассмотрим каждый из этих планов в отдельности.

Зарождению характерологического подхода к изучению языка способствовало утверждение национальных языков Западной Европы в качестве литературных. Во «Всеобщей и рациональной грамматике» А. Арно и К. Лансло проводится регулярное сравнение латыни с «вульгарными» языками. Так, сопоставляя латинский язык с французским, А. Арно и К. Лансло указывали на различные формы выражения вокатива в этих языках [7]. Подобные сравнения стали обычными в «философских» грамматиках XVIII в. Дж. Хэррис, например, указывал в «Гермесе», что в современном английском языке, в отличие от латинского, нет грамматического рода, поэтому английский язык обозначает различия по полу самими словами (т. е. лексически) [8].

Подлинным вдохновителем и первым теоретиком лингвистической характерологии стал В. Гумбольдт. Он не употреблял термина «лингвистическая характерология», но говорил о «характере языка», под которым он понимал своеобразие «способов соединения мыслей со звуками» [9, с. 167]: «И вот в соответствии с индивидуальной неповторимостью того способа, каким дух выражает себя через язык,— писал В. Гумбольдт,— последний получает окраску и характер» [9, с. 162]. Источник языкового своеобразия В. Гумбольдт видел в особом отношении говорящих к описываемой действительности и в соответствующем акте речи, связанном с этим отношением: «...слово — не эквивалент чувственно-воспринимаемого предмета, а эквивалент того, как он был осмыслен речетворческим актом в конкретный момент изобретения слова. Именно здесь — главный источник многообразия выражений для одного и того же предмета» [9, с. 103].

Учение В. Гумбольдта о характере языка было унаследовано Г. Штейнталем, Ф. Мистели и Ф. Финком: отдельные языки охарактеризовывались ими не сами по себе, а как представители тех или иных типов. В работах этих ученых [10—12], таким образом, представлена характерология языковых типов, а не характерология отдельных языков. Надо, вместе с тем, учитывать подвижность границы между этими областями. Описывая какой-либо язык в качестве наиболее репрезентативного пред-

ставителя определенного типа, исследователь может перейти в область его конкретно-характерологического описания: трудно установить, какие особенности данного языка обусловлены его принадлежностью к тому или иному типу, а какие из них не связаны с типологически релевантными признаками исследуемого языка. В результате оказывается, что в рамках характерологии языкового типа обнаруживаются элементы конкретной характерологии. Вот почему В. Матезиус видел в гумбольдтианцах предшественников конкретной характерологии: «К проблемам лингвистической характерологии,— писал В. Матезиус,— в истории лингвистической деятельности было представлено несколько подходов. Один из них, ...который идет от Вильгельма фон Гумбольдта через Штейнталя и Мистели к Финку, был собственно лингвистическим...» [6, с. 60].

К оценке гумбольдтианского направления в истории характерологии В. Матезиус подходил конкретно-исторически, т. е. исходя из той ситуации, которая сложилась в лингвистической науке его времени. Он считал, что дедуктивный путь исследования, по которому шли представители данного направления (движение от общей типологии языков к конкретной характерологии через описание отдельных языковых типов), является преждевременным. Дело в том, что имеющиеся классификации языков опираются не на систематическое их изучение, а на ограниченное число изолированных языковых фактов. Общей типологии языков, по мнению В. Матезиуса, должна предшествовать долгая и кропотливая работа по характерологическому описанию отдельных языков [6, с. 59].

К общей типологии языков В. Матезиус шел по индуктивному пути: от характерологических описаний отдельных языков к их типам. Значение характерологии он видел в том, что она позволяет представить наиболее типичные черты отдельных языков в виде системы, тем самым давая общей типологии языков полноценный материал. В. Матезиус считал, что в лингвистической типологии сложилась такая ситуация, в которой необходимо временно отказаться от широкомасштабного исследования и обратиться к изучению отдельных языков. С этой точки зрения В. Матезиус подходил к общей оценке гумбольдтианского направления в истории лингвистической характерологии. «Его представители,— писал он,— не сумели разработать тщательного и эффективного метода исследования, поскольку в своих исследованиях они стремились охватить слишком много языков» [6, с. 60].

Наряду с гумбольдтианским направлением в истории лингвистической характерологии В. Матезиус выделял также «стилистическое» направление. «Другое направление,— писал он,— является по своему характеру во многом более практическим, чем первое... Представители этого направления намного больше занимаются конкретными фактами, нежели теоретическими рассуждениями, ограничиваясь в своей работе одним или максимум двумя языками» [5, с. 11—12]. К представителям стилистического направления в истории лингвистической характерологии В. Матезиус относил прежде всего двух ученых — Фрица Штромайера и Филиппа Аронштейна.

Несмотря на то, что в работе Ф. Штромайера «Стиль французского языка» [13] задачи стилистики понимаются чрезвычайно широко, основной упор в ней делается на особенности художественного выражения. Работа Ф. Аронштейна «Английская стилистика» [14], напротив, распространяет понятие стиля на язык в целом; характерные особенности языка при этом называются «стилистическими». Совокупность таких особенностей, по мнению автора, и составляет то, что В. Гумбольдт называл «внутренней формой языка». В гумбольдтианском духе Ф. Аронштейн определял и задачи стилистики: «Стилистика в этом смысле (т. е. в смысле изучения стиля языка.— *Д. В.*),— писал он,— рассматривает, таким образом, язык как орган и выражение духовной организации народа. Ее высший идеал состоит в том, чтобы описать язык со стороны его сущности, его своеобразия, его характера, а с другой стороны, в том, чтобы объяснить этот характер через явления языка [14, с. 4]. Ф. Аронштейн, таким образом, ставил перед стилистикой две главные задачи — выявить национальное

своеобразие данного языка и объяснить его. Каким образом он решал эти задачи в своей работе?

Выявление характерных особенностей английской грамматики проводилось Ф. Аронштейном в ономасиологическом направлении. Отправляясь от некоторого содержания, Ф. Аронштейн приходил к сопоставлению языковых средств выражения данного содержания в английском и немецком языках. Так, чувство вины и сожаления о случившемся выражается в английском языке «субъективной» конструкцией *I am sorry*, тогда как в немецком — «объективной» — *Es tut mir leid*. Главный недостаток описательной части работы Ф. Аронштейна состоял в отсутствии системного подхода к характерологическому изучению языка: те или иные особенности английской грамматики рассматривались независимо друг от друга. Говоря словами В. Матезиуса, основной минус объяснительной части работы Ф. Аронштейна состоял «в стремлении привести характерные черты языков в прямое и упрощенное отношение с духом наций, которые говорят на них» [6, с. 69]. Так, английское предложение *It is raining* «Идет дождь» Ф. Аронштейн противопоставлял немецкому *Es regnet*. Структурное различие между ними объясняется следующим образом: для психологического склада англичан характерно стремление к разъединению представлений, тогда как немцам свойственно стремление к их объединению [14, с. 7]. Предостерегая лингвистов от чрезмерной психологизации своей науки, В. Матезиус настаивал на том, что языкознание должно иметь «и свои особые, лингвистические, проблемы, и свои особые, лингвистические, термины, и свои особые, лингвистические, методы» [15, с. 15].

Учитывая сильные и слабые стороны гумбольдтианского и стилистического направлений в истории характерологии, В. Матезиус предпринял попытку построения собственной теории. Свою задачу В. Матезиус видел прежде всего в том, чтобы утвердить относительно самостоятельный статус характерологии среди других лингвистических дисциплин, поскольку гумбольдтианцы растворяли ее в общей типологии языков, а представители стилистического направления расценивали ее как раздел стилистики. Наиболее актуальным для своего времени В. Матезиус считал вопрос об отграничении характерологии от стилистики. Неслучайно поэтому свою первую теоретическую работу по характерологии В. Матезиус назвал «Стилистика и лингвистическая характерология». В этой статье он выразил, в частности, сомнение в стилистическом статусе «Французской стилистики» Ш. Балли [16].

«Грамматика,— писал Ш. Балли,— изучает логический аспект мысли, а стилистика — аффективный» [16, с. 296]. Исследование аффективных (или эмоциональных) средств французского языка проводилось Ш. Балли с помощью «идентифицирующего» метода. Этот метод является в своей основе ономасиологическим, поскольку он предполагает движение исследования от некоторого содержания к формам его языкового выражения. В сферу этих форм у Ш. Балли попадали не только аффективные, но и логические средства языка. Граница между «грамматикой» и «стилистикой», таким образом, стиралась.

Отграничение внутренней лингвистики (а следовательно, и характерологии) от стилистики производилось В. Матезиусом иначе. Он видел разницу между ними в степени абстракции этих дисциплин от языкового материала. «По моему мнению,— писал В. Матезиус,— раздел между этими отраслями заключен не в разном материале, а в разных целях анализа... При изучении языка индивидуальные высказывания изучаются как образцы языковых возможностей некоторой общности, тогда как при изучении стиля стремятся установить, как эти возможности реализуются в данной общности...» [15, с. 11].

Выделение характерологии в особую дисциплину в рамках внутренней лингвистики выводилось В. Матезиусом из специфики задач характерологии: «Если это задача описательной грамматики,— представить полный инвентарь всех формальных и функциональных элементов, существующих в данном языке на данной ступени его развития, писал В. Матезиус,— то лингвистическая характерология имеет дело только с важными

и фундаментальными чертами языка в данный период времени, анализирует их на базе общей лингвистики и пытается установить отношения между ними» [6, с. 59]. В. Матезиус считал, что решение задач, стоящих перед характерологией, зависит от успешного использования в ней метода аналитического сравнения (в современной терминологии — контрастивного анализа), а также «функционального» (т. е. ономасиологического), синхронического и системного подходов.

В. Скаличка в книге «Тип чешского языка» сделал попытку характерологического описания чешской грамматики на фоне ее отличий от других языков, выделив из них те, которые он считал наиболее репрезентативными для основных языковых типов (изолирующего, агглютинативного, флективного, интрафлективного и полисинтетического). Характерологию чешского языка он называл типологией этого языка. Он писал: «Если мы посмотрим в этом смысле на положение чешского языка между остальными языками, то увидим типологию чешского языка, или, более кратко, тип чешского языка» [17]. Попытку В. Скалички представить характерологическое описание чешской грамматики, выполненную таким образом, приходится признать в целом неудачной: несмотря на то, что он указывает на множество специфических особенностей чешской грамматики в первой части своей книги, где рассматриваются основные типы языков, во второй части этой книги мы находим по существу обычный очерк грамматики современного чешского языка. Такой результат исследования В. Скалички объясняется именно тем, что он исходил в принципе из широкого охвата языков.

В сопоставлении данного языка с другими языками В. Матезиус видел лишь вспомогательное средство для обнаружения фундаментальных особенностей изучаемого языка. В своей исследовательской практике он показал, что для обнаружения таких особенностей нет необходимости обращаться к противопоставлению данного языка всем остальным языкам, поскольку привлечение и ограниченного числа языков дает возможность выявить важнейшие черты исследуемого языка. Такая позиция В. Матезиуса объясняется тем, что контрастивный анализ служил для него только отправным пунктом для системного исследования характерных особенностей данного языка. Системный подход позволял В. Матезиусу переходить от одной особенности языка, предварительно выявленной с помощью контрастивного анализа, к другим его особенностям, обнаруживаемым уже на основе внутрисистемных отношений и интерпретируемым им как причинно-следственные.

Важнейшую черту характерологической концепции В. Матезиуса составляет ее ономасиологическая направленность: «Аналитическое сравнение,— писал он,— можно эффективно прозводить только с функциональной точки зрения, т. е. исходя из общих потребностей выражения и выясняя способ, при помощи которого отдельные языки, каждый посвоему, удовлетворяют эти общие потребности» [18, с. 196]. «Чтобы успешнее использовать методы аналитического сравнения,— объясняет В. Матезиус,— необходимо анализировать отдельные языки лишь с функциональной точки зрения, потому что только этот способ позволяет провести точное сравнение различных языков. Общие потребности выражения и коммуникации, свойственные всему человечеству, являются единственным общим знаменателем, к которому можно свести выразительные и коммуникативные средства, различающиеся в каждом языке [19]. Подобное объяснение перспективности использования ономасиологического подхода в типологии мы находим у советского языковеда Г. А. Климова. «Наиболее широкие перспективы,— пишет он,— открывает направленность исследования от значения к форме в сфере типологических штудий, разносистемный эмпирический материал которых лишает языковеда возможности выбора сколько-нибудь стабильных формальных точек отсчета. Именно семантический фактор, т. е. совокупность некоторых семантических универсалий (понятийных категорий), позволяет в этом случае найти определенные основания для сопоставления формальных средств самых разных языков» [20]. Ономасиологическое начало признается ведущим по от-

ношению к семасиологическому А. Л. Зеленецким и П. Ф. Монаховым: «В этой связи,— пишут они,— при характерологическом описании целесообразно исходить из содержания языковых единиц, выявляя в нем универсальные особенности человеческого мышления и прослеживая затем структурную организацию специфических языковых значений и пути их выражения в звуковой материи языка. Что касается характерологии плана выражения языков (т. е. семасиологической характерологии.— *Д. В.*), то ее роль должна быть в целом подчиненной» [21]. На этой точке зрения по существу стоял и В. Матезиус.

Семасиологический момент в характерологии В. Матезиуса подчинен ее ономасиологическим задачам. Он выступал для В. Матезиуса только в качестве предварительной точки опоры в процессе выявления содержательных (или, в терминологии М. Докулила, ономасиологических [22]) категорий, выражаемых в языке. Это позволило В. Матезиусу подходить к установлению данных категорий не непосредственно, а через язык. Однако основным в его характерологии признавался ономасиологический подход: содержательные категории, предварительно выявленные семасиологически, становились затем отправным пунктом для собственно ономасиологического исследования. В типологической концепции В. Скалички, напротив, ономасиологический момент подчинен семасиологическим задачам этой концепции.

Главная идея В. Скалички состояла в разработке основных «типологических конструктов» [23], каждый из которых представляет собой теоретическую модель языкового типа в «чистом виде». Задача типологии, по В. Скаличке, состоит прежде всего в том, чтобы в отдельном языке обнаружить элементы каждого языкового типа и определить затем, элементы какого типа в данном языке преобладают. Типологическая доминанта того или иного языка выступает в нем как организующее начало, от которого зависят структурные особенности языка в целом. На характерологической стадии исследования необходимо описать отдельный язык в качестве представителя доминирующего в нем типа. Отдельный язык в этом случае исследуется на фоне других языков, однако в качестве фоновых выступают прежде всего те языки, типологическая доминанта которых не совпадает с типологической доминантой данного языка. Это позволяет исследователю сосредоточить внимание на языковых различиях. Такая концепция предполагает семасиологическую точку зрения, поскольку она направлена на изучение типологических особенностей уже готовых языковых систем, тогда как ономасиологическая точка зрения предполагает обращение к этим системам через речевую деятельность говорящих, пользующихся ими для удовлетворения своих коммуникативно-экспрессивных потребностей. «Скаличку занимает исключительно анализ грамматической системы,— писал В. Матезиус.— Его интересы целиком сосредоточены на системе... Для меня... основная проблема научного анализа языка заключалась в определении способа, посредством которого исследуемый язык отвечает двум основным потребностям выражения, то есть тому, как в языке реализуются языковая номинация и языковое соотнесение, и лишь на основе этого я пытался исследовать совокупность средств выражения как систему» [18, с. 199].

Важную методологическую особенность характерологической теории В. Матезиуса составляет ее синхроническая направленность: «Для дальнейшего продвижения исследовательской работы в лингвистике,— писал В. Матезиус,— жизненно важно, чтобы тщательная разработка лингвистической характерологии осуществлялась на собственно синхронической основе» [6, с. 59]. В «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра В. Матезиус нашел опору собственным мыслям о необходимости разграничения синхронии и диахронии, впервые изложенным им в работе [24]: «Выдающийся швейцарский лингвист,— писал В. Матезиус о Ф. де Соссюре,— стал строго различать в языкознании диахроническую (динамическую) и синхронную (статическую) точки зрения, и эту идею в ее методическом отношении трудно переоценить, ибо... иными путями мы никогда не расположим факты изучаемого языка в одной плоскости» [25, с. 90—91].

Целостный взгляд на лингвистическое наследие В. Матезиуса, однако, показывает, что его взгляды на проблему соотношения синхронии и диахронии в языкознании существенно отличаются от соссюровских. В отличие от Ф. де Соссюра, В. Матезиус стремился не только к их разграничению, но также и к их органическому сочетанию в рамках синхронического исследования.

Современный язык, взятый со стороны его наиболее типичных особенностей, рассматривался В. Матезиусом не только с синхронической, но одновременно и с диахронической точки зрения. Иначе говоря, в изучение современного языка В. Матезиус вводил диахронический момент. Каждая характерная особенность современного языка рассматривалась им не как раз и навсегда установленная черта этого языка, а как особая тенденция, которая в данный период языкового развития выступает в качестве господствующей, но которой в этот же период противостоит ослабленная тенденция. Так, к числу господствующих в современном английском языке В. Матезиус относил моносиллабическую и номинальную тенденции, тенденции выражать основу высказывания (тему) подлежащим и ставить в предложении подлежащее перед сказуемым, тенденции к «комплексной конденсации» предложения и другие [26]. Каждую из этих тенденций он исследовал на фоне противоположной ей ослабленной тенденции. В единстве господствующих тенденций, действующих в языке в определенный период его развития, В. Матезиус видел источник устойчивости его системы. В наличии ослабленных тенденций, напротив, он усматривал резерв будущих изменений языковой системы, поскольку некоторые из этих тенденций могут стать со временем господствующими в данном языке. Современный язык, таким образом, представлялся В. Матезиусу как система противоборствующих тенденций, одни из которых играют в этом языке ведущую роль, тогда как другие — подчиненную. Конечную цель характерологии В. Матезиус видел в установлении системных отношений между первыми из указанных тенденций, поскольку именно они составляют собственный предмет данной дисциплины.

Вопрос об использовании системного подхода при характерологическом описании языка решался В. Матезиусом в двух планах — деятельностно-речевом и системно-языковом. Практическое решение этого вопроса мы находим в итоговой монографии В. Матезиуса [26], изданной Й. Вахком спустя много лет после смерти ее автора. Эта книга представляет собой характерологическое описание грамматики современного английского языка, которое было выполнено ее автором на материале сопоставления грамматического строя английского языка главным образом с чешским и, в меньшей мере, с немецким, французским и некоторыми другими языками. Вместе с тем, книга Матезиуса является одновременно и ономасиологической (о расширенном употреблении этого термина см. [27—29]) грамматикой. Она может быть названа, впрочем, также и «синхронической» или «систематической», поскольку наряду с характерологическим и ономасиологическим подходами в ней представлены также синхронический и системный подходы. «Из всего этого очевидно, что мы обращаемся к исследованию современного английского языка,— писал В. Матезиус во введении к своей книге,— с точки зрения синхронической, метода аналитического (или характерологического.— *Д. В.*) сравнения и принимаем также функциональную (ономасиологическую.— *Д. В.*) и системную точки зрения [26, с. 10].

В. Матезиус употреблял несколько терминов для обозначения своей грамматической концепции. Вначале он называл ее как «аналитической лингвистикой», так и «лингвистической характерологией», а затем (ср. [30]) — только «функциональной грамматикой». И это не случайно, поскольку ведущим принципом построения грамматического описания у В. Матезиуса выступает функционально-ономасиологический принцип. При этом он считал, что функциональная грамматика должна основываться на анализе двух видов языковой деятельности — номинативной и синтаксической. «Один из этих актов (номинативный.— *Д. В.*),— поясняет В. Матезиус,— заключается в том, что из конкретной или абстрактной действительности

отбираются отрезки с той целью, чтобы, во-первых, именно на них сосредоточилось внимание будущего говорящего и, во-вторых, чтобы их удалось закрепить словарным составом языка, о котором идет речь. Второй акт (фразообразовательный.— *Д. В.*) состоит в том, что языковые знаки, обозначающие отобранные отрезки действительности, вступают во взаимодействие друг с другом, в результате чего образуется органическое целое, предложение» [19, с. 228].

Структура речевой деятельности говорящего в процессе создания предложения составляет основу грамматической системы В. Матезиуса: акт номинации лежит в основе ее первого раздела — «функциональной ономатологии», акт фразообразования составляет фундамент ее второго раздела — «функционального синтаксиса». Первый раздел грамматики В. Матезиуса в свою очередь состоит из лексической, словообразовательной и морфологической ономатологии. В основе лексической ономатологии лежит акт лексической номинации, заключающийся в использовании говорящим в процессе построения предложения уже готовых лексических единиц. В основе словообразовательной ономатологии лежит акт словообразовательной номинации, состоящий в создании новых слов. В основе морфологической ономатологии лежит акт морфологической номинации, заключающейся в грамматикализации тех лексических единиц, морфологические значения которых отражают объективные реалии (например, род, число и падеж у имен существительных). Функциональный синтаксис изучает прежде всего процесс дальнейшей грамматикализации лексем, морфологические значения которых не отражают объективных реалий (например, род, число и падеж у имен прилагательных). В предмет функционально-ономасиологического синтаксиса, далее, входит заключительная стадия создания предложения, связанная с установлением порядка слов в предложении, основным фактором которого В. Матезиус считал актуальное членение предложения (АЧП). Теория АЧП, таким образом, составляет только один из фрагментов грамматической системы В. Матезиуса.

К систематизации языкового материала В. Матезиус подходил сквозь призму обобщенного представления о процессе создания предложения говорящим. Конечную цель лингвистического анализа он видел в установлении причинно-следственных отношений между характерными особенностями данного языка: «Лингвистический анализ, основанный на этих принципах (синхроническом, характерологическом, ономасиологическом и системном.— *Д. В.*), должен быть в конечном итоге направлен на установление причинных связей между существующими явлениями данного языка»,— указывал В. Матезиус [19]. Причинные отношения в языковой системе В. Матезиус называл также «синхроническими зависимостями»: «Природа грамматического субъекта в современном английском языке,— писал В. Матезиус,— дает хорошую возможность для показа важности синхронических зависимостей для лингвистического анализа. Так, обсуждаемая тенденция современного английского языка переводить выражение актуальной темы (или основы.— *Д. В.*) высказывания в грамматический субъект не стоит одиноко» [6, с. 62]. И далее он показывает, что с указанной особенностью оказываются связанными причинными отношениями и другие особенности английского языка (обилие пассивных конструкций, активное употребление личных конструкций, стабилизация «объективного» порядка слов в предложении и др.).

Установление причинных отношений в языковой системе служило для В. Матезиуса средством выявления «системной ценности» тех или иных особенностей языка, а следовательно, средством иерархизации этих отношений: «Отличительной чертой лингвистической характерологии,— указывал В. Матезиус,— является введение в лингвистический анализ концепции ценности и диахронических зависимостей» [6, с. 59].

Проделанный анализ позволяет сделать вывод, что грамматика В. Матезиуса занимает особое место среди других грамматик ономасиологического типа [31—34]. Своеобразие грамматики Матезиуса состоит в том, что она является не только ономасиологической, но также и характерологи-

ческой. Это дает основания включить ее в состав частной типологии, поскольку выявление характерных особенностей языка проводилось В. Матезиусом на основе систематического сопоставления данного языка с другими языками. Ориентация его характерологии на изучение одного языка отличает ее от тех сопоставительных грамматик, в центре внимания которых находится два или несколько языков. Среди монолингвальных грамматик характерологического типа грамматику В. Матезиуса отличает комплекс ее основных методологических установок, которые были проанализированы выше.

Самостоятельный статус характерологии Матезиуса не отменяет, а напротив, предполагает ее связи с другими лингвистическими дисциплинами. Особенно тесными являются, как мы видели, ее связи с общей лингвистикой и обычной описательной грамматикой, от которой она отличается ориентацией на установление только фундаментальных особенностей анализируемого языка. Кроме того, характерология Матезиуса соотносится с общей типологией языков. Значение характерологии, как это понимал В. Матезиус, для последней из указанных дисциплин состоит в том, что она направлена в конечном счете на построение иерархических систем наиболее типичных особенностей отдельных языков. Позиция В. Матезиуса в этом вопросе по существу совпадала с позицией И. И. Мещанинова, который писал: «Сличению цельных комплексов разных языковых систем предшествует изучение каждой в отдельности. Сопоставление же обособленно взятых элементов из разных систем не может проводиться без детального ознакомления с тем положением, которое занимают эти элементы во всем связанном с ними комплексе» [35].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Рождественский Ю. В.* Типология слова. М., 1969, с. 43.
2. *Буранов Дж.* Сравнительная типология английского и тюркских языков. М., 1983, с. 58.
3. *Vachek J.* Vilém Mathesius.— In: *Mathesius V.* Jazyk, kultura a slovesnost. Praha, 1982, s. 457.
4. *Mathesius V.* O jazykové správnosti.— In: *Mathesius V.* Jazyk, kultura a slovesnost. Praha, 1982, s. 60—64.
5. *Mathesius V.* Stilistika a lingvistická charakteristika.— In: *Mathesius V.* Čeština a obečny jazykozpyt. Praha, 1947, s. 10—16.
6. *Mathesius V.* On lingustic characterology with illustrations from modern English.— In: *Vachek J.* A Prague school reader in linguistics. Bloomington, 1964.
7. *Lancelot C., Arnauld A.* Grammaire générale et raisonnée. Paris, 1754, p. 75.
8. *Harris J.* Hermes: or, a philosophical inquiry concerning language and universal grammar. London, 1751, p. 43.
9. *Гумбольдт В. фон.* Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
10. *Steinthal H.* Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues. Berlin, 1860.
11. *Misteli F.* Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues. Berlin, 1893.
12. *Finck F. N.* Die Haupttypen des Sprachbaues. Leipzig, 1910.
13. *Strohmeyer F.* Der Stil der französischen Sprache. Berlin, 1910.
14. *Aronstein Ph.* Englische Stilistik. Leipzig—Berlin, 1924.
15. *Mathesius V.* Nové proudy a směry v jazykovědnem badání.— In: Z klasického. období Pražske školy 1925—1945. Česk. akad. věd. Prameny česke a slovenske lingvistiky. Řada česka, sv. 2. Praha, 1972.
16. *Балли Ш.* Французская стилистика. М., 1961.
17. *Skalička V.* Typ češtiny. Praha, 1951, s. 13.
18. *Матезиус В.* Попытка создания теории структурной грамматики.— В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
19. *Матезиус В.* О системном грамматическом анализе.— В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
20. *Климов Г. А.* Принципы контенсивной типологии. М., 1983, с. 14—15.
21. *Зеленецкий А. Л., Монахов П. Ф.* Сравнительная типология немецкого и русского языков. М., 1983, с. 17—18.
22. *Dokulil M.* Tvořeni slov v češtine. 1. Teorie odvozovaní slov. Praha, 1962.
23. *Skalička V.* Ein «typologisches Konstrukt».— Travaux linguistiques de Prague, 1966, 2.
24. *Матезиус В.* О потенциальности языковых явлений.— В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967, с. 42—69.
25. *Матезиус В.* Куда мы пришли в языкознании.— В кн.: *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 2. М., 1960, с. 90—91.

26. *Mathesius V.* Obsahový rozbor současné angličtiny na zakladě obecně lingvistickem. Praha, 1961.
27. *Filipec J.* Ceska synonyma z hlediska stilistiky a lexikologie. Praha, 1961, s. 172.
28. *Кубрякова Е. С.* Части речи в ономасиологическом освещении. М., 1978, с. 13.
29. *Pottier B.* Linguistique générale. Paris, 1974, p. 323.
30. *Mathesius V.* Nekolik slov o podstate věty.— In: *Mathesius V.* Cestina a obecný jazykozpyt. Praha, 1947.
31. *Brunot F.* La pensée et la langue. Paris, 1922.
32. *Jespersen O.* Essentials of English grammar. London, 1933.
33. Leçons de linguistique de Gustave Guillaume (1948—1949). Paris—Québec, 1971—1973.
34. *Tesnière L.* Éléments de syntaxe structurale. Paris, 1965.
35. *Мещанинов И. И.* Номинативное и эргативное предложения. Типологическое сопоставление структур. М., 1984, с. 5.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1986

РЕЦЕНЗИИ

Мещанинов И. И. **Номинативное и эргативное предложения. Типологическое сопоставление структур.** Отв. ред. Панфилов В. З. — М.: Наука, 1984. 294 с.

Публикация последнего труда академика И. И. Мещанинова спустя почти двадцатилетие после его кончины — явление закономерное, отражающее тот несомненный интерес к проблемам эргативности как у нас в стране, так и за рубежом (частичным подтверждением этому может служить издание сборника «Эргативность. К теории грамматических отношений», объединившего авторов из многих стран мира [1]). Притом, что в последние годы в данной области проделана немалая работа, приведшая к установлению целого ряда фундаментальных закономерностей, обращение к научному наследию одного из пионеров синтаксической типологии диктуется самой потребностью сверить новые факты и новые гипотезы с уже сложившейся концепцией.

Рецензируемая книга представляет собой естественное продолжение ранее издававшихся работ И. И. Мещанинова по данной проблематике, в которых последовательно раскрывается синтаксический механизм эргативности [2—5 и др.]. В силу этого наибольший интерес, естественно, вызывает то новое, что внес ученый непосредственно данным исследованием в учение об эргативности, хотя и оставаясь в целом в рамках ранее разработанной им теории. Не претендуя на полноту ответа, отметим следующее: в своей последней монографии И. И. Мещанинов, в отличие от предыдущих работ, сконцентрировал внимание не на различных вариациях эргативности, но на комплексном сопоставлении эргативного строя предложения с номинативным, как в целом, так и в отдельных их компонентах, что позволило ему сформулировать несколько типологических закономерностей, ранее, насколько нам известно, не обнаруживавшихся.

В первых разделах монографии (в особенности «Типологические сопоставления», «Синтаксическая типология») И. И. Мещанинов излагает некоторые теоретические принципы синтаксической типологии. В частности, обстоятельно раскрывается в книге соотношение генетической, синтаксической и морфологической классификаций. Уже сам факт соположения трех видов классификации в одном ряду говорит о том, что ученый не отдавал предпочтения какому-либо из них, хотя ему как типологу казались существенными определенные преимущества типологического исследования: во-первых, оно охватывает более широкие группировки языков и, во-вторых, не связывает сопоставление тех или иных категорий с путями их образования: единым источником, параллельным развитием или территориальными контактами.

Об этом же свидетельствует, на первый взгляд, неожиданное, но подкрепляемое убедительными примерами (переход примыкания в инкорпорирование, включение местоимений в глагольную форму и т. п.) утверждение о том, что исторический аспект исследуемых явлений — предмет не только компаративистики, но и типологии, когда «сами наличествующие грамматические формы могут выявлять, при их типологических сопоставлениях, последовательный ход их видоизменений» (с. 67).

Своеобразное преломление получает в работе тезис о независимости типологической и генетической классификаций. Хотя априорно можно утверждать, что типологическая характеристика отдельно взятого языка не предсказывается его генетической принадлежностью, в языковой действительности почти всегда члены одной языковой семьи принадлежат к одному синтаксическому типу. Отсюда вытекает замечательная возможность оперировать в качестве единицы исследования не отдельным языком, а группой в целом. Эта возможность широко использовалась И. И. Мещаниновым, предпочитавшим выделять в структуре рассматриваемых языков не специфические, а свойственные всей генетической группировке черты.

Обращает на себя внимание и другое обстоятельство: как равноправные рассматриваются морфологическая и синтаксическая классификации. Это может показаться несколько странным, особенно в свете последующих работ в области контенсивной типологии, в которых прямо указывается, что морфологическая классификация носит формальный, ограниченный характер, в то время как классификация по способам выражения субъектно-объектных отношений по степени детерминированности приближается к так называемым «естественным» классификациям, т. е. генетической и ареальной [6, с. 137]. Все же имеются веские основания считать, что И. И. Мещанинов придерживался именно последней точки зрения. Например, в разделе «Морфологические и синтаксические системы, маркирующие члены предложения» достаточно наглядно демонстрируется универсальный по сравнению с морфологией характер синтаксических отношений: «Общим для всех языков выступает не грамматическая форма, а выполняемая ею функция, кото-

рая варьирует в грамматических формах своего выражения» (с. 41).

Из универсальности синтаксических отношений, видимо, исходил И. И. Мещанинов при разработке концептуального аппарата. Едва ли не самыми основными в его исследовании оказываются понятия субъекта и объекта, в равной мере служащих описанию языков номинативного и эргативного строя. Более того, одной из профилирующих черт последнего считается противопоставление субъекта действия субъекту состояния. Ср., например: «Различное содержание субъекта действия и субъекта состояния передается в эргативной системе соответствующими грамматическими формами именных членов предложения. Субъект действия выражается активным падежом, а субъект состояния обозначается абсолютным падежом» (с. 29). Данная дихотомия представляется особенно важной в свете исследований последних лет, внесших серьезные коррективы в ее понимание. Во-первых, современные концепции эргативности, как правило, отказываются от понятий субъекта и объекта для характеристики эргативного типа, а выводят его из глубинного противопоставления семантических ролей агенса и фактитива, представляющего синтез субъекта непереходного и объекта переходного предложений. Ср., например, следующую характеристику дагестанских языков: «...в дагестанских языках, как правило, **отсутствует** уровень субъектно-объектных отношений, и **семантические отношения** между предикатом и его аргументом выражаются непосредственно в морфологических падежных формах. Основные семантические отношения фактитива, агенса и адресата выражаются соответственно номинативом, эргативом и дативом» [7, с. 70]. Во-вторых, оппозиция действия и состояния, как выяснилось, является ведущим принципом совершенно иного языкового типа— активного [8, с. 5].

Думается, что обвинять И. И. Мещанинова в неверном толковании сущности эргативного строя оснований у нас нет. Кажущееся расхождение взглядов И. И. Мещанинова с современными теориями заключается в различном отношении к терминам «субъект» и «объект». Для И. И. Мещанинова — это категории универсальные: можно говорить об именительном, творительно-инструментальном, местном, родительном, активном или ином падеже или вообще об отсутствии падежной маркировки члена предложения, но выражаемая им функция субъекта остается неизменной. В этом отношении понятия субъекта и объекта у И. И. Мещанинова соответствуют используемым в современных публикациях терминам «агенс» (субъект переходного действия), «пациенс» (объект переходного действия). Что же касается оппозиции субъекта действия и субъекта состояния, то она находит прямое соответствие в противопоставлении агенса и фактитива. Таким образом, современное состояние контенсивной типологии характеризуется не коренным пересмотром взглядов И. И. Мещанинова, а совершенствованием терминологии: действительно, употребление термина «субъект» для обозначения трех разных сущностей (как универсальной категории, как субъекта номинативных языков и как субъекта/объекта эргативных) довольно неудачно.

С переходом к более или менее поверхностным явлениям в концепции И. И. Мещанинова становится более ощутимым стремление максимально разграничивать явления, характеризующую специфику той или иной типологии предложения. Так, к признаваемым практически всеми лингвистами импликациям «эргативная типология → эргативный падеж», «номинативная типология → винительный падеж» (в связи с последней импликацией многие исследователи предпочитают говорить не о номинативном типе, а об аккузативном) И. И. Мещанинов добавляет следующую зависимость: «номинативная типология → именительный падеж», «эргативная типология → абсолютный падеж», ср.: «В эргативной конструкции именительный падеж заменяется абсолютным» (с. 136). Думается, подобное разграничение особенно необходимо в типологических построениях: несмотря на известное сходство между номинативом и абсолютивом (обе единицы, как правило, немаркированны, имеют совпадение в части выполняемых ими функций), как единицы, входящие в разные парадигматические отношения, они определенным образом противопоставлены друг другу.

Еще одной немаловажной деталью, свидетельствующей о первенстве синтаксической классификации, является зависимость от профилирующего признака типа целого ряда факторов, организующих структуру слова и предложения,— грамматической формы субъекта и объекта (и, соответственно, системы склонения) и грамматической формы сказуемого (и, в частности, специфики категорий класса, лица, вида, времени, залога). Такой подход позволил И. И. Мещанинову определить основные структурные черты, присущие, с одной стороны, номинативному и, с другой стороны, эргативному строю (в работах последних лет совокупность таких черт была выражена более эксплицитно в виде набора импликаций и фреквенталий номинативности и эргативности). Приведем некоторые из них:

Множественности падежей субъекта в эргативных языках может соответствовать множественность падежей объекта в номинативных языках (основной и винительный падежи в тюркских, именительный, родительный и отложительный — в финно-угорских и др.).

«Сама система залогов индоевропейских (т. е. номинативных.— *А. М.*) языков не имеет соответствий в языках с эргативным строем предложения, в котором противопоставляются переходные (субъектно-объектные) формы глагола непереходным (субъектным) без их деления по залогам» (с. 28).

Поиск подобного рода закономерностей приводит подчас к весьма любопытным результатам, хотя никто здесь не застрахован от неудач. Особого внимания в связи с этим заслуживает опыт исследования инкорпорации, являющейся одной из центральных проблем рецензируемой мо-

нографии. Это синтаксическое явление прослеживается автором в различных аспектах на протяжении нескольких разделов: «Грамматическая передача атрибута и объекта в номинативном и эргативном строе предложения», «Различное членение эргативного предложения по используемым в нем синтаксическим приемам», «Примыкание и словосочетание в номинативной и эргативной конструкциях предложения», «Грамматическая передача объекта в эргативной структуре предложения» и др.

Прежде всего привлекает внимание сама трактовка понятия инкорпорации в ее отношении к сходным явлениям. Указывая на известную близость к инкорпорации таких грамматических структур, как рамочная конструкция в немецком языке, И. И. Мещанинов четко определяет: здесь имеет место замыкание, но инкорпорации нет. Он пишет: «Наличие одной замыкаемой схемы еще не является достаточным для признания в ней сливаемого (инкорпорированного) синтаксического построения» (с. 179). Не менее важным оказывается и опыт рассмотрения инкорпорации, пользуясь все более популярным термином, в качестве фреквенталии эргативности. Хотя непосредственно в книге об этом не говорится, весь ход изложения подводит к тому, что техника примыкания реализуется в номинативных языках на уровне словосочетания (в качестве примера в книге используются данные тюркских языков), а в эргативных — и на уровне слова (как в чукотско-камчатских языках).

Последнее положение (а видимыми основаниями для его отклонения мы пока не располагаем) может быть подкреплено одним конкретным наблюдением, согласно которому трансформация объектно-предикатного сочетания в инкорпорированный комплекс отражается в смене падежа субъекта. В то же время в языках номинативной типологии подобная смена не происходит. Это приводит по крайней мере к одному существенному следствию. Дело в том, что возможность инкорпорирования объекта в состав глагольного сказуемого в эргативных языках свидетельствует о его подчиненном положении, неспособности выступать самостоятельным, организующим центром предложения и влечет за собой необходимость признания его второстепенным членом предложения. Заметим в связи с этим, что в рецензируемой книге данный принцип квалификации членов предложения проводится довольно четко, чего нельзя сказать о многих современных описательных работах, выделяющих подлежащее на основе поверхностных признаков падежной маркировки и классно-личного согласования.

Характерной чертой всех исследований И. И. Мещанинова является широкое использование материалов языков народов СССР: тюркских, финно-угорских, иберийско-кавказских, чукотско-камчатских и др., во многом покрывающих типологическое разнообразие языков мира. Лишь в некоторых случаях привлекается материал языков, относящихся к другим регионам. В связи с этим возникает проблема достаточности эмпирических данных для типологической классификации. Классификация языков, основанная на принципах отражения в языке субъектно-объектных отношений, на протяжении многих лет приобретала различные конфигурации. В ранних работах И. И. Мещанинова (см., например [3, с. 127 — 152]) мы находим понятия посессивного и аффективного строя предложения, от которых ученый впоследствии отказался, поскольку соответствующие конструкции предложения не относятся к конститутивным моделям, занимая в структуре тех или иных языков подчиненное положение [1]. Соответственно, к концу 60-х годов отечественная синтаксическая типология, опираясь на принцип системности, пришла к более или менее устойчивому выделению двух синтаксических типов — номинативного и эргативного.

Между тем уже в следующем десятилетии удалось сформулировать основные структурные признаки еще одного языкового типа — активного [8]. Можно полагать, что это открытие было связано с привлечением нового языкового материала, так как реальные представители активной типологии обнаруживаются исключительно на американском континенте. Вместе с тем не следует забывать, что едва ли не решающую роль сыграло здесь не столько рассмотрение нового материала, сколько применение к этому материалу принципа системности.

В последние годы обсуждается возможность включения в классификационные схемы еще двух единиц — классного и нейтрального типов [6, с. 87]. Их позиция в настоящее время представляется проблематичной. Во всяком случае выводы И. И. Мещанинова о том, что согласовательный механизм языков банту (классный тип?) вполне соответствует нормам номинативности, так как переходные и непереходные глаголы, как указывается в книге, получают здесь (использованы материалы суахили) одинаковые классные показатели субъекта (см. с. 235—236) в противоположность эргативным языкам, в которых классные показатели единообразно маркируют объект переходного и субъект непереходного действия, выглядят убедительно.

В краткой рецензии можно остановиться лишь на некоторых из целого комплекса вопросов, решение которых было намечено И. И. Мещаниновым и получило в современном языкознании заметное развитие. Вместе с тем уже затронутый здесь круг проблем позволяет, на наш взгляд, судить о непреходящей ценности трудов основоположника отечественной синтаксической типологии И. И. Мещанинова для дальнейших успешных типологических разысканий.

Алексеев М. Е.

---

[1] В связи с этим вызывает сомнение правомерность возрождения термина «посессивный тип», причем с более широкими структурными импликациями (см. [9]).

ЛИТЕРАТУРА

1. Ergativity. Towards a theory of grammatical relations. London, 1979.
2. *Мещанинов И. И.* Новое учение о языке. Стадиальная типология. М.— Л., 1936.
3. *Мещанинов И. И.* Общее языкознание. К проблеме стадиальности в развитии слова и предложения. Л., 1940.
4. *Мещанинов И. И.* Структура предложения. М.— Л., 1963.
5. *Мещанинов И. И.* Эргативная конструкция в языках различных типов. Л., 1967.
6. *Климов Г. А.* Принципы контенсивной типологии. М., 1983.
7. *Кибрик А. Е.* Семантика грамматических падежей в дагестанских языках.— В кн.: Падежный состав и система склонения в иберийско-кавказских языках. IX региональная научная сессия: Тезисы докладов. Махачкала, 1981.
8. *Климов Г. А.* К характеристике языков активного строя.— ВЯ, 1972, № 4.
9. *Иванов Вяч. Вс.* Посессивная конструкция и посессивный тип языка в синхронии и диахронии.— В кн.: III Всесоюзная конференция по теоретическим вопросам языкознания «Типы языковых общностей и методы их изучения» (Тезисы). М., 1984.

***Eckert* [*R.*], *Crome* [*E.*], *Fleckenstein* [*Ch.*]. Geschichte der russischen Sprache.** — Leipzig: Verlag Enzyklopädie, [1983]. 262 S.

Подготовке учителей русского языка в ГДР уделяется большое внимание. В этой области уже много сделано и делается. Немецкие коллеги отчетливо осознают, что глубокое понимание современного состояния русского языка невозможно без знания истории его формирования и развития. Именно на такой основе создана вышедшая в ГДР «История русского языка» под ред. проф. Р. Эккерта.

Составить хороший учебник по истории русского языка (среди других достоинств, он должен отличаться и доступностью) для студентов, русский язык для которых является неродным,— задача весьма нелегкая. Пожалуй, самым важным вопросом является отбор материала. Авторы учебника должны были представить историю русского языка как целостное явление со всей ее сложностью, учитывая при этом специфику адресата, количество часов, отводимых учебным планом на данную дисциплину, и, конечно, ограниченный объем самой книги.

Новизна рецензируемого учебника заключается в том, что он представляет собой комплексный курс всех дисциплин исторического цикла. В этом учебнике умело, последовательно и органически слито воедино то, что в советских вузах дается в виде трех самостоятельных курсов: 1) Старославянский язык, 2) Историческая грамматика и 3) История русского литературного языка.

Учебник состоит из следующих основных разделов: Введение, Индоевропейский, Праславянский, Ранний общевосточнославянский, Древнерусский, Русский литературный язык национальной эпохи. Как нам представляется, такая композиция учебника является единственно оправданной и представляет собой оптимальный вариант применительно к конкретным условиям и контингенту обучаемых.

В разделе «Индоевропейский» (Das Indoeuropäische) сжато и экономно представлены основные особенности данного праязыка: системы гласных и согласных (с указанием на их рефлексы в праславянском), аблаут (с его отражением в русском), охарактеризована структура индоевропейского корня (тематические и атематические основы). Здесь же бегло освещена «Переходная эпоха от индоевропейского к праславянскому». Указано на появление некоторых общих изоглосс, объединяющих праславянский с прагерманским и праславянский с прабалтийским. Несколько небольших параграфов посвящено вопросу о балто-славянских языковых взаимоотношениях. В качестве одного из древнейших фонетических процессов, охвативших не только протославянский, но и прабалтийский и индоиранский, указывается изменение древнего **s* после *k*, *r*, *u*, *i*. Подчеркивается, что центром данного процесса был протославянский, в котором изменение **s* явилось самым последовательным. Среди древнейших изменений, характерных для славянских и балтийских языков, названа общая судьба слоговых сонантов, а также некоторые другие фонетические процессы.

В разделе «Праславянский» (Das Urslawische) описаны все основные фонетические изменения, происходившие в данной языковой общности. Изменения звуковой системы праславянского периода излагаются в рамках трех основных тенденций: 1) делабиализации гласных, 2) палатализации согласных и 3) закона открытого слога. Отмечается, что делабиализация гласных привела к четкому противопоставлению гласных переднего и непереднего ряда, а это в свою очередь оказало непосредственное влияние на судьбу согласных. Наглядно показано, что в силу действия названных выше тенденций индоевропейское наследство на праславянской почве претерпело существенные изменения, в результате которых развилась новая, собственно славянская звуковая система. Установлена хронологическая последовательность фонетических изменений, подчеркнуто, что тенденция к открытому слогу заканчивается процессами, связанными с судьбой дифтонгических сочетаний *-er-*, *-or-*, *-el-*, *-ol-*.

Отмечено, что изменения этих сочетаний были уже различными в отдельных славянских языковых группах.

В разделе «Ранний общевосточнославянский» (Das frühe Gemeinostslawische 8.—11. Jh.) дана краткая историческая справка, где говорится, что расселение славян на большой территории к половине первого тысячелетия н. э. приводит к разложению бывшего этнического и языкового единства. Начинают формироваться отдельные самостоятельные языковые группы, и к IX—X вв. общевосточнославянский представляет собой уже особое языковое единство. Среди его фонетических процессов отмечается возникновение полногласия, описана судьба начальных *-or- и *-ol-, исчезновение начального *j* (однако подчеркивается, что этот процесс нельзя считать окончательно выясненным). Здесь рассмотрена система гласных и согласных общевосточнославянского языка, описана вторичная палатализация «полумягких» губных и переднеязычных, указана дистрибуция согласных, говорится о развитии словарного состава.

Особое внимание в учебнике уделено описанию истории древнерусского языка. В самом большом по объему разделе «Древнерусский» (Das Altrussische 11.—17. Jh.) представлена история русского языка со времен возникновения письменности у восточных славян до начала формирования русского национального языка. Начиная с этого раздела, параллельно освещаются вопросы исторической грамматики и истории русского литературного языка. В начале раздела дана краткая характеристика исторической эпохи (экономический и культурный расцвет Киевской Руси, борьба восточных славян с внешними врагами, наконец, процесс феодального раздробления и появление новых политико-экономических центров). Подчеркивается, какое большое значение для объединения восточных славян имело возникновение древнерусской письменности, как это повлияло на обособление восточных славян от западных.

История русского литературного языка разделена на два этапа (с XI по XIV и с XIV по XVII вв.). Отмечается, что для дальнейшего развития русского литературного языка большое значение имели древние хроники, памятники древнерусского права, произведения художественной литературы (в первую очередь «Слово о полку Игореве»). Одной из особенностей литературного языка данного периода является переплетение народной речи с элементами церковнославянского языка. Приведен краткий перечень основных различий между старославянским и древнерусским языками в области фонетики, в системе форм, в синтаксисе и в словарном составе.

Далее дается описание фонетических процессов письменного периода с XI по XVII вв. Особое внимание уделяется следствиям падения редуцированных и влиянию данного процесса на всю фонетическую систему древнерусского языка. Компактно, но весьма удачно и наглядно изложено развитие морфологической системы. Достаточно полно представлена история существительного и глагола. Даны краткие замечания об особенностях и тенденциях развития синтаксиса древнерусского языка. Раздел заканчивается анализом русского литературного языка XIV—XVII столетий. В силу изменения исторических, политических, экономических и культурных условий бывшее единство восточных славян распадается и дает начало развитию трех самостоятельных языков. Термин «русский язык» с середины XIV в. получает новое содержание — он начинает употребляться для обозначения языка только русского народа, а не всех восточных славян. Особое внимание обращено на значение Московского периода в развитии русского литературного языка.

Последний раздел «Русский литературный язык национальной эпохи» (Die russische Literatursprache der nationalen Epoche) посвящен почти исключительно проблемам истории русского литературного языка. Этот раздел отражает основные этапы и тенденции развития русского литературного языка с начала XVIII в. до наших дней. Указано, что в это время устанавливаются основные нормы современного русского литературного языка.

В области грамматической структуры отмечено дальнейшее совершенствование видовой системы и способов глагольного действия, подчеркнута тенденция русского языка к аналитизму, активизация употребления простых предложений и безличных конструкций.

Рецензируемая книга дает целостное впечатление о становлении и развитии русского языка. История, которая берет свое начало в недрах индоевропейского праязыка, представлена как сложный, но единый поступательный и непрерывный процесс, происходящий и в наши дни. Целый ряд, казалось бы, попутных замечаний об аналогичных явлениях в других родственных языках способствует более наглядному раскрытию специфики славянских языков, а позднее и русского. История русского языка рассматривается, таким образом, в более широком контексте славистики, а отчасти и индоевропеистики.

Основные периоды развития русского (в первую очередь литературного) языка описаны в теснейшей связи с формированием и развитием общественно-экономических формаций в истории народа.

Фонетические и морфологические изменения на разных этапах развития русского языка представлены как причинно обусловленные и системно взаимосвязанные языковые явления. Так, например, в компактно изложенном параграфе «К развитию категории одушевленности» наглядно показана взаимосвязь разных уровней языка — фонетического, морфологического и синтаксического. Проиллюстрировано, как изменения на одном уровне влекут за собой сдвиги на другом и приводят к появлению новой категории.

Хорошее знание одним из авторов — Р. Эккертом — балтийских языков позволило включить в учебник много новых примеров из этих языков (особенно из литовского) и тем самым придать описываемым процессам бо́льшую наглядность и научную убедительность. В изложении

материала умело сочетаются внешние и внутренние реконструкции.

В освещении общего процесса развития русского языка особое внимание уделяется описанию тех явлений, которые имеют непосредственное отношение к объяснению фактов современного русского языка. В учебнике четко выдержан принцип единства современного состояния русского языка и его исторических изменений.

Заслуживают внимания и одобрения дидактическая направленность и типографическое оформление учебника. Описание сложных процессов, происходивших в глубокой древности, где это возможно, начинается с того, что студентам известно. В качестве одной из многих иллюстраций можно указать описание аблаута, которое начинается примерами из немецкого языка, где данное фонетическое явление ярко выражено и в настоящее время.

Пользование учебником облегчается наличием карт, отражающих расположение славянских племен и народов в разные исторические периоды, а также карты с указанием территории распространения современных восточнославянских языков и их основных диалектов.

В списке использованной литературы дается 215 названий и 67 позиций дополнительной литературы. Среди указанных источников приводятся работы советских языковедов.

В заключение необходимо подчеркнуть, что публикация в ГДР «Истории русского языка» привлечет внимание не только студентов и преподавателей, но и всех лингвистов и будет способствовать пропаганде русского языка за рубежом.

Мустейкис К. В.

***Л. Дэжё.* Типологическая характеристика русской грамматики в сопоставлении с венгерской. Простое предложение.** — Будапешт: Танкёньвкиадо, 1984. 263 с.

До середины нашего столетия в Венгрии славистикой интересовались лишь отдельные ученые, исследовавшие главным образом западно- и южнославянские языки. Широко представленные на территории старой Австро-Венгрии словацкий, чешский, сербскохорватский языки привлекали внимание венгерских ученых прежде всего с точки зрения истории венгерского языка в свете его контактов с соседними языками. Взаимосвязи восточнославянских и венгерского языков недооценивались: считалось, что они почти не отражались в венгерском языке. Поэтому украинскому и русскому языкам уделялось мало внимания. Положение в корне изменилось после окончания второй мировой войны, когда возрос интерес к восточнославянским языкам, особенно к русскому. В настоящее время русский язык входит в программу школьного обучения, стал одним из предметов вузовской подготовки. Необходимость разработки методов преподавания русского языка в школьной и вузовской аудиториях явилась первым стимулом к выявлению сходств и, особенно, расхождений между структурными схемами русского и венгерского языков, что привело к более широкому и целенаправленному практическому сопоставлению отдельных особенностей этих языков, а также к теоретическому осмыслению системных взаимоотношений их структур. Среди работ по сопоставлению грамматических закономерностей венгерского и русского языков выделяются труды И. Пете, Й. Драхош, Й. Крекитш, Э. Саламин, но особенно большие заслуги в этой области принадлежат Л. Дэжё. Первые сопоставительные работы Л. Дэжё посвящены частным вопросам машинного перевода с русского языка на венгерский. Теоретические взгляды Л. Дэжё по вопросам общей типологии изложены в его монографиях [1, 2].

Рецензируемая книга является образцом синтеза теории и практики. В соответствии с этой направленностью монография (кроме краткого предисловия) разделена на две большие главы. В первой из них излагаются «типологические основания» в аспекте сравнения основных характеристик грамматического строя русского и венгерского языков; вторая глава (поскольку она ориентирована на венгров, изучающих русский язык), начинающаяся с общего обзора структурных схем простого предложения русского языка, в основном содержит детальное описание важнейших схем двукомпонентных предложений русского языка в сопоставлении с венгерскими.

Для метода, примененного в книге, характерно использование анализа по структурным, функциональным и операционным параметрам, из которых главное значение придается первым двум. При изучении любого вопроса автором учитываются новейшие достижения лингвистической теории, о чем свидетельствуют многочисленные ссылки на специальную литературу, сопровождаемые нередко подробным изложением и толкованием взглядов цитируемых ученых, а иногда и критическими замечаниями. Особо следует отметить отношение Л. Дэжё к советской теоретической литературе по лингвистике. Наиболее широко им используются труды ленинградских и московских ученых: многократно цитируются Русская грамматика (I—II; М., 1980), работы В. С. Храковского, Ю. С. Маслова, А. В. Бондарко, Б. А. Серебренникова, В. Н. Ярцевой, Г. А. Климова, К. Е. Майтинской и др. Несмотря на то, что книга предназначена для специалистов, она написана вполне доступно и для широкого круга читателей. Этому способствует стремление автора последовательно объяснять применяемые им специальные термины, иногда достаточно извест-

ные (например, «актанты», «агенс», «пациенс», «актуальное членение предложения» и др.). Кроме того, в качестве приложения приведен список терминов, снабженный толкованиями. Однако отдельные схемы-рисунки (например, на с. 12) слишком сложны и иногда затрудняют восприятие материала.

В целях установления типологических сходств и расхождений между русским и венгерским языками Л. Дэжё привлекает и дополнительные языки, представляющие по соответствующим вопросам особый интерес. Так, для определения принадлежности русского и венгерского языков к разным подтипам по выражению объекта автор подключает к анализу эстонский, что дает ему возможность определить по указанному параметру три подтипа номинативных языков: партитивный, характеризующийся наличием специального средства — падежа партитив — для выражения неполного охвата объекта действием (представители этого подтипа: прибалтийско-финские языки, в частности, и эстонский), семипартитивный, по которому тотальный объект выражается специальным падежом — обычно винительным, партитивный же — другим, неспециальным средством (представителями этого подтипа выступают литовский и славянские языки, в частности, и русский, в котором для обозначения тотального объекта служит аккузатив, для обозначения же партитивного — генитив: *выпить вино*, *выпить вина*), тотальный подтип (его представитель — венгерский язык, в котором партитивный и тотальный объекты выражаются одинаково — аккузативом). Этим примером убедительно показаны расхождения между русским и венгерским языками по довольно существенным параметрам, несмотря на то, что по основному — субъектно-объектному — оба они относятся к номинативному типу в противоположность эргативным языкам. В иных случаях путем привлечения других языков Л. Дэжё демонстрирует возможность объединения русского и венгерского языков в единый подтип, несмотря на довольно существенные внешние расхождения. Так, на фоне немецкого языка, в котором рефлексивные предикаты распространены формами личных местоимений (ср.: *ich sehe mich* «я вижу себя», *du siehst dich* «ты видишь себя»), русский и венгерский по данному параметру сходны тем, что в них для каждого лица имеются специальные возвратные местоимения (ср. русск. *я вижу себя*, *ты видишь себя* и их венгерские переводы: *én látom magamat*, *te látod magadat* и т. д.).

Для подтверждения типологических сходств или расхождений между русским и венгерским языками по разным параметрам автором неоднократно привлекаются сербскохорватский, английский, немецкий, эстонский, эскимосский, чукотский, табасаранский языки. Можно было бы спорить о том, всегда ли Л. Дэжё избирает наиболее яркий язык по соответствующему параметру. Так, по приведенному выше примеру особенно подходящим представителем из прибалтийско-финских языков мы считаем финский, лучше сохранивший партитивное оформление, чем эстонский (впрочем, по эстонскому языку Л. Дэжё имел возможность пользоваться сопоставительной грамматикой эстонского и русского языков, изданной в 1962 г., в то время как по финскому языку подобной работы нет).

Как уже отмечалось, в первой главе рассматриваются вопросы общей типологии на материале сопоставленных русских и венгерских данных. Об этом можно судить по заголовкам больших разделов: Главные процессы создания предложения; Универсальная структура, создание и преобразование исходного предложения; Грамматическое оформление исходного предложения; Актуализация предложения: аспектуальность и детерминация; Актуальное членение простого активного предложения; Осложненное предложение (имеются в виду предложения, в которых участвуют не только актанты и предикат). Естественно, в книге освещены не все стороны соответствующих проблем, что оговорено самим автором. Однако, по нашему мнению, вопросы отобраны удачно, во всяком случае, наиболее сложным из них уделено достаточно внимания. Четко освещены основные теоретические проблемы, которые наиболее существенны для типологического сопоставления русского и венгерского языков. Это вопросы, связанные с семантическим предикатом (автором они разделяются на стативные или статальные и динамические), вопросы диатезы, в связи с которыми рассматриваются типы формальных выражений пассивных, реципроковых и рефлексивных конструкций. Далее — особенности, обусловленные флективностью русского и агглютинативностью венгерского языков в рамках номинативного строя предложения обоих языков, вопросы типологии падежных систем в русском и венгерском в сопоставлении с другими языками; подробно рассматриваются значительные расхождения глагольной аспектуальности в русском и венгерском языках в качественном и количественном аспектах, а также по способу действия; в анализе способов детерминации существительных тщательно описывается богатство соответствующих средств в венгерском по сравнению с русским, поскольку в первом из них (помимо местоимений) функционируют артикли и специальное объектное спряжение, предназначенное для выражения детерминированного прямого дополнения, грамматические варианты которого автором перечисляются.

Достоинство первой главы, на наш взгляд, заключается в умении автора объяснить совокупность серьезных расхождений в частных структурных схемах русского и венгерского языков их основными типологическими расхождениями. Автор убедительно показывает, что частные различия в значительной степени обусловлены общими вариантами в рамках номинативного типа. Выводы автора богато иллюстрированы примерами.

Вторая глава книги, посвященная сопоставительному анализу особенностей русского и венгерского языков, построена на принципе подхода к соответствующим вопросам, реализованном в акаде-

мической «Грамматике русского языка» (М., 1980 г.), и поэтому глава начинается с изложения принципов построения указанной грамматики, с описания ее структуры. Затем следует краткий обзор сопоставления основных структурных схем двукомпонентных и однокомпонентных простых предложений. По двукомпонентным предложениям особо различаются структуры со спрягаемой формой глагола и структуры без такой формы. Основная же «рабочая часть» главы отведена анализу (в сопоставлении с их венгерскими соответствиями): а) русских двукомпонентных предложений с объектом и б) русских двукомпонентных предложений с обстоятельствами. Общей основой для сопоставления является семантический подход. Так, для освещения венгерских соответствий русскому винительному падежу автор исходит из семантических групп русских глаголов, управляющих объектом в винительном падеже. Круг вопросов, затронутых во второй главе, мог бы быть значительно дополнен, но ограниченность выбора частично объясняется объективными причинами. Например, как отмечает сам автор (с. 144), вопросы субъективной модальности не включены в книгу ввиду отсутствия предварительных разработок по соответствующей теме.

«Заключения» в монографии, к сожалению, нет. Книга заканчивается обширной библиографией специальной литературы, использованной автором.

Наряду с многочисленными удачами, в книге встречаются отдельные формулировки, иллюстративные примеры, нуждающиеся в уточнении.

Можно согласиться с Л. Дэжё в том, что венгерский язык по обозначению прямого объекта относится к так называемому тотальному подтипу номинативных языков, но его утверждение, что в венгерском языке совершенно нет морфологического средства для выражения неполного охвата объекта действием (с. 33), все же представляется слишком категоричным. На самом деле таким средством является нечастое периферийное использование элатива; ср.: *a vizet inni* «выпить воду» и *a vízből inni* «выпить воды». Слишком категоричен и другой вывод Л. Дэжё, заключающийся в том, что ограничительный способ действия, обозначенный в русском языке приставкой *по-*, в венгерском отсутствует и выражается якобы лишь описательно (с. 78). На самом деле в венгерском такой способ имеется: применение преверба *el-*, ср. русск. *он играл с ребенком* «játszott a gyerekkel» и *он поиграл с ребенком* «eljátszott a gyerekkel», *я люблю с ним беседовать* «szeretek vele beszélgetni» и *я люблю с ним побеседовать* «szeretek vele elbeszélgetni». В то же время нельзя не отметить, что венгерский преверб *el-* в ограничительном значении употребляется значительно реже, чем русский префикс *по-*, в частности, русским примерам с *по-*, приведенным автором, действительно не соответствуют венгерские примеры с превербом *el-*. В таблице, изображающей систему падежей венгерского языка (с. 47—48), суф. *-nak* представлен дважды: как окончание датива и как окончание генетива при посессивных определениях. В то же время окончания всех других падежей в таблице фигурируют только один раз, хотя среди них тоже имеются носители совмещенных основных функций (например, *-ből*). В книге встречаются случаи, когда с определенным типом русского предложения сопоставлен тип венгерского предложения в виде буквального перевода, который для венгерского является неестественным, неправильным. Так, на с. 32 венг. *Annának lehet utazni* передано русск. *Анне можно ехать*; также неправильным воспринимается венгерский «эквивалент» русского выражения *задача учиться* — *A feladat tanulni* (с. 147). По-видимому, терминологическим недоразумением объясняется ошибочное утверждение автора, что в древневенгерском не было артиклей (с. 36). Если считать, как это принято, что древневенгерский (или, иначе, старовенгерский, по-венгерски — ómagyar) период длился с X до середины XVI века, то следует иметь в виду, что определенный артикль уже зафиксирован в венгерских памятниках XIV в. (см. [3]). Видимо, в данном случае автор термин «древневенгерский» употребил вместо термина «правенгерский», обозначающего дописьменный период венгерского языка. Подобное же терминологическое недоразумение лежит в основе другого утверждения, будто немаркированный аккузатив, совпадающий по форме с номинативом, был характерен для древневенгерского языка (с. 36). На самом деле, аккузатив с суф. *-t* хорошо прослеживается уже в Надгробной речи (первый связный памятник венгерского языка, относящийся к концу XII в.). В отдельных случаях недостаточно четко охарактеризованы семантические группы управляющих слов, например, русские глаголы *бояться*, *опасаться*, *остерегаться*, *стыдиться* и их венгерские эквиваленты отнесены к объектным, выражающим удаление, лишение.

Наши замечания, естественно, не затрагивают очевидных достоинств рецензируемой монографии. Книга Л. Дэжё читается с интересом. Методы анализа, примененные в ней, теоретические обобщения, как и частные выводы автора, заметно продвигают разработку как проблем общей типологии, так и методов преподавания русского языка в венгерской аудитории.

Майтинская К. Е.

ЛИТЕРАТУРА

1. *L. Dézső*. Bevezetés a modattani tipológiába. Budapest, 1972.
2. *L. Dézső*. Studies in syntactic typology and contrastive grammar. Budapest — The Hague, 1982.
3. *G. Bárczi, L. Benkő, J. Berrár*. A magyar nyelv története. Budapest, 1967, 18, 399 old.

Дарбеева А. А. **Русско-монгольские языковые контакты в условиях двуязычия.** — М.: Наука, 1984. 192 с.

Проблема языковых контактов в условиях двуязычия относится к одной из важнейших теоретических проблем монголоведения — она имеет непосредственный выход в практику языковой жизни. Не все монгольские языки изучены в равной степени и потому результаты их контактов с иноструктурными языками не выявлены в должной мере.

Книга А. А. Дарбеевой, посвященная изучению взаимодействия монгольских языков с русским в процессе речевой практики монголоязычных билингвов на русском языке, определенным образом восполняет имеющуюся лакуну в монгольском языкознании. Она состоит из введения, трех глав и заключения.

Во введении (с. 5—34) прослеживается история изучения проблемы языковых контактов, рассматриваются принципы подхода к проблемам контактологии — собственно лингвистический и социолингвистический, излагаются взгляды автора на разработку данной проблемы на материале монгольских языков, методы исследования и описания. Здесь впервые в монголоведении выявлены типы языковых контактов и общее направление в их развитии в зависимости от структурного соотношения контактирующих языков и социально-экономических, культурно-идеологических условий существования самих носителей монгольских языков. При этом устанавливается, что контакты с генетически родственными и неродственными языками дают разные результаты. В принципе справедливое утверждение автора относительно результатов контактов генетически родственных языков вызывает возражение в той части, где А. А. Дарбеева, солидаризируясь с существующим мнением некоторых монголистов, считает, что язык бурят, проживающих в МНР, превратился в диалект монгольского языка (с. 12). Следует отметить, что буряты в большинстве своем перекочевали в Монголию только в начале XX в., и по данным этнолингвистического атласа МНР (1979 г.) их язык не претерпел существенных изменений. Кроме того, экспедиция Института общественных наук Бурятского филиала СО АН СССР в районы компактного проживания бурят на территории МНР установила, что среди них распространено бурятско-монгольское двуязычие. Поэтому, несмотря на то, что определяющей линией развития их языка является сближение с монгольским, пока еще преждевременно утверждать, что язык бурят МНР трансформировался до уровня диалекта монгольского языка. К сожалению, наш экспедиционный материал еще не опубликован, поэтому А. А. Дарбеева ссылается лишь на имеющиеся работы специалистов МНР по этому вопросу, хотя указывает, что явление перестройки языковой системы подобных этнических групп требует специального изучения (с. 13).

При определении контактов монгольских языков с иноструктурными даны краткие сведения о самих монгольских языках и ареалах их распространения.

В настоящее время известны десять монгольских языков, функционирующих на территории четырех стран и контактирующих с разными языками. Такие монгольские языки китайского ареала, как дунсянский, баоаньский и монгорский, носители которых в течение многих веков живут в иноязычной среде, не имеют письменности и не контактируют с друг с другом, подверглись влиянию китайского и частично тибетского языков в такой степени, что стали малопонятными остальному монголоязычному миру. В В отличие от них монголы, баргу-буряты и ойраты, проживающие во Внутренней Монголии и в Синьцзяне (КНР), имеют письменно-литературный язык на вертикальной графике, расселены относительно компактно, вследствие чего их язык испытал значительно меньшее влияние китайского языка, чем дунсянский и другие островные языки. Большее влияние китайского, а также маньчжурского языков обнаруживается в бесписьменном дагурском языке, распространенном в северо-восточном Китае. Иной тип в развитии контактов монгольских языков представлен могольским языком, многовековые контакты которого с иранскими языками Афганистана завершаются сменой исконного языка таджикским (с. 15).

Автор полагает, что существенным фактором в функционировании монгольских языков является наличие литературно-письменной формы языка, представляющей определенный показатель стабилизации исконного языка в иноязычной среде.

В соответствии с этим исследователь дифференцирует контакты литературно-письменных и бесписьменных островных монгольских языков. Правомерность такой дифференциации подтверждается конкретным материалом.

Существующее различие в контактно обусловленных изменениях на фонетическом уровне между некоторыми литературно-письменными и отдельными бесписьменными островными монгольскими языками раскрывается посредством сопоставления однотипных фактов фонетических интерференций, занимающих разное место в фонетической системе этих двух групп монгольских языков. В литературно-письменных языках иноязычные элементы наблюдаются только в звуковой структуре лексических заимствований, а в бесписьменных языках эти фонетические инновации пронизывают также слова монгольского происхождения, т.е. явления интерференции перестали восприниматься как иноязычный факт, став фонетической нормой этих языков за счет вытеснения исконных элементов родного языка (с. 23—31).

Ценным является сама постановка вопроса о необходимости сопоставительного изучения проблемы контактов, характера влияния иноструктурных языков на монгольские. Литературно-письменные монгольские языки интенсивно развиваются, модифицируя и активизируя свои исконные средства, они вбирают в себя лишь

необходимые элементы из иноструктурного языка, в то время как бесписьменные островные языки перестраивают свою языковую систему в соответствии с языком окружающей этнической среды. Такое предпослание к основному исследовательскому материалу представляется логичным и целесообразным.

Непосредственному наблюдению исследователя были доступны русско-монгольские языковые контакты, прежде всего русско-бурятские и русско-калмыцкие и в известной мере русско-монгольские. Именно характеристика этих контактов составляет основное содержание книги А. А. Дарбеевой. Работа выполнена на добротном фактическом материале, собранном автором в полевых условиях в результате личного наблюдения над русской речью различных социальных, национальных и возрастных групп монголоязычных билингвов.

В первой главе рассматриваются этнолингвистические условия формирования двуязычия у бурят и калмыков. Дана его периодизация с делением на три послереволюционных периода: 20—30-е, 40—50-е, 60—80-е годы. В основу данной периодизации положено соотношение общественных функций языков. Первый период отмечен созданием литературных языков на основе собственных диалектов, говоров языка с максимальным расширением общественных функций родного языка. Второй период (военное и послевоенное время) характеризуется некоторым сокращением социальных функций родного языка и расширением функций русского языка, а третий период знаменуется стабилизацией общественных функций контактирующих языков.

Критерий периодизации двуязычия, очевидно, правомерен, однако он нуждается в некоторых уточнениях.

В книге сказано, что сокращение функций родного языка в процессе обучения и при издании научно-политической литературы имело место во втором периоде. Между тем это явление скорее соотносимо с третьим периодом. Именно на конец 40-х и на 50-е годы приходится наибольший объем общественно-политической литературы, изданной на бурятском языке. Переход на русский язык обучения произошел в третьем периоде. Следовательно, изменение в функциональном соотношении бурятского и русского языков с последующей стабилизацией произошло в третьем периоде, т. е. в 60—70-х годах.

Автор отмечает, что массовое двуязычие берет свое начало во втором периоде. Здесь необходим дифференцированный подход, ибо двуязычие развивалось неравномерно в разных бурятских автономных округах, в сельских районах, в городах и пригородных поселках Бурятии. Интенсивное развитие и широкое распространение бурятско-русского двуязычия имело место в третьем периоде.

В данной же главе показывается распространение среди калмыков и бурят общенародного национально-русского двуязычия контактного типа, обусловленного возросшими социально-экономическими, культурно-идеологическими и духовными потребностями самих носителей этих языков. Заметим, что стремление к овладению русским языком — это общее и типичное явление для всех народов СССР, нашедшее отражение во многих социолингвистических работах. В двух последующих главах проводится сопоставление данных бурятско-русского, калмыцко-русского двуязычия контактного типа с неконтактным типом монгольско-русского двуязычия, которое дает интересный исследовательский материал по типологии интерферентных явлений.

Проблема взаимодействия монгольских языков с русским в процессе усвоения звуковой системы русского языка монголоязычными билингвами рассматривается во второй главе. Сам по себе этот вопрос не является новым, ибо имеются сопоставительные работы по фонетике русского и монгольского языков, а также методические пособия, характеризующие ошибки в употреблении звуков русского языка под влиянием родного языка учащихся.

Тем не менее глава содержит новый исследовательский материал, изложенный в социолингвистическом аспекте. Проблема взаимодействия разноструктурных языков рассматривается через призму двуязычия. Факты звуковой интерференции в русской речи разных социальных слоев монголоязычных билингвов приводятся с объяснением их причинной обусловленности. Главный упор делается на типологизацию интерферентных явлений в русской речи носителей разных монгольских языков, на сопоставление конститутивно дифференциальных признаков фонем русского и монгольских языков, выявлены сходства и различия в условиях реализации аллофонов этих фонем. В области вокализма, например, наблюдается опереднение русских гласных *а*, *о*, *у*, *ы* и артикуляция их как мягкорядных *э*, *ө*, *Y*, *и* родного языка билингвов. В области согласных отмечены деспирантизация щелевых *в*, *ф*, дезаффрикатизация консонантов *ч*, *ц*, спирантизация смычного *к*, оглушение звонких согласных и озвончение глухих, палатализация твердых согласных и веляризация мягких и т.д. Интерференция наблюдается также и в слоговой структуре слова.

Суть нового заключается также в том, что носители интерферентных явлений в русской речи соотнесены с их социальными параметрами, дающими возможность определить основные сферы бытования различных видов фонетических интерференций.

Показана статика и динамика в преодолении фонетических интерференций в русской речи разными слоями монголоязычного населения — факт, имеющий существенное значение не только для практики обучения русскому языку, но и обнаруживающий обратное явление: возможность усвоения родным языком билингвов тех или иных фонетических элементов русского языка. Это же явление параллельно прослеживается в данной главе и при анализе звуковой адаптации русизмов в монгольских языках,

когда рассматриваются сходные фонетические процессы в механизме освоения звуковой структуры русских слов в русской речи монголоязычных билингвов и в их родном языке. Наблюдение за живым процессом двуязычия помогло автору в какой-то мере уточнить потенциальные возможности родного языка билингвов для восприятия иноязычных элементов в условиях двуязычия.

В третьей главе рассмотрены интерферентные явления в русской речи монголоязычных билингвов на уровне морфологии.

Выделяются два типа интерференции. Первый тип обусловлен отсутствием в родном языке билингвов некоторых грамматических форм, наличествующих в русском языке (категории грамматического рода, возвратной формы глагола, инфинитива, префиксальных глаголов). Второй тип морфологической интерференции детерминирован наличием в родном языке билингвов грамматических категорий, имеющих аналоги в русском языке, но с несколько иным функционально-грамматическим содержанием (категории числа, падежа, вида, залога, времени и т.д.). В работе подробно и последовательно описаны все виды интерференций по каждой из этих грамматических форм. Третья глава, так же, как и вторая, снабжена хорошо продуманными, обобщающими материал таблицами.

После лингвистической характеристики интерферентных явлений показаны преимущественные сферы бытования интерференций, обусловленные своеобразием социальной и национальной стратиграфии. Устанавливается, что распространение, частотность, их статика и динамика имеют прямую зависимость от таких факторов, как возраст, образование, профессия билингва, тип контакта и время приобщения к русскому языку. Констатация такой зависимости языковых явлений от социальных параметров представляется важной, ибо именно социальные признаки указывают на возможные пути преодоления явлений интерференции.

Интересными представляются оппозиции контактного и неконтактного типов двуязычия. Они определяют разную степень распространения двуязычия среди населения — массовое и групповое. Кроме того, неконтактный тип двуязычия дает такие разновидности интерференций, которые уже не встречаются у представителей контактного двуязычия. Противопоставление контактного типа массового двуязычия у калмыков и бурят неконтактному типу двуязычия у монголов дало возможность типологизировать интерферентные явления в русской речи носителей разных монгольских языков с указанием общности и различия между ними в процессе усвоения билингвами второго языка.

Наряду с этим в работе выявлены наиболее проницаемые звенья фонетической и морфологической систем родного языка или иноязычного влияния.

В заключение следует отметить, что монография А. А. Дарбеевой, представляющая новое направление в монголоведении, посвящена решению проблемы, имеющей особое значение и актуальность в наши дни, когда в языковой политике ставится задача «всеми мерами содействовать расцвету национальных литературных языков и в то же время добиваться полного овладения русским языком всеми гражданами СССР» [1].

Основные итоги работы важны не только для практики обучения русскому языку носителей монгольских языков, но и для теории языковых контактов.

Данная работа дает основание надеяться, что исследование проблем контактологии монгольских языков будет продолжено на материале других уровней языка и речи — лексики, семантики, фразеологии, синтаксиса и стилистики.

Шагдаров Л. Д.

ЛИТЕРАТУРА

1. Русский язык как средство межнационального общения. М., 1977, с. 3.

Виноградов В. А., Коваль А. И., Порхомовский В. Я. **Социолингвистическая типология. Западная Африка.** Отв. ред. Охотина Н. В. — М.: Наука, 1984. 128 с.

Книга, написанная сотрудниками Сектора африканских языков Института языкознания АН СССР, имеет не только узкопрофессиональную (африканскую), но и общеязыковую и, самое главное, общекультурологическую ценность. Доказательством этому утверждению служит и богатый фактический материал — экономно и лапидарно изложенный, и теоретические положения книги.

Самым интересным и продуктивным понятием, используемым авторами в качестве основы для построения социолингвистической (макросоциолингвистической) типологии, «является понятие *коммуникативной среды* (КС), которая определяется как исторически сложившаяся этносоциоязыковая общность, характеризуемая относительно стабильными и регулярными внутренними коммуникативными связями и определенной территориальной локализованностью» (с. 9). Макросоциолингвистика, как считают В. А. Виноградов, А. И. Коваль и В. Я. Порхомовский, должна ориентироваться на изучение социолингвистического состояния коммуникативных сред (на изучение этнических, языковых и коммуникативных ситуаций) с тем, чтобы эффективно и точно описывать и современное речевое поведение этносов, и прогнозировать их дальнейшее поведение (прогнозировать использование той или иной «идиомной» тактики и стратегии).

Таким образом, в основе социолингви-

стической типологии, разрабатываемой авторами этой книги, лежит следующая триада: коммуникативная среда, этнос, идиом, причем этнос может быть охарактеризован с помощью выявления предпочтений, диктующих выбор того или иного идиома (или совокупности их) в определенных коммуникативных условиях (ситуациях).

В этнической ситуации (как составляющей коммуникативной среды) необходимо учитывать: 1) степень этнического разнообразия, количественно-демографическое соотношение этнических единиц (равновесные, неравновесные, доминирующие или недоминирующие этнические структуры), 2) типы и принципы пространственно-территориального распределения (континуальные и дисперсионные, компактные или некомпактные), 3) этническую проницаемость или замкнутость, 4) степень интеграции этносов (метаэтническая или надэтническая общность), 5) эстимационные характеристики (положительные, нейтральные и негативные оценки), 6) степень внутриэтнической консолидации (ядерные или диффузионные, однополюсные или многополюсные этносы).

Для языковой ситуации принципиальное значение имеет учет следующих факторов: 1) степень языкового разнообразия (однородные или разнородные среды), 2) степень генетической близости языков, 3) количественное соотношение говорящих на каждом из данных языков (крупные и мелкие, количественно-равновесные или количественно-контрастирующие языки), 4) пространственное распределение языков (дисперсионные и континуальные, компактные и некомпактные, автохтонные и импортированные языки), 5) наличие или отсутствие обработанных форм языка, 6) степень эстимационной нагрузки.

Среди факторов, предопределяющих «вес» коммуникативной ситуации в общем балансе социолингвистического состояния коммуникативной среды, самыми важными представляются следующие: 1) коммуникативная открытость или замкнутость идиомов, 2) степень их коммуникативной адекватности и 3) опыт их использования в различных сферах общения.

Ориентация на анализ языкового речевого поведения этноса под таким углом зрения, т.е. с учетом и внешних (экстралингвистических) факторов, позволила авторам книги интересно и нетривиально описать и типы существующих коммуникативных сред, и такие социолингвистические зоны, как внутренняя, береговая и средняя, а также исчерпывающе охарактеризовать состояние традиционных этноязыковых общностей в Нигерии и статус одного из дисперсионных африканских языков — фула(точнее говоря, этносов, пользующихся этим идиомом).

Ценность книги «Социолингвистическая типология...» представляется несомненной как для лингвистов и социолингвистов (другого профиля), так и для социологов: в ней достигнуто то равновесие фактического и теоретического, к которому стремится каждый исследователь. Но помимо экономности, простоты и изящества формальных и содержательных решений, предлагаемых авторами этой книги, в ней привлекает внимание и выход (очевидно, осознаваемый, но не эксплицируемый) в социально-психологическое «пространство» языкового/речевого поведения (показательно в этом отношении использование эстимационных характеристик при описании этнических установок на тот или иной идиом) [1]. Но этот выход представляется лишь одним из возможных: существуют выходы в психологическое и в культурологическое (этот выход, хотя и не полностью, но намечен авторами книги) пространства этнического поведения — в пространства лингвосоциопсихологии и лингвосоциокультурологии.

Можно предположить также, что описание составляющих этнической, языковой и коммуникативной ситуаций окажется — при соответствующей корректировке — приложимым и к анализу процессов речевого воздействия (массовой коммуникации), и к анализу феноменов культуры (например, представляется многообещающим использование понятия культурологического кластера по аналогии с коммуникативным кластером (см. подробнее с. 60).

Если считать, что «идеалом» макролингвистических исследований являются такие, в которых представлена не только статика, но и динамика поведения (вербального и невербального) этносов, то можно сказать, что книга В. А. Виноградова, А. И. Коваль и В. Я. Порхомовского — это первый шаг к такого рода исследованиям, ибо в ней представлен понятийный аппарат для изучения «поведенческих сюжетов», этнических сценариев и планов (по А. Шенку и Р. Абельсону).

Таким образом, перед нами научная книга, какой она и должна быть — книга с богатыми экстраполяционными возможностями.

Сорокин Ю. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Михальченко В. Ю.* Проблемы функционирования и взаимодействия литовского и русского языков. М., 1984.

[1] Этот выход в принципе «считается» выходом за пределы социолингвистики, и большинство социолингвистов не идет на нарушение соответствующих границ (см., например [1]), хотя есть все основания полагать, что именно совокупность психологических, социально-психологических и культурологических аксиологем (причем, индивидуальных!) предопределяет стратегию и тактику вербального и невербального поведения этносов.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

По инициативе Института русского языка АН СССР, при поддержке Бюро *Отделения литературы и языка* АН СССР и при помощи Минвуза СССР в сентябре 1985 г. на базе Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова—Ленина состоялось Всесоюзное совещание «Теоретические проблемы стилистики текста».

По актуальным вопросам стилистики текста выступили сотрудники научно-исследовательских учреждений, преподаватели университетов, педагогических институтов и других учебных заведений.

Оживленную дискуссию вызвали различные аспекты стилевого профиля текста: стиль и текст, стилистические качества текста, стилистическая норма, стиль и контекст, стилистический узус, жанровые формы речи, стилистические аспекты единиц языка в художественных, публицистических, научных, деловых, документальных текстах, композиционно-стилевой профиль текста, учебно-методические аспекты стилистики текста.

Стиль квалифицировали как важнейшую категорию стилистики, как манеру организации языковых единиц в «речевом произведении» и неизменно связывали с текстом, с характером выделения и обособления одного текста от другого. Стилистика текста рассматривалась как перспективное направление лингвостилистических исследований; отмечалось что в тексте находит своеобразное выражение характер деятельности носителей языка, поэтому текст дает представление о стилистически обусловленном употреблении средств общения, а изучение стилистических аспектов языка может обретать большую определенность в том случае, если стилистическая содержательность единицы языка выступает как та или иная данность материального выражения свойства текста. Подчеркивалось, что стилистическая содержательность единицы языка или структурно значимой части текста дает представление о характере непредметной информации (интерпретации условий речевого общения), поэтому нет должных оснований для классификации стилистического значения как компонента смысловой структуры слова. Указывалось, что стилистические признаки текста обретут большую релевантность, если они будут выявляться в процессе всестороннего изучения типа текста или же разновидностей разных типов текста, ибо в единицах языка и в характере их организации находят то или иное отражение структурные свойства контекста как минимальной ячейки стилевого контура текста, как зоны манифестации, индуцирования интеллективно-изобразительных возможностей единиц языка.

В докладе М. Н. Кожиной (Пермь) постулировался тезис о соотношении стилистики текста и стилистики речи в аспекте коммуникативной лингвистики (наличие общности в подходе к тексту, находящем свое выражение в динамичности, коммуникативности и свободе от ограничений, свойственных сугубо структурному, таксономическому подходу); при этом подчеркивалась важность углубленного изучения экстралингвистической основы речи как принципа ее организации, а также разработки актуальных проблем стилистики текста, как-то: содержание функционально-стилистических категорий (оценочность, семантическая акцентность, авторизация, логизация и др.), приемы и способы развертывания текста и др.

В докладе В. М. Мокиенко (Ленинград) развивалась мысль о важности изучения стилистической роли фразеологизмов в структуре определенного типа текста как носителей естественной информации (информемы) и средства воздействия на человека (прагмемы), дающих представление о речевом поведении носителей языка. Подчеркивалось первостепенное значение изучения стилистической роли фразеологизмов в публицистических текстах, выявления оценочно-воздействующей и эмоционально-квалифицирующей роли этих средств общения в текстах художественной публицистики; указывалось, что литературно-художественные тексты отличаются от художественных характером употребления фразеологизмов, что находит выражение в наличии стилистической мозаичности.

В докладе О. Б. Сиротининой (Саратов) обосновывался тезис о стилевом статусе и текстовой организации устной научной речи; при этом подчеркивалось, что письменная и устная формы научной речи в полной мере не изучены, особенно в плане их сопоставления, что устно-разговорную речь как разновидность литературного языка и устно-научную речь нельзя рассматривать как общее явление, так как устно-научная речь по своей организации ближе к письменной форме научной речи, но она, в свою очередь, имеет особенности, которые дают представление о стилистическом профиле этого средства общения (логический характер текстовой организации, приемы актуализации при посредстве связок и скреп, отсутствие деления на абзацы и др.).

В докладе Ю. М. Скребнева (Горький) справедливо указывалось, что в лингвистической литературе господствует вольный подход к употреблению лингвостилистических обозначений, а это приводит к тому, что содержание наименований, используемых в роли терминов, не только не идентично, но нередко выступает как выражение личной позиции исследователя. При таком положении нелегко понять явления лингвостилистики в их отношении к стилистике и лингвопоэтике. В докладе содержится призыв к изучению стилистики текста как передового рубежа лингвистической стилистики.

В докладе Е. А. Иванчиковой (Москва) были изложены результаты на-

блюдений над степенью обусловленности форм синтаксической изобразительности, их употреблением в разных по субъектной организации типах художественных прозаических текстов (на материале произведений русских классиков второй половины XIX в.). По мнению докладчика, основное различие в функционировании форм изобразительного синтаксиса в повествовании от 1-го лица и от 3-го лица заключается в преимущественной закрепленности за повествованием от 1-го лица форм открытой синтаксической изобразительности, а за повествованием от 3-го лица — синтаксических форм косвенной символизации, что обусловлено спецификой коммуникативной направленности повествования в соответствующих субъектных типах речи: направленностью его на себя, на повествующий субъект в текстах от 1-го лица и — на внешние объекты в текстах от 3-го лица.

В докладе Н. А. Кожевниковой (Москва) речь шла о таких произведениях, в которых заявлен один тип повествователя, а осуществлен другой. Замещение повествователя от 1-го лица повествованием от 3-го лица ведет к появлению таких способов повествования, которые характерны не для исходной, а для новой формы.

К. А. Рогова (Ленинград) рассматривала некоторые аспекты проблематики, связанной с характером соотношения речи автора и персонажа в текстах художественной публицистики; при этом подчеркивалось, что профиль речи персонажа предопределяется общим уровнем языка газетной полосы, что ориентация на книжность или разговорность публицистического текста имеет свои закономерности, определяемые функционально-стилистической содержательностью баланса языковых средств.

В докладе Е. Ф. Петрищевой (Москва) указывалось на необходимость дифференцировать тексты по характеру различий, предопределяемых характером общения, что находит выражение в закономерностях языковой организации речи, а также и по своеобразию стилистического впечатления (понимание стиля, обоснованное М. В. Ломоносовым), которое вызывает тот или иной текст. Шла речь и о важности дифференциации текстов по экстралингвистическим основаниям, связанным с понятиями «вид речи» и «вид речевого поведения».

Доклад Е. А. Некрасовой (Москва) был посвящен обоснованию лингвистического и лингвостилистического подходов, используемых при анализе художественного текста; при этом было указано, что эти подходы наиболее результативны в той сфере лингвистического изучения художественных текстов, где прослеживаются способы реализации эстетической функции языка.

Вызывали интерес доклады, в которых рассматривались различные стороны стилистической содержательности единиц языка, стилевой позиции средств общения в различных типах текста [Р. П. Рогожниковой (Ленинград), Н. А. Андрамоновой (Казань), Л. М. Грановской (Баку), К. П. Смолиной (Москва), Ивановой Л. П. (Киев), А. С. Попова (Глазов)].

Разные стороны проблемы образа автора затрагивались в докладах В. А. Кухаренко (Одесса), И. Я. Чернухиной (Воронеж).

В поле зрения участников совещания были и отдельные вопросы экспрессивности текста [Т. Ф. Ивановой (Москва), Т. А. Лисициной (Уфа)].

В. Д. Бондалетов (Пенза) представил основные положения программы нового учебного курса «Лингвистический анализ художественного текста».

В выступлениях участников совещания подчеркивалась важность дальнейшего повышения уровня научно-исследовательской работы в области стилистики текста, должного внимания к научно-методической работе, предопределяющей научную широту учебных дисциплин, изучаемых в высшей школе (стилистика русского языка, основы культурной речи, лингвистический анализ текста).

В рекомендациях совещания признано необходимым обратиться в Минвуз СССР с предложением: а) в учебном плане филологических специальностей университетов восстановить курс стилистики русского языка в качестве самостоятельной дисциплины; б) предусмотреть практикум по лингвистическому анализу текста; в) рассмотреть вопросы о целесообразности лабораторных занятий по стилистике русского языка в педагогических институтах.

Было высказано пожелание о расширении творческих контактов в области стилистики текста, а также дальнейшем развертывании координации между научными учреждениями и учебными заведениями ведущих культурных центров.

Кроме того, отмечалось, что учебно-педагогические издательства не удовлетворяют в полной мере спрос учащихся, преподавателей различных учебных заведений на пособия по стилистике, культуре речи, лингвостилистическому анализу текста.

Совещание обратилось к руководству Института русского языка АН СССР и Института научной информации по общественным наукам АН СССР с предложением систематически публиковать материалы по актуальным вопросам стилистики текста.

Кожин А. Н. (Москва)

2—3 апреля 1985 г. в Московском институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова состоялась межвузовская научно-методическая конференция «Семантика в преподавании русского языка как иностранного».

Как отмечали участники конференции, наблюдаемая в настоящее время семантическая переориентация лингвистики постепенно охватывает все новые области этой науки и ее приложений. Преподаватели русского языка как иностранного, казалось бы, самой спецификой своей ра-

боты призваны проявлять особый интерес к языковой семантике. Ведь научить неродному языку — это прежде всего обучить семантике языка, все остальное подсобно. Однако на деле привычный грамматический подход до сих пор доминирует в практике преподавания русского языка как иностранного, а интерес к проблемам семантики в эту область проникает с трудом. Поэтому проведение первой конференции, на которой ставится и обсуждается широкий круг вопросов, связанных с возможными путями соединения семантической теории с практикой преподавания русского языка как иностранного, приобретает особое значение.

Доклады, сделанные на конференции, можно тематически объединить в несколько групп.

Ряд докладов был посвящен теоретическим основам семантического подхода к преподаванию русского языка как иностранного.

С обзорным докладом «Семантика как теоретическая и прикладная наука» выступил Л. А. Новиков (Москва). Докладчик показал достижения теоретической семантики, обрисовал перспективы развития различных семантических теорий и наметил возможные пути практического применения результатов теоретических исследований. Особое место в его докладе заняла проблема усиления семантической ориентации всех аспектов и методов преподавания русского языка.

А. П. Журавлев (Москва) предложил, кроме традиционного рассмотрения логико-понятийного ядра значения слова, включить в семантический анализ различного рода коннотации («семантические ореолы»), без знания которых представление о значении слова и его функционировании в речи остается для студентов-иностранцев недостаточным. В методическом плане важно, что в освоении «ореольной» семантики эффективную помощь иностранцу могут оказать компьютеры.

Проблемам формирования семантики на основе культурной и социальной базы нации был посвящен доклад Г. П. Мельникова (Москва) «Коммуникативный ракурс — основа семантического своеобразия языка». Докладчик подчеркнул важность всестороннего учета коммуникативных задач, а также ситуативных моментов при исследовании различных аспектов языковой семантики.

Сложные проблемы связи морфологии, синтаксиса и семантики в практике преподавания русского языка нашли свое отражение в трех докладах. И. С. Улуханов (Москва) показал интересные возможности развития лингвистической догадки у изучающих русский язык иностранцев через анализ словообразовательных закономерностей и, что особенно важно, продемонстрировал сложные случаи ошибочной семантизации иностранцами некоторых русских словообразовательных моделей. В докладе В. В. Лопатина (Москва) была поставлена важная теоретическая проблема перехода от морфологического анализа в ходе обучения русскому языку к словообразовательному и семантическому анализу лексического материала. Н. А. Фокина (Москва) остановилась на проблемах синтаксической семантики, в частности, рассказала о результатах исследования отдельных явлений синтаксической синонимии. Некоторые вопросы семантического анализа текстов при изучении страноведческого материала были затронуты В. И. Максимовым (Ленинград) и И. В. Скрыпник (Москва).

Семантика художественной речи особенно сложна, и для иностранцев проникновение в многоплановый и многоаспектный мир художественного языка представляет особые трудности. Специальная методика, которая могла бы в этом помочь изучающим русский язык, только еще начинает разрабатываться (особенно в работах Л. А. Новикова). Поэтому тем более важны доклады, касающиеся этой сложной проблемы.

Так, в докладе В. П. Григорьева (Москва) на богатом языковом материале, представленном в поэзии В. Хлебникова, были продемонстрированы семантические возможности русского языка и предложена система семантического анализа поэтического текста. Эта проблематика затрагивалась и в выступлениях С. Ю. Преображенского (Москва), Г. В. Векшина (Москва), В. П. Абрамова (Краснодар), Ю. А. Котляра (Ленинград), где были намечены возможные пути семантического анализа художественных текстов, ориентированного на изучение этих текстов иностранцами.

Психолингвистический подход к анализу языка может сыграть существенную роль в разработке специальных методических приемов семантизации языкового материала для его изучения иностранцами. В. Ф. Петренко (Москва) предложил оригинальную методику изучения семантики с опорой на образное восприятие и познакомил участников конференции с результатами экспериментального исследования соотношений образных и вербальных форм репрезентации в освоении значений. Мотивационную роль психолингвистических аспектов семантики рассмотрел в своем выступлении Н. А. Ушаков (Москва). В сообщении Ж. В. Варфоломеевой (Баку) и Е. Е. Манько (Москва) были затронуты проблемы комплексного (в том числе и психолингвистического) изучения иностранцами семантических возможностей многозначных слов при разных типах переноса значений.

Подводя итоги работы конференции, А. П. Журавлев подчеркнул своевременность постановки целого ряда ключевых проблем семантики в плане их практического приложения. Участники конференции пришли к единому мнению о необходимости дальнейшей координации творческих усилий теоретиков и практиков в области семантических исследований. Регулярное проведение подобных конференций могло бы сыграть значительную роль в решении задачи повышения эффективности преподавания русского языка как иностранного.

Филиппова Т. С. (Москва)

CONTENTS

Articles: Sljusareva N. A. (Moscow). Categorical concepts as the basis of the theme — rheme syntactic structure; Vinokur T. G. (Moscow). Explanatory dictionaries and language usage; Žuravlev V. K. (Moscow). Laws without exceptions in phonetics and contemporary comparative studies; **Discussions:** Alpatov V. M. (Moscow). Different approaches to the classification of the parts of speech; Ščerbak A. M. (Leningrad). The Tungus-Mongolian language links (on interaction and mixing of languages); Kotkov S. I. (Moscow). Historical documents as source for the study of the history of the Russian language; Murjasov R. Z. (Ufa). Toponyms and their role in the system of word-formation of modern German; **Materials and notes:** Asinovskij A. S., Kuznecova E. Ž., Ljublinskaja M. D., Černyševa L. V., Ševčenko T. V. (Leningrad). On the use of computers in linguistic research; Gorelov I. N. (Saratov). Enantiosemy as conflict of contradictory tendencies in language evolution; Smolina K. T. (Moscow). Componential analysis and semantic reconstruction in the history of words; Staričenok V. D. (Minsk). On hyponymic relations in the structure of polysemantic words (based on the materials of Byelorussian dialects); Razinkina N. M. (Moscow). On the stability of functional style; **Surveys:** Danilenko V. P. (Leningrad), V. Mathesius and his theory of linguistic characterology; **Reviews**; **Linguistic life.**

SOMMAIRE

Articles: Sljusareva N. A. (Moscou). Concepts catégoriels en tant que base pour la structure «thème — rhème»; Vinokur T. G. (Moscou). Dictionnaires raisonnés et l'usage linguistique; Žuravlev V. K. (Moscou). Lois sans exceptions en phonétique et les études comparées contemporaines; **Discussions:** Alpatov V. K. (Moscou). Classifications différentes des parties du discours; Ščerbak A. M. (Léningrad). Liens linguistiques turques — mongoliens (sur l'interaction et mélange des langues); Kotkov S. I. (Moscou). Documents historiques en tant que source pour l'étude de l'histoire de la langue russe; Murjasov R. Z. (Oufa). Toponymes et leur rôle dans le système de dérivation de l'allemand contemporain; **Matériaux et notices:** Asinovskij A. S., Kuznecova E. Ž., Ljublinskaja M. D., Černyšova L. V., Ševčenko T. V. (Léningrad). L'emploi des calculateurs automatiques pour les investigations linguistiques; Gorelov I. N. (Saratov). L'énantiosémie en tant que collision des tendances contradictoires dans l'évolution de la langue; Smolina K. T. (Moscou). Analyse componentielle et reconstruction dans l'histoire des mots; Staričenok V. D. (Minsk). Les rapports hyponymiques dans la structure des mots polysémantiques (fondé sur les matériaux de la langue byélorusse); Razinkina N. M. (Moscou). Sur la stabilité du style fonctionnel; **Revues:** Danilenko V. P. (Léningrad). V. Mathesius et sa théorie de caractérologie linguistique; **Comptes rendus**; **Vie scientifique.**

Технический редактор *Радина Т. И.*

Сдано в набор 29.04.86 Подписано к печати 20.06.86 г. Т-15210 Формат бумаги 70×108¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 12,6 Усл. кр.-отт. 72,9 тыс. Уч.-изд. л. 14,9 Бум. л. 4,5
Тираж 5705 экз. Зак. 2534

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6